

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

СБОРНИК-АНТОЛОГИЯ

— 1958 —

1958

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

СБОРНИК-АНТОЛОГИЯ

1958

МЮНХЕН

**Издательство Центрального Объединения Политических
Эмигрантов из СССР (ЦОПЭ)**

Druck: Dr. P. Belej, München 13, Schleissheimer Str. 71.

О Т ИЗДАТЕЛЬСТВА

Антологический сборник «Литературное зарубежье» возник из желания издательства предложить читателям в СССР и эмигрантском рассеянии (последним, может быть, только напомнить) избранные из стихов и художественной прозы русских эмигрантских послевоенных писателей — тех, кто оказался на Западе во время или после войны и печатал свои произведения в десятилетие 1947—1957.

Все участники сборника — бывшие советские подданные; все (за исключением А. Кашина) родом из разных мест Советской России, в условиях которой большинство их росло и складывалось. Они пронесли за рубеж свое, советское, пережитое, тяжким опытом приобретенное знание быта, бед и надежд оставшихся там близких. В конечном счете, это беды и надежды миллионов подсоветских людей, и посейчас живущих под прессом партийной диктатуры, в обстановке беспримерной в истории, как это подчеркнула трагедия с Б. Пастернаком, духовной реакции и мракобесия.

Обо всем этом, обретя на Западе слово, они и пишут. В подчеркивании их особости — ответ на вопрос: оправдано ли деление эмигрантской литературы на «новых» и «старых» ее представителей, попавших за границу в первую, пореволюционную, волну эмиграции. Вероятно, все же, оправдано, хотя и не исключает, конечно, других критерии деления и отбора.

Из-за технических трудностей (не по признаку качества) ряд прозаиков и поэтов (В. Марков, Н. Ульянов и некоторые другие) в сборник не вошел — пробел, который, возможно, удастся восполнить, если у издательства явится возможность продолжить свое начинание. Обзорные сведения о творчестве вошедших и не вошедших в книгу авторов читатель может получить из помещенного в конце сопроводительного критического очерка Юр. Большухина «Обретшие слово».



Иван Елагин

Иван Венедиктович Елагин родился в 1918 году во Владивостоке. Учился в медицинском институте, но война помешала окончанию курса. Во время войны попал в Германию. Первую книжку стихов Елагин напечатал в Мюнхене в 1947 году; там же, через год, выходит вторая, под заглавием «Ты, мое столетие». В 1953 году Издательство им. Чехова выпустило сборник Елагина «По дороге оттуда»; в сборник вошли стихи из обеих книжек, а также — написанные поэтом уже в США, куда он к этому времени переселился.

Родина! Мы виделись так мало,
И расстались. Ветер был широк,
И дорогу песня обнимала,
Верная союзница дорог.

Разве можно в землю не влюбиться,
В уходящую из-под колес?
Даже ивы, как самоубийцы,
С насыпей бросались под откос!

Долго так не выпускали ивы, —
Подставляя под колеса плоть.
Мы вернемся, если будем живы,
Если к дому приведет Господь.

Над ветлами, над ульями,
Над липами, над пчелами,
Гудело утро пульями,
Свинцовыми, тяжелыми.

Трещало автоматами,
Глушило минометами,
Кто прятался за хатами,
Кто жался под воротами,

А мертвые, кто в поле,
Кто брошены на отмели...
Прохвастали, прохлопали,
Чуть полстраны не отдали!

Родимые, да что ж это?
Никак землица наша-то!
Вся жизнь на вобле прожита,
А пушек-то не нажито!

Была ж Россия мамонтом,
А не прошло полвеку-то —
Сожгли тебя! От сраму-то
Тебе деваться некуда!

Обрадовались, грабили,
А непокорны ежели,
Мужик ли это, баба ли
На перекрестках вешали!

Как у своих-то перченко,
А у чужих-то солено!
Как из огня теперича
Попали мы да в полымя!

Из-под кнута-то отчего,
Да под дубину отчима!
Тот Соловками потчевал,
А этот смертью потчуэт!

Коль две скрестились гибели,
Какое сырье снадобье?
Одну мы гибель выбрали,
Коль выбирать уж надобно!

Кому-то кто-то что-то доказал
И убедил кого-то кто-то в чем-то.
Стоит с дробитой крышею вокзал
И всюду хаос Божьего экспромта.

Наказывай! Нас не прельщает рай,
Твой тихий рай, Твой остров голубиный!
На головы нам молнии роняй!
Топи в морях! Гони нас в рай дубиной!

Во имя человеческой тоски
Мы отречемся от Твоей опеки,
Чтоб драться вновь за рыжие пески,
За облака, за голубые реки!

Сжигай до тла! Мы выдержим напор.
Гори, земля! Клянусь над пепелищем:
Мы первобытный каменный топор
В тысячелетних залежах отыщем!

Мы выстроим наш непутевый рай!
Наш дымный рай! Мы не хотим иного!
Останови! Разгневайся! Карай!
Нам по счетам выплачивать не ново!

Твоя цена не будет дорога.
Платили мы, и все сполна заплатим
За наше право убивать врага
И другу отвечать рукопожатьем.

Уже последний пехотинец пал,
Последний летчик выбросился в море.
А на путях дымятся груды шпал
И проволока вянет на заборе.

Они молчат — свидетели беды.
И забывают о борьбе и тлене
И этот танк, торчащий из воды,
И этот мост, упавший на колени.

Но труден день очнувшейся земли.
Уже в портах ворочаются краны,
Становятся дома на костили...
Там города залечивают раны.

Там будут снова строить и ломать,
А человек идет дорогой к дому.
Он постучится — и откроет мать.
Откроет двери мальчику седому.

Там улица кончалась. Там
Река поблескивала снизу.
Луна с карниза по карнизу
Плелась за нами по пятам!

И лестница упала там
До самой пристани, до самой
Волны сутулой и упрямой,
Надоедающей бортам.

А мы стояли у перил,
У срезанного края кручи.
А ветер туши перерывы
И посыпал деревья в кучи.

И прядь волос — твоих волос —
Мне ветер даровал, как милость...
Как время не остановилось?
Как сердце не оборвалось?

Каштановым конвоем
Окружено окно,
И вся земля запоем
Пьет красное вино.

Мой голубой автобус
Уходит на бульвар.
Как мне понятна робость
Его туманных фар!

Он весь, как на эстраде,
Под рыжей бахромой.
И люди в листопаде
Не ходят по прямой.

От парка и до парка
Он ветрами несом.
И осень, как овчарка,
Бежит за колесом.

З В Е З Д Ы

Моему отцу

Колыхались звездные кочевья.
Мы не засыпали у костра.
Шумные тяжелые деревья
Говорили с нами до утра.
Мне в ту ночь поэт седой и нищий
Небо распахнул над головой.
Точно сразу кто-то выбил днище
Топором из бочки вековой!
И в дыру обваливался космос,
Грузно опускался млечный мост,
На смерть перепуганые сосны
Заблудились в сутолке звезд.
— Вот они! Запомни их навеки!
То Господь бросает якоря!

Слушай, как рыдающие реки
Падают в зеленые моря!
Чтоб земные горести, как выпи,
Не кричали над твоей душой,
Эту вечность льющуюся выпей
Из ковша Медведицы Большой!
Как бы ты ни маялся и где бы
Ни был — ты у Бога на пиру...
Ангелы завидовали с неба
Нашему косматому костру.

За окном — круги фонарной ряби.
Браунинг направленный у лба.
На каком-то чертовом ухабе
Свиротила в сторону судьба.
Рукописи, брошенные на пол.
Каждый листик — сердца черепок.
Письмена тибетские заляпал
Часового каменный сапог.
Как попало комнату забили,
Вышли. Ночь была уже седа.
В старом грузовом автомобиле
Увезли куда-то навсегда.

Ждем еще, но все нервнее курим,
Реже спим и радуемся злой.
Это — город тополей и тюрем,
Это — город слез и тополей.
Ночь. За папиросой папироса,
Пепельница дыбится, как еж.
Может быть, с последнего допроса
Под стеной последнюю встаешь?
Или спиши, а поезд топчет версты,
И тебя уносит в темноту...
Помнишь звезды? Мне уже и к звездам
Голову поднять невмоготу.

Хлынь война! Швырни под зубья танку,
Жерла орудийные таращь!
Истаскало время наизнанку
Вечности принадлежащий плащ!
Этот поезд, крадущийся вором,

Эти подползающие пни...
Он скулил, как пес под семафором,
Он боялся зажигать огни.
Чащами и насыпями заперт,
Выбелен панической луной,
Он тянулся медлено на Запад,
Как к постели тянется больной.
В небе смерть. И след ее запутан.
И хлеща по небу на ура,
Взвили за шпицрутеном шпицрутен
С четырех сторон прожектора!
За свободу вырванную ратуй!
Смерть уже свистит над головой!
Смерть уже от лопасти крылатой
Падает на землю по кривой...
... П полночь, навалившаяся с тыла,
Не застала в небе и следа.
Впереди величественно стыла
К рельсам примерзшая звезда.

Мы живем, зажатые стенами
В черные берлинские дворы.
Вечерами дьяволы над нами
Выбивают пыльные ковры.
Чей-то вздох из глубины подвала:
— Господи, услышим ли отбой?
Как тогда мне их недоставало,
Этих звезд, завещанных тобой!
Сколько раз я звал тебя на помощь, —
Подойди, согрей своим плечом.
Может быть, меня уже не помнишь?
Мертвые не помнят ни о чем.

Ну, а звезды. Наши звезды помнишь?
Нас от звезд загнали в погреба.
Нас судьба ударила наотмашь,
Нас с тобою сбила с ног судьба!
Наше небо стало небом черным,
Наше небо разорвал снаряд.
Наши звезды выдернуты с корнем,
Наши звезды больше не горят.

В наше небо били из орудий,
Наше небо гаснет, покорясь,
В наше небо выплеснули люди
Мира металлическую грязь!

Нас со всех сторон обдало дымом,
Дымом погибающих планет.
И глаза мы к небу не подыметем,
Потому, что знаем: неба нет.



Видно, дела плохи
Великолепной эпохи:
Полицейские атташе
При каждой живой душе.

А ведь была ж когда-то
Без кляпа во рту душа
У обезьяны мохнатой,
Вышедшей из шалаша,

Прислушивающейся к дебрям,
Таящейся у корчаг,
В единоборстве с вепрем
Остаивающей очаг!

А ведь была ж обида
У глядевшего из-под лба,
Воздвигавшего пирамиды
Египетского раба!

И вера была — знамя!
Раскольничий поп с костра
Просовывал сквозь пламя
Мятежные два перста!

Пел — на костре скорчась!
Слушай — сегодняшний, ты!
Где же твоя гордость?
Где же твои персты?



C. Максимов

Сергей Сергеевич Максимов родился в 1917 году на Волге, в семье сельского учителя; мать была дочерью волжского лоцмана. Среднюю школу окончил в Москве, поступив затем в Литературный институт им. Горького. В 1936 году его арестовывают по обвинению в антисоветской деятельности и приговаривают к пяти годам заключения, которое он отбывает в лагере на Печоре. Писать начал с 15 лет, сотрудничая в детских и юношеских журналах («Мурзилка», «Огоньки», «Смена» и др.). В эмиграции напечатал четыре книги: роман «Денис Бушуев», переведенный на ряд иностранных языков (главы из него приводятся ниже), книгу рассказов «Тайга», сборник рассказов, стихов и пьес «Голубое молчание» и роман «Бунт Дениса Бушуева». В настоящее время живет в Голливуде и работает над новым романом.

ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА

Поздний августовский вечер. В клочья облаков плавно нырял зеленый серпик луны. Под сильным верховым ветром гнулись деревья, шумела Волга. Грустно стучала колотушка ночного сторожа — глухого старика Чижова.

В доме Бушуевых еще не спали. На кухне, при свете керосиновой лампы, Ульяновна гладила белье. Напротив нее, за тем же столиком, сидел Денис и, наблюдая за утюгом и ловкими руками матери, слушал ее песни. Ульяновна пела так тихо, что иногда переходила на полуслогот, но сохраняя мелодию и отчетливо произнося слова.

Вся она, — и черным простым платьем, и маленькой фигурой, и стрелками бесчисленных морщинок вокруг тихих скорбных глаз, — излучала такой уют и такое тепло, что Денис готов был сидеть до утра и без конца смотреть на нее и слушать ее песни.

Горят, горят пожары, они всю неделянушку,
Ничего в дикой степи не осталось...

пела Ульяновна, и сердце Дениса наполнялось тихим и светлым успокоением.

Оставались в дикой степи горы крутые,
Как на этих горах млад ясен сокол...

Денис очень любил песни, особенно, когда их пела мать. А песен Ульяновна знала бесчисленное множество всяких: и свадебные песни заводила она, и посиделковые, и любовные, знала и «романсы», где льется кровь и сверкают ножи. Денис и сам уже многое знал и запомнил из того, что пела она, но всякий раз Ульяновна вспоминала что нибудь новое.

— Мамаша, спой «Липу вековую».

— Да что ты, Денисушка, к этой песне привязался? Что она тебе так полюбилась? — улыбнулась Ульяновна.

— Не знаю. Нравится она мне. Спой.

— Ну, слушай.

Липа вековая
Под окном стоит.
Песня удалая
Вдалеке звенит.
Лес покрыт туманом,
Словно пеленой.
Слышен за курганом
Лай сторожевой...

На палатах заворачался Ананий Северьяныч. Он еще не спал и мысленно подсчитывал предстоящие расходы по хозяйству, прислушиваясь в то же время к песням жены.

Он не то, чтобы любил песни, а слушал их иногда так — от нечего делать.

— Подожди, Денисушка, — оборвала сама себя Ульяновна, — вот я вспомнила хо-орошую одну... Слушай.

Колечко мое позлаченное, —
Ох, я с милым дружком разлученная.
Он давал-то мне ручку правую,
Целовал меня в щечку алую.
Не целуй меня, не уговаривай,
Ох, не хочешь любить — не обманывай...

— Ульяновна! — перебил ее Ананий Северьяныч, свешивая сивую бороденку с палатой, — чего-то мне третью ночь подряд белые ведмеди снятся? Как глаза закрою, так все на север еду, все на север...

— А ты на каком боку больше спишь? — улыбнулась Ульяновна.

- На левом.
- Так ты повернись на правый, тогда на юг поедешь.
- На юг, говоришь? — недоверчиво переспросил Ананий Северьяныч. — А вот я чичас попробую...
- Но только было он улегся на правый бок, как в окно кто-то громко постучал. Денис толкнул раму. Это был дед Северьян.
- Ананий! — громко крикнул он, просовывая лысую голову в дом.
- Чево тебе? — лениво отозвался с палатей Ананий Северьяныч.
- Красный бакен потух.
- Что?! Который? — тревожно спросил Бушуев, прыгая с палатей на пол и ощалело глядя на отца.
- Что возле гряды. Снизу буксирный идет, как бы не напорлся на камни без сигнала-то... — предупредил дед Северьян, скрываясь в темноте
- Ах, ты пропась какая! — выругался Ананий Северьяныч, натягивая на босые ноги кожаные сапоги. — Дениска! Зажигай запасной фонарь, да поедем, стало-быть с конца на конец.
- Зачем же запасной фонарь брать? Зажжем тот, что на бакене, — сказал Денис, вставая из-за стола и подтягивая ремень на штанах.
- А ежели стекло на ем разбилось! — крикнул Ананий Северьяныч, удивляясь недогадливости сына. — Ох, и дурень же ты, Дениска. Дурень стоеросовый!
- Темень-то, темень какая! — покачала головой Ульяновна — и буря! Ты, отец, осторожней там, не потопись в Волге-то...
- Утопленников и без нас, Ульяновна, много плавает. Как-нибудь... С Божьей помощью не потопнем. Служба, Ульяновна, служба, —суетясь, заключил Ананий Северьяныч.
- Ну, хранит вас Господь! — сказала Ульяновна, крестя воздух.
- На берегу было темно и шумно. Месяц скрылся. Черные громады волн, шипя, накатывались на прибрежный гравий. Гнулись, трепеща листвой, кусты тальников. Денис долго не мог распутать узел веревки, которой лодка была привязана к коряге.
- Да что ты там: в карты что-ль уселся играть? — крикнул на него отец, надевая весла на деревянные уключины.
- А ты, папаша, чем кричать, посветил бы!
- Так бы и сказал... Язык-то, чать, у тебя есть аль нет? — проворчал Ананий Северьяныч, поворачиваясь и подымая

фонарь. — Ах, ты пропасть какая! И когда это только он потух, дьявол!

Из-за колена реки, сверкая огнями, медленно и бесшумно вырастал буксирный пароход. Из-за рева ветра и волн не слышно было стука колес.

— Идет, проклятущий! Идет! — застонал Ананий Северьяныч, — торопись, Дениска, а то он и впрямь без сигнала-то брюхо о камни напорет... А мне лет десять дадут! Дадут черти, дадут определенно.

Денис изо всех сил греб. Ананий Северьяныч сидел на корме и помогал Денису кормовым веслом. УтлыЙ ботник швырялся с волнами на волну, и казалось непонятным, как его не зальет водой.

— На отцовской лодке надо было ехать... — вздыхал Ананий Северьяныч, — та все-таки поболе будет... Ах, ты пропасть какая! Не опоздать. Лет десять, стало быть с конца на конец, мне дадут за аварию... Не зря мне белые ведмеди снились.

Когда ботник взлетал на гребень волны, Денис попадал ве-слом в яму, промахивался и обдавал брызгами Анания Северья-ныча. Но Ананий Северьяныч не обращал на это внимания, он работал кормовиком, и остро, по-хищному, вглядывался в черные волны, отыскивая глазами потухший бакен.

На стрежне реки волны были больше, чем у берега, но не дробились, а плавно вздыхали, шипя гребнями. Горевший на дне лодки фонарь, установленный в станину, стущал и без того не-проглядную темень. Ананий Северьяныч сбросил с плеч тело-грейку и закутал ею фонарь. Непостижимо было, как и на что он ориентировался, управляя лодкой. Берега давно уже пропали в черноте ночи.

— Не сильно ли влево берем, папаша? — забеспокоился Денис.

— Не, не, Дениска... Тута вот и должен быть бакен... Где-то тута. Греби посильнее, посильнее...

Ладони Дениса уже горели, натертые ручками весел, рубаха взмокла от пота, но усталости он не чувствовал. Он знал, что на-до во что бы то ни стало найти бакен, зажечь его, и борьба со стихией волнующе-тревожным стуком отзывалась в сердце.

— Вот он! — радостно воскликнул Ананий Северьяныч, за-грабая воду кормовиком и поворачивая ботник.

Денис взглянул через плечо. Плавно вздымаясь на горбах волн, качался конус бакена. Теперь предстояло самое трудное — пристать к нему и сменить фонарь. Три раза цеплялся Ананий

Северьяныч за деревянную пловучую крестовину, на которой стоял бакен, и три раза вынужден был отпускать руки, ибо ботник от резкой остановки черпал бортом воду.

— Кормой приставай, Дениска! Кормой, а не бортом! Потонем к чортовой бабушке! — кричал он на сына.

Денис развернул ботник и ткнул его кормой в крестовину. От толчка Ананий Северьяныч чуть не слетел за борт, но удержался.

— Тише, леший!

Бушуев, выбрав момент, с налета выдернул из конуса потухший фонарь.

— Стекла целые... Чего ж он потух? — удивился он, ощупывая фонарь.

— Скорее, папаша, скорее! Вишь, воды сколько в лодке... — торопил отца Денис, беспокойно следя за тем, как обламывались о борт ботника гребни волн.

Ананий Северьяныч, кряхтя и ругаясь, долго не мог поставить в конус зажженный фонарь. Когда же он его, наконец, установил, то ботник был наполнен до-половины водой. Фонарь зловещим красным светом осветил фигуру Анания Северьяныча, конус и небольшое пенное пятно воды вокруг себя. Буксирный пароход, заметив вспыхнувший впереди сигнал, резко менял курс, подбиваясь к левому берегу.

Назад ехать было трудно. Отяжелевший ботник, несмотря на все усилия гребца, подвигался медленно. Ананий Северьяныч, бросив кормовик, лихорадочно откачивал деревянным ковшом воду.

— Не убывает, не убывает, подлая, — сокрушался он, — я ее — ковшиком, а она в лодку — ведром...

— Все равно, не успеем доехать до берега, — утешал его Денис.

Теперь уже волны не могли подымать ботник на себя, они смачно, с шумом сбрасывали в него седые шипучие гребни.

— Тонем, папаша...

— Еще нет, Дениска...

— Тонем...

— Еще маненько подождем...

— Сапоги бы скинул, папаша.

Ананий Северьяныч перестал работать ковшом, поднял его и посмотрел на ноги, почти до колен ушедшие в воду.

— Сапоги не скину...

Борта лодки чуть-чуть высывались из воды. Денис перестал грести, зачарованно глядя на большую волну, катившуюся на них. Она подошла мягко, слегка наклонила ботник, попробовала вскинуть на себя, но не подняла, и, всхлипнув, обрушилась на него.

— Тонем, папаша!

Ботник плавно пошел под воду. Ананий Северьяныч отбросил ковш.

— Теперь, стало быть с конца на конец, тонем...

Бушуев взмахнул руками и повалился в черную воду, стараясь упасть так, чтобы ботник не накрыл его. Дениса же перевернувшимся ботником накрыло, и он несколько раз стукался под водой затылком о скамейки и стлани, пытаясь вынырнуть на поверхность. Это продолжалось долго и мучительно. «Конец, погиб» — подумал он. Но жить хотелось, жить безумно хотелось. Он собрал силы и рванулся всем телом куда-то вверх... и снова стукнулся головой о ребристые стлани. Ему казалось, что он уже целую вечность под водой, что смерть теперь уже неминуема, и последнее, что надо сделать, это — открыть рот... Но вдруг в помутившейся голове ярко мелькнула мысль, что надо нашупать борт и нырнуть вниз, а не вверх, и уже с собранным сознанием, отдавая себе отчет в том, что делает, он нашупал левой рукой борт, оттолкнулся и легко пошел вниз, ко дну, забирая в то же время несколько в сторону. И рванулся вверх, собрав последние силы. Пробкой выскочил на поверхность и жадно вдохнул воздух вместе с пеной и брызгами.

Ананий Северьяныч уже давно был на поверхности и, плавая, держался руками за перевернувшийся вверх дном ботник. Он был обеспокоен исчезновением сына и, когда увидел его, вынырнувшего из воды, радостно закричал:

— Дениска! Плыти сюда и держись за ботник.

Денис подплыл и схватился за скользкое днище лодки. Он все еще никак не мог прийти в себя от сознания того, что посмотрел в лицо смерти. Анания же Северьяныча охватило новое беспокойство: левый сапог соскальзывал с ноги.

— Утонет, чорт, утонет... — плаксиво застонал он.

— Кто утонет? — глухо спросил Денис.

— Сапог...

Как ни трагично было положение, но Денис не сдержался и, против воли, улыбнулся.

— А что же, папаша, мы дальше будем делать?.. Ведь так долго не наплаваем...

— Кричать надо, Дениска.

Денис попробовал, раза два крикнул, но голос его в реве волн и ветра прозвучал так жалко, что отец и сын тут же поняли бесполезность этого занятия. Помолчав, Ананий Северьяныч изрек:

— А ведь может, и взаправду потонем... Не зря мне белые ведмеди снились.

Под левым берегом проходил пароход, волоча за собой кара-ван барж. Но надежд на него не было никаких. Вряд ли, чтоб на нем могли услышать крики погибающих.

Анания Северьяныча понемногу покидали силы.

— Слабость меня берет, сынок... Видно, долго не продержусь... А ты держись, сколько можешь. Тяжко будет матери двух-то оплакивать, сынок... тяжко...

Это неожиданное «сынок» больно отзывалось в сердце Де-ниса, и ему стало вдруг страшно жаль отца, на глаза навернулись слезы. О себе он уже в эту минуту не думал.

— Папаша... ты как-нибудь... держись...

Ананий Северьяныч, не отпуская правой рукой киль лодки, левой поддернул сапог.

— Слабею, Денис...

— Сбрось сапоги... легче будет, — посоветовал Денис.

— Сапоги не сброшу... Они еще новые... Дениска, ежели Бог даст спасешься — смотри, мать не забывай... мать береги... И Кирюшке передай мое слово...

— Держись... — чуть не плача, проговорил Денис.

— Плохо, сынок... руки соскальзывают...

Выплыл месяц и голубым слабым светом озарил пенящуюся Волгу. И Денис заметил совсем рядом, саженях в десяти от них лодку. Он закричал, что было сил, протяжно, с надрывом...

— Лодку! Подай ло-одку!

Гребец на секунду застыл, подняв весла, и, круто развернувшись, быстро подъехал к утопающим. В гребце Денис узнал Манефу. Она же, узнав Дениса и Анания Северьяныча, воскликнула:

— Бушуевы? Чего вы здесь?

— Жарко стало... Купаемся... — ответил осмелевший Ана-ний Северьяныч. — Подавай скорее лодку.

Она помогла влезть в лодку продрогшему и стучащему зубами старику. В тот момент, когда он переваливался через борт, левый сапог соскочил с его ноги и исчез в воде.

— Сапог утоп! — закричал Ананий Северьяныч в отчаянии.
— Денис, ныряй! Ныряй, дьяволенок!

Денис нырнул, но так как и он сильно ослаб, то через секунду вынырнул назад.

— Поймал? — спросил отец, упершись руками в борт и глядя на сына. С сивенькой бородки ручьями текла вода.

— Нет, — ответил Денис, влезая в лодку.

— Эх, что же я без сапога делать буду! — застонал Бушуев, садясь на лавку и охватывая руками голову. — А ты чего тут, стало-быть с конца на конец, по ночам разъезжаешь? — вдруг крикнул он на Манефу. — Люди добрые спят давным-давно, а она — нате вам — раскатывается, словно ясный месяц. Делать тебе, видно, нечего...

— К матери... в Отважное еду... — тихо сказала Манефа.

— К ма-атери... — передразнил Бушуев. — Все бы к матери в такую пору ездили. К полюбовникам ездят по ночам — вот куда!

Манефа не лгала. В этот день, после ссоры с Алимом, она до-поздна лежала в поле в копне ржи, а потом, не зная, что делать и куда идти, решила поехать на время к матери в Отважное.

Денис, зачаливая ботник, через плечо посмотрел на Манефу и ему показалось, что в серых глазах ее сверкнули слезы. И сердце его дрогнуло странной и большой жалостью к этой непонятной женщине...



Страна дрожала от потрясений. В больших и малых городах, с наступлением сумерок, люди притихали, говорили шепотом и тревожно ждали «ночных гостей». Они появлялись в полночь, появлялись внезапно, резко нажимали кнопки звонков, кто-то торопливо им отворял, кто-то впускал их... Гремя подкованными сапогами, «ночные гости» шли по коридору, без стука отворяли двери в частные квартиры и вежливо предъявляли ордер на обыск и арест. Взламывали паркеты, открывали шкафы, поднимали крышки роялей, швыряли на пол книги, вспарывали матрацы и диваны, рылись в бумагах и белье, а утром, с усталыми и бледными лицами, они садились в предрассветной мгле в легковые машины и увозили с собой перепуганную и дрожащую жертву под всхлипы женщин и плач детей.

Звонки, обыски, аресты.
Допросы, суды, этапы.
Приговор за приговором.
Пять лет! Семь лет! Десять лет!
Расстрел!

По ночам, по всей стране, тихо, словно крадучись, передвигались эшелоны. В набитых до отказа товарных вагонах, как черви, копошились заключенные. Их везли в тайгу, тундру, на край земли, подальше от глаз народных. Ветер гнал по железнодорожным насыпям клочки бумажек со скорбными словами, кое-как нацарапанными огрызком карандаша: «Добрый человек! Эту бумагу положи в конверт и пошли по адресу...» И дальше: «Мама (или жена, дочь, сын, брат). Я жив, но осужден на 10 лет. Вот уже две недели куда-то безут по этапу. Куда — не знаем. Кормят одной селедкой, а воды не дают. Не вините меня, и не думайте, что я преступник. Я осужден невинно, как и все другие. Если что случится со мной — не горюйтешибко, уж, видно, так на роду написано...»

И нес ветер эти скорбные письма по всей русской земле, мочил их дождь и сушило солнце. Но не было случая, чтобы такое письмо осталось лежать в пыли на насыпи. Кто-то находил их, бережно расправлял, отряхивал приставшую грязь, клал в конверт, и тайком, в сумерках, бросал в почтовый ящик. И поскорее уходил, оглядываясь и сутуляясь. И с горечью думал о том скромном времени, когда и ему придется выбрасывать письма из окна тюремного вагона. Раздавленный, запуганный народ сохранял где-то в глубине сердца сплоченность и непримиримость к врагу. Если не было открытой вооруженной борьбы, то была другая борьба, выражавшаяся во внутренней душевной сопротивляемости и внутренней собранности. Так связанный по рукам и ногам человек плюет в лицо своим мучителям...

В тюрьмах кому-то выбивали зубы, совали под ногти иголки, били в кровь рукоятками наганов — допрашивали. В камерах на грязном цементном полу валялись вперемежку рабочие и академики, солдаты и генералы, коммунисты и беспартийные. У ворот тюрем с утра до позднего вечера вились бесконечные ленты очередей: женщины и девушки с мешочками в руках дожидались приема передач.

В университетах, на заводах, на фабриках отрекались на общих собраниях от отцов, братьев и сестер — спасали свою жизнь. На работе, в обеденные перерывы, подписывали предложенный

«особым уполномоченным» текст требования смертного приговора «врагам народа». Подписывали дружно, торопливо, не ропща и не протестуя. Являлись по вызову в НКВД, становились доносчиками против своей воли и, приходя домой, кончали самоубийством.

Газеты пестрели крупными заголовками о политических процессах, газеты хором требовали расстрелов. Только расстрелов!

Кровавая горячка по истреблению инакомыслящих достигла апогея. Горло народа сдавили железные клещи . . .

В этом бушующем море крови и слез село Отважное и прилегающие к нему деревни оставались счастливыми островками — судьба как-то хранила их. Первая ласточка горя залетела перед Троицей: арестовали отважинского печника Солнцева, любившего компанию и умные разговоры. Ананий Северьяныч, часто посещавший печника, чуть не умер от страха и стал обходить дом приятеля за версту. Вслед за первой ласточкой прилетела и вторая: в письме из Саратова, с борта теплохода «Ашхабад», машинист Попов сообщал об аресте капитана Груздева и просил жену передать это печальное известие семье капитана. Наконец, спустя еще некоторое время в Татарской слободе был арестован секретарь партийной ячейки Валиев.

На другой день после ареста Валиева, вечером, Алима Ахтырова вызвали в сельсовет. В небольшой комнатке председателя сельсовета Пронина, временно назначенного вместо Валиева секретарем партичайки, сидел маленький, бритый человек с висльми плечами и, нахмурив брови, рассматривал какие-то бумаги. Поодаль от него сидел возле окна тучный и лохматый Пронин, и, полураскрыв от страха большой рот, внимательно следил за бровями незнакомца. В комнате плавал сизый табачный дым.

Незнакомец быстро взглянул на Ахтырова и через стол, не вставая, протянул ему крошечную потную руку.

— Уполномоченный по особым делам Кукушкин, — отрекомендовался он. — Из Костромы... Садитесь, товарищ Ахтыров. Поговорим. Товарищ Пронин, в канцелярии никого нет?

— Нет... — ответил Пронин. — Все уже разошлись по домам.

Кукушкин облокотился на стол, захватил в кулак острый подбородок, посмотрел тусклым взглядом на собеседников и тихо спросил:

— Ну ? ..

Они молчали, не понимая, чего хотят от них.

— Рассказывайте... начинайте.

— Да в чем дело, товарищ Кукушкин? — спокойно сказал Алим. — Объясните.

— Объяснить? А ты сам не знаешь? — взвизгнул Кукушкин. — Не коммунисты вы, а шляпы дырявые... — и, вытянув вперед голову и моргая белыми ресницами, горячо зашептал: — Где вы были? Где вы оба были? Как это вы у себя под носом врага просмотрели? Черти вы безглазые!... А ты еще орденоносец, Ахтыров...

— Но ведь он только вчера арестован... — глухо проговорил Алим, поняв, о ком идет речь. — Может, еще освободят, а вы его так...

— Невинных мы не арестовываем, товарищ Ахтыров, — строго перебил его Кукушкин. — Запомни раз и навсегда. Ты — член партии и должен знать это. А в отношении Валиева есть целый ряд оперативных данных, доказывающих его вину перед народом и партией. Классовая борьба в нашей стране снова обострилась. Внутренний враг перешел в наступление, но мы его сомнем и уничтожим. Раздавим всех, кто будет стоять нам попрек дороги. Валиев предал дело коммунизма, и за это он жестоко поплатится. И теперь на вас двоих, товарищи, только на вас двоих возложена партией забота о вверенных вам людях колхоза, и на вас же лежит и ответственность за бдительность. А бдительность у вас скверная: одного мерзавца уже просмотрели...

— Кто же его знал... Разве за всеми углядишь... — робко вставил Пронин, почесывая затылок.

— Один, конечно, не углядишь... — охотно согласился Кукушкин и даже улыбнулся. — Сеть надо создавать...

— Какую сеть? — удивился Пронин.

— Ну, какую... какую... — замялся гость из города... — сеть надежных людей, которые бы... ну, которые бы давали сведения... Понятно?

— Понятно... — кивнул головой Пронин и угодливо улыбнулся.

Алим потупил глаза.

— А ты, товарищ Ахтыров, понимаешь?

— Да... понимаю... — тихо ответил Ахтыров, не поднимая глаз.

Кукушкин долго смотрел на него, потом откинулся на спинку венского стула, расправил вислые плечи и достал толстую папиросу из кожаного портсигара. Закурил.

— Ну-с, очень хорошо, что вы меня правильно поняли. Завтра подайте мне списочек человек на 5-6... Желательно иметь молодых людей, комсомольцев. Переговорю я с ними сам и отберу кого надо. Но предупреждаю: после того, как подадите мне список, забыть про него навсегда. Это — военная тайна, а за разглашение военной тайны вы отлично знаете, что бывает... Еще два слова: я хочу лично познакомиться с людьми вашего колхоза и с их настроениями. Завтра, часов на девять вечера, назначьте собрание. А теперь — спать... Кстати, товарищ Ахтыров, я хочу поднять снова дело об убийстве твоего брата. Очевидно, тут вылазка классового врага, и так это дело оставлять нельзя. У тебя нет никаких новых данных?

— Нет...

Кукушкин отбросил папиросу и стал укладывать в портфель бумаги.

Всю ночь Алим Ахтыров не спал. Какое-то горькое чувство одиночества мучило его. Он заметил, что в последнее время Манефа стала опять чуждаться его. Она почти не разговаривала с ним и на вопросы о ее странном поведении коротко отвечала, что это не его дело. К этим невеселым мыслям о Манефе присоединились и другие мысли, липкие и тяжелые, как патока. После разговора с Кукушкиным в душе Алима остался неприятный осадок. «Сволочь, — думал Алим, ворочаясь на кушетке с боку на бок. — Шпионов разводить приехал, гад. Лучше бы трактор прислал, да молотилку новую. Людям жрать нечего, а он — врагов искать». И вспомнил Алим первые дни создания колхозов, вспомнил тот энтузиазм, которым он горел, вспомнил, как сам, по простоте душевной, все неудачи сваливал на врагов и стало ему стыдно и больно за себя. Стыдно за то, что обманывал народ, больно за то, что многие годы отдал служению темному и нехорошему делу. И постепенно, ощущая добрался он до сути, и понял, что душа его мается оттого, что потерял он самое главное в жизни — веру в осмысленность существования. А поняв это, он ощутил страшную пустоту вокруг себя...

Уже кричали третья петухи и в кухне было совсем светло, но Алим все еще не мог заснуть. В горнице послышался скрип кровати и шуршание одежды. «Маня встает», — подумал он и, сбросив одеяло, поднялся и сам. — «Все равно сон не придет, да и поздно спать».

— Маня...
— Чего тебе?
— Буренку доить пойдешь, так помажь ей больную ногу...
Мазь на окошке.
Манефа ничего не ответила.

...Возле школы, под развесистыми березами, поставили большой стол, накрыли его кумачом. На стену прибили портрет Сталина. Первым за стол уселся маленький Кукушкин, разложил перед собой какие-то бумаги, достал папироску, закурил. Справа от него сел Пронин, слева — Алим Ахтыров.

Колхозники собирались медленно, нерешительно. Садились на пыльную траву, лениво крутили цыгарки, негромко переговаривались. Женщины качали на руках детей, совали им груди и старались подальше держаться от красного стола. Мальчишки, словно грачи, расселись на сучьях берез, свесив голые ноги.

Смеркалось. Вечер выдался тихий, теплый. По зеленоватому светлому небу тянулись на север розовыми перышками облака и бесшумно сгорали за лесом на алых языках заката. Над Татарской слободой тлели две одинокие звездочки. По Волге стлался легкий прозрачный туман, тихо плыли плоты и далеко по воде неслась грустная песня:

Ой, накрыла нас ноченька темная.
Видно засветло нам не дойти...
Ой, ты, зоренька, зоренька ясная,
Хоть часок нам еще посвети...

Курлыкая, низко летали чайки. Семенили красными ногами на песчаных косах подвижные кулички-сороки, торопливо перелетали с отмели на отмель, показывая белые, как снег, подбои крыльев. С лугов доносился крепкий запах дикого лука.

— Товарищи! — громко сказал Пронин, вставая. — Собрание считаю открытым. На повестке дня: первое — доклад товарища Кукушкина «Наши задачи на сегодня»; второе — разное. Слово предоставляется уполномоченному из города товарищу Кукушкину. Прошу соблюдать тишину.

Кукушкин поднялся, молодцевато расправил узкие вислые плечи, одернул гимнастерку и, заткнув пальцы крошечных рук за широкий добротный ремень и откинув голову, стал говорить. Говорил он долго, очень долго. Говорил и о капиталистическом окружении, и о подготовке войны Германией, и о производитель-

ности труда, и о врагах народа, и о бдительности... Народ слушал, зевал, курил. Особенно намаявшиеся на работе спали, развались прямо на траве. Алим Ахтыров, подперев щеку рукой и полузакрыв глаза, бессмысленно чертил что-то карандашом по столу.

Когда, наконец, Кукушкин кончил речь и устало опустился на лавку, утирая рукавом защитной гимнастерки пот с лица, снова поднялся Пронин и как-то скучно спросил:

— Вопросы к докладчику будут?

Все молчали.

— Нет вопросов?

Молчание.

Пронин подождал еще минуту и наклонился к Кукушкину.

— Переходить к «разному», что ли?

Но Кукушкину было обидно, что речь его пропала даром, не вызвав ни одного вопроса, и он раздраженно сказал:

— Чего ты торопишься? Подожди.

Пронин неопределенно кашлянул.

— Ну, что ж, товарищи колхозники, будем говорить по докладу? Давайте, высказывайтесь... Может не ясно что?

— Вот сенокос подходит... надо бы кос поболе... — нерешительно проговорил пожилой колхозник, почесывая грудь.

Пронин досадливо отмахнулся.

— Это к докладу не относится... об этом потом, в «разном». Ну, что ж, будем говорить или нет? — почти с угрозой крикнул он.

Ни звука. Некоторые пугливо втянули головы в плечи. Всем становилось неловко. Кукушкин вздохнул и безнадежно махнул рукой.

— Ну, и народец... Давай дальше!

Но в этот момент Гриша Банный, сидевший на корточках в первом ряду прямо против стола, поднялся и робко кашлянул.

— Разрешите, товарищ председатель?

— Давай Гриша! — обрадовался Пронин и быстро сел, облегченно вздохнув. Алим Ахтыров взглянул на Гришу и слегка улыбнулся.

Кукушкин тоже обрадовался появлению хоть одного человека, пожелавшего высказаться по докладу, и кивнул головой в знак согласия. Смутил его только вид Гриши и особенно его фантастический костюм. На дынеобразной голове Гриши Банного качался клок седых волос. словно чуб у запорожца, широченные парусиновые брюки были разорваны на колене, из разбитых

лыковых лаптей, надетых на босые ноги, торчали, как дула пистолетов, черные большие пальцы. Самую же замечательную часть костюма составлял огромный цветной платок, повязанный на тонкой гришиной шее в вида галстука. Рубашки не было совсем. Гриша беспрерывно запахивал рыженький короткий пиджачок, чтобы не видели его голого живота. В руках он держал невероятных размеров старомодный купеческий картуз синего цвета с лакированным козырьком.

— Мне, товарищ уполномоченный из города, чрезвычайно понравился ваш содержательный и в высшей степени остроумный доклад... — вкрадчиво и тихо начал Гриша Банный, косясь на Ахтырова, словно спрашивая: «А вы меня, Алим Алимыч, не отругаете потом за мою смелость?»

Кукушкин важно откинул назад маленькую голову; ему прислись по душе слова Гриши, он совсем не ожидал таких умных слов от оборванца.

— Прямо скажу: прекраснейший доклад! — продолжал Гриша. — Я, пожалуй, ничего подобного и не слышал за всю мою жизнь-с... такие доклады можно услышать раз в сто лет. Но ничтожные неясности, мелочи, которые могут покрыть туманом главное в вашем ценнейшем докладе, являющимся своего рода произведением искусства-с, заставили меня беспокоить вас пустяковыми вопросами...

— Пожалуйста. Очень рад... — приветливо сказал Кукушкин.

— Благодарю вас... Я позволю себе в начале моего краткого слова сделать маленькое путешествие в далекое прошлое человечества. Впрочем, сразу же оговорюсь, чтобы вы меня правильно поняли: я изучал в свое время труды товарища Карла Маркса, товарища Энгельса, и даже — сочинения философа-самородка Отрокова... о гениальных трудах товарища Сталина нечего и говорить. Изучал довольно досконально физику по книге Поморцева М. М. Кой- какие познания имею в артиллерии, главным образом, в стрельбе по противнику с очень больших расстояний и с хорошо замаскированных позиций... Ближний же бой, особенно, знаете, штыковая атака, меня как-то мало интересовали...

— Покороче, товарищ Банный! — напомнил Пронин.

— Слушаюсь... Ну-с, когда вы коснулись темы о бесчисленных врагах в нашей стране и о роли товарища Сталина во всей этой сложнейшей ситуации, я вспомнил презабавную историю про Зевса и Прометея, очень весело описанную в одной трагедии. Некультурный Зевс восстал, знаете ли, против папаши своего

Кrona, а так как в то время не было еще ни артиллерии, ни винтовок, то пустил на папашу громы и молнии. А некий молодой человек, очень простого, я бы даже сказал, — народного происхождения, по имени Прометей, восстал на коварного Зевса совсем безоружный, только с мыслью и словом-с... Ситуация получилась пресквернейшая: у одного громы и молнии, у другого — шиш, один свободолюбивые мыслишки. А дело- то все, доложу я вам, из-за сущего пустяка получилось: Прометей оказался не чист на руку и украл... знаете-ли, какую чепуху он украл? Огонь. И кончил он, знаете ли, бесславно: приковали его к горе — на Кавказе дело было — в грудь ему гвоздь забили, да коршуна приставили, чтоб он его день и ночь клевал — не воруй! Но самое замечательное во всей этой весьма поучительной истории состоит в том, что Зевс победил папашу своего Крона, по указке Прометея, а отблагодарил его цепями и, так сказать, вечным рабством...

Тут Гриша вздохнул и перевел дух. Народ с интересом слушал витиеватую речь Гриши, хотя никто и не понимал ее смысла, — да и был ли в ней вообще смысл? Всем нравились только ее внешние узоры. Кукушкин совсем ничего не понимал и беспокойно поглядывал то на Пронина, то на Ахтырова.

— Покороче товарищ Банный! — еще раз сухо напомнил Пронин.

— Слушаюсь-с... Теперь я подхожу к самому главному... — торопливо сказал Гриша.

— А зачем же этот Митяй огонь спер, Гриша? — крикнул из толпы курносый молодой татарин. — Уж ежели переть, так переть лошадь, аль корову!..

Народ откровенно рассмеялся.

— Вот вы, молодой человек, и не правы! — торжественно объявил Гриша. — Есть на свете вещи поценнее лошадей и коров-с... Всем нам, а особенно мне, иногда не хватает мысли-с. И огоньком этим хотел Прометей разжечь людские головы, неразумные и слепые. Он, кстати, предсказал конец власти Зевса. Смешно, но поучительно.

Кукушкин нахмурился.

— Я что-то плохо понял вас...

— Очень жаль... — обиделся Гриша, — повторять было бы слишком утомительно и неинтересно. Я хотел только внести почитительную ясность в ваши определения друзей и врагов народа, которые кое-где в вашем остроумном докладе несколько туманны-с... Ну-с, теперь я подхожу к самому главному и позволю

себе обеспокоить вас ничтожным вопросом. Каким способом, то-вариц уполномоченный из города, мы будем бороться с врагами народа: громами и молниями, как Зевс, или только словами, как бедный Прометей?

— Расстреливать будем... — мрачно сказал Кукушкин.

— Благодарю вас... — тихо пробормотал Гриша, поклонился и сел на траву, скрестив ноги калачиком.

Развеселившиеся было колхозники сразу притихли, потупили головы. Кукушкин же повернулся к Ахтырову и сердито спросил:

— Это что за тип такой?

— Вы не сердитесь на него, — ответил Ахтыров, — он немножко того... а парень не плохой...

— Так какого черта вы мне тут сумасшедших подсовываете! — вскипал Кукушкин. — Таким супчикам место в домах, специально для них отведенных, а не на деловых собраниях.

Что-то ему не понравилось в речи Гриши, и он записал его фамилию. Потом подумал, сморщился, скомкал бумажку и бросил ее под стол.

— Дальше! — приказал он Пронину.

Но не успел Пронин встать, как Гриша стрелой метнулся под стол, достал смятую бумажку, бережно расправил ее и положил снова перед Кукушкиным. Кукушкин ошалело посмотрел на Гришу, схватил бумажку, разорвал ее в клочки, вскочил и, размахивая руками, закричал:

— Уберите этого идиота с собрания! Не могу я больше его видеть!

Алим Ахтыров подошел к Грише, взял его за плечи и, тихонько подталкивая, провел, как под кивоем, сквозь толпу и приказал ему сидеть за кустами бузинытише воды и ниже травы, или еще лучше — уйти совсем прочь.

— Как вам угодно, Алим Алимович... — охотно согласился Гриша, надевая на голову огромный синий картуз и пытаясь увидеть из-под козырька Ахтырова... — Лучше я уйду совсем.

— Иди, иди, Гриша. Тебе тут нечего делать. И потом: разве можно в эдаком виде ходить по улицам!.. Зайди завтра к нам, Манефа даст тебе мои старые штаны, да рубашку что-ли...

— Спасибо... — мягко поблагодарил Гриша и, выбрасывая журавлинные ноги, направился куда-то к Волге.

Когда перешли к «разному» и Кукушкин торжественно заявил, что говорить можно все открыто и не бояться, то колхозники, перебивая друг друга, заговорили сразу все. И от этого галдежа

мгновенно проснулись те, кто уснул во время доклада Кукушкина. Одни жаловались на то, что не хватало до весны хлеба, другие — на неправильно записанные трудодни, трети — на недостаток инвентаря, словом — все на что-нибудь жаловались.

— Председателя колхоза надо сменить! — крикнул кто-то из толпы и тут-же спрятался.

— Врешь! — взметнулся высокий и тощий, как костыль, старик. — Врешь, сукин сын! Алим за нас в огонь и воду! Без него совсем подожли бы. Не в ём дело. Город не помогает. Непосильные заготовки требуют! Скоро штаны сымать будем, да в Москву посыпать!..

— Тише! Тише, товарищи! — успокаивал Пронин.

— Что тише? — разошелся старик. — Али правда-матка гляза колет?

Кукушкин нагнулся к Ахтырову и тихо сказал:

— Поставь в протоколе крестик против фамилии этого старика.

Алим молча поставил карандашом жирный крест. Голова его начинала болеть, в висках стучала кровь и пересыхало горло.

— Ну, и колхозик! — качал головой Кукушкин и злобно посматривал на Ахтырова и Пронина. — Развели вы тут контру, как червей навозных, мать вашу за ногу...

— Валиева вините... — защищался Пронин.

— Валиева? А вы что смотрели? Тоже мне — коммунисты!.. Залепить бы вам обоим по выговору!..

Алима Ахтырова и ругали и защищали колхозники. Больше защищали. Не понравилась народу и выходка семнадцатилетнего паренька Мишки. Он подошел к столу, засучил зачем-то рукава, смачно плюнул на землю, покосился на Ахтырова, и громко сказал:

— Товарищ уполномоченный! Надо прямо заявить: ошибочки за председателем водятся... Кого в наш колхоз напримали? Почему конюшню доверили бывшему кулаку Макару Шубину? Человек в ссылке был... Вот ежели что с лошадьми случится... тогда меня вспомните...

Опять Алиму пришлось ставить крестик против фамилии конюха, специально занесенной в протокол.

До-поздна шумело собрание. Кукушкин нервничал, что-то записывал, кричал на сбившегося с толку Пронина, сердился на молчавшего Ахтырова и, под конец, закрыв собрание, назначил экстренное партийное совещание на другой день. Возбужденные,

усталые, но все еще горячо о чем-то спорившие колхозники ста-ли расходиться по домам.

Было уже темно. Алим Ахтыров тихо брел вдоль улицы и чувствовал страшную слабость во всем теле. Бритая голова его гудела, как колокол, на лбу поминутно выступала испарина, и он не успевал стирать ее рукавом гимнастерки. Колени дрожали, мокрая нижняя рубашка прилипала к телу и палила спину, словно жаркая перина, черные глаза горели тусклым больным огнем.

Над Волгой бронзовым пятаком повисла луна. Тихо вспыхи-вали и меркли зеленые звезды, отражаясь в воде. Где-то за рекой тоскливо выла собака. В тени невысокого развесистого тополя стояла кучка людей. Проходя мимо них, Ахтыров услышал свое имя и невольно замедлил шаг.

— Напрасно Алима корили... Человек старается...

— Иди ты к черту со своим Алимом!... — послышался чей-то молодой голос. — Он не только за колхозом, а и за бабой своей усмотреть не может. Знаем, зачем она в Отважное повадилась ездить...

Алим остановился и, чтобы не упасть, схватился рукой за палисадник. Губы его дрогнули, голова наклонилась, он ткнулся лицом в столб палисадника и несколько секунд стоял так, прижавшись щекой к шершавому дереву и закрыв глаза. Потом повернулся, собрал последние силы и, качаясь, подошел к притищшим людям под тополем. Было темно. Алим не мог разглядеть ни одного лица, он долго стоял молча и, со свистом выдохнув воздух, хрипло спросил:

— Кто это сказал?

Но ему не ответили, кто-то попятился назад, и он снова спро-сил:

— Кто это сказал?

И опять ему не ответили.

— Это правда?

И снова — ни звука.

— Брете!!! — крикнул Ахтыров и, схватив за горло первого попавшегося под руку, стал душить его. — Брете! Брете! Не может быть! Брете, гады!..

С трудом удалось отнять из рук Ахтырова случайную жертву.

Добравшись до дома, Алим, не раздеваясь, повалился на кушетку и мгновенно уснул. Ночью у него начался жар. Он мечтался, звал Манефу, вспоминал о каком-то пропавшем плуге, о конюхе Шубине, затихал и один раз Манефа видела, как из его

полузакрытого правого глаза тихо сползла по смуглой щеке слеза. На третий день ему стало лучше, он пришел в себя, взял руку жены, прижал ее к щеке и прошептал запекшимися губами:

— Маня, не оставляй меня... Я совсем, совсем один...

О своих подозрениях он ничего не сказал ей. Он все еще надеялся, что слова, кем-то брошенные сгоряча на улице — чудовищная клевета...

... Алим Ахтыров проснулся чуть свет. Перешагнул через Таисию и на цыпочках подошел к горке. Прислушался. В доме было тихо. Похрапывала тетка Таисия, да щелкали часы на стене. Алим осторожно выдвинул средний ящик горки, достал кое-какие документы, сунул их в брезентовый портфель, приколол к гимнастерке орден и, взяв портфель подмышку, бесшумно вышел в сени. В сенях он долго и сосредоточенно чистил щеткой сапоги, чистил до тех пор, пока ни загорелись жаркие блики на добротной черной коже. Тихо, чтоб не стукнуть, он положил щетку на полку и вышел в сад.

Несмотря на туман, он разглядел на том берегу у пристани белый корпус «Товарища», отвернулся и торопливо направился к лодке. Не желая встречаться с Бушуевым, он решил ехать в город на лодке.

Уже проехав Песчаную гору, он вдруг вернулся, пристал к берегу возле Отважного и зашел в куток Гриши Банного. Гриша мирно спал под грязным лоскутным одеялом. Алим растолкал его и предложил собираться в дорогу. Не спрашивая, куда и зачем, Гриша сунул в карман кусок черствого хлеба и поплелся вслед за Алином к лодке, высоко вскидывая журавлинные ноги и натыкаясь спросонок на кусты.

Возле села Пахомьева их обогнал «Товарищ». Алим разглядел в рубке парохода возле штурвала Бушуева, отправлявшегося в свой последний рейс, скрипнул зубами, бросил весла и стал свертывать цыгарку вздрагивающими пальцами. Гриша Банный, уныло жевавший хлеб, не спускал глаз с его рук. Алим это заметил и недовольно спросил:

— У тебя что: нет другого места куда смотреть?

Гриша виновато потупился.

— Я на табак смотрел... Ловко вы, Алим Алимыч, цыгарки крутите, словно мельница: цык-цык-цык...

— Молчи! И на кой чорт я тебя взял?

— На этот вопрос я, вероятно, не смогу ответить...

— Молчи!

Алим лгал. Он хорошо знал, зачем взял Гришу: он боялся одиночества...

Через четыре часа они подъехали к городу. За кудрявыми, серыми от пыли тополями белели дома. Из трубы лесопильного завода подымался черный густой дым. Визжала механическая пила. На берегу рабочие разбивали плоты, баграми вытаскивали из реки бревна и подавали их на конвейер.

Алим причалил к старенькой лаве, строго-настрого приказал Грише никуда не уходить и пошел в Райисполком.

Райисполком помещался на главной улице в трехэтажном здании, выкрашенном в какой-то серо-бурый цвет. Первый этаж занимал Народний суд. Второй и третий — Райисполком.

Патокин был на заседании, и секретарь, прочитав протянутую Алином повестку, попросил прийти в 4 часа дня. Побродив беспомощно по улицам, Ахтыров зашел в «Дом крестьянин», пообедал, потом посидел в городском саду на скамейке и направился снова в Райисполком.

Он был как-то странно спокоен. Внимательно рассматривал леса на ремонтируемом здании и даже подумал о том, что леса плохо наведены, что они неудобны для работы. Взглянув на городские часы на площады, он немного удивился, что так мало прошло времени: было всего только два часа. У здания Райисполкома толпился народ, и Ахтыров понял, что оживление это царит не потому, что тут Райисполком, а потому, что в первом этаже находится Народный суд. Ахтыров купил газету и вошел в просторный общий зал Народного суда. «Тут где-нибудь найду местечко и почитаю» — решил он.

В зале было многолюдно и шумно. Мужчины, сбившись в кучки, что-то горячо обсуждали, перебивая друг друга и матясь. Женщины, со скорбными и бледными лицами, прислушивались к тому, что говорили мужчины, некоторые плакали. Тонко и без умолку кричал ребенок, а мать — простоволосая пожилая крестьянка — совала ему желтую грудь, которую ребенок не хотел брать и отпихивал крошечными рученками. Алим вошел в тот момент, когда только что вынесли очередной приговор группе колхозников, обвиненных в саботаже. Всех обвиняемых приговорили на разные сроки к тюремному заключению. Поморшившись, словно от горькой пилюли, Алим торопливо прошел в конец коридора и сел на одинокую скамью возле окна.

Здесь было тихо. Лишь слегка доносились приглушенное гудение из общего зала, да за дверью справа слышался чей-то разговор. На двери висела дощечка с надписью: «Посторонним вход строго запрещен». Алим взглянул на нее и развернул было газету, как вдруг отчетливо услышал свою фамилию, произнесенную за дверью. Он положил на колени газету и прислушался.

— ...Ахтырова? — переспросил чей-то глухой баритон, и Алим сразу узнал голос следователя Макарова.

— Да .. я о нем именно и говорю, — послышался другой мужской голос, низкий и раздраженный.

— Еще не начинал.

— Послушайте, Макаров, я же вам давно дал распоряжение вернуться к этому делу. Нельзя же, чорт возьми, в такое тревожное время оставлять что-то неоконченным, нераспутанным до конца...

— Да ведь, товарищ Шестопалов, дело-то больно старое, шесть лет прошло ...

— Хоть бы сто лет прошло! Я повторяю: дело Мустафы Ахтырова надо распутать. Хорошо еще, если преступление совершино на бытовой почве, а если это вылазка классового врага? С какими глазами мы явимся на отчетный год в область? Что скажет область? Был приказ: до 31 декабря 1937 года вскрыть все старые дела, оставшиеся нераспутанными. А у нас чорт знает что творится! Шесть лет ловим одного преступника ... Короче говоря, забирайте дело и начинайте все сначала. Я познакомился с ним: ничего там особенно сложного нет. Проявите больше тщательности и... немного психологией поинтересуйтесь. Но ордена — заранее скажу — не получите, потому что дело не политическое, а такое... семейное ...

— Семейное?

— По-моему, семейное... Так, по крайней мере, мне показалось при знакомстве с вашими же протоколами допросов ... Дайте на минутку «дело» ...

Наступила тишина.

— Проверьте-ка еще раз всякие там отношения между братьями и женой Алима Ахтырова... — снова заговорил собеседник Макарова. — Затем, этот идиотик, как вы его окрестили в одном месте, тоже фигура интересная. Почему он у них в доме в почете таком? Что за дружба странная? ..

Он помолчал, пошелестел листами и тихо спросил:

— Через фесочку, значит, его саданули? По голове?

— Да, по голове... по виску ...

— Ну, одним словом — забирайте «дело» и начинайте все сначала. Срок я вам даю... ну, скажем, три месяца... Теперь, что с делом капитана Малютина и лоцмана Круглова с «Гражданина»? Начали? При каких условиях произошла авария?..

Алим Ахтыров встал и тихо пошел по коридору, и одна страшная и нелепая мысль мелькнула в его голове. Мелькнула и потухла. И вспыхнула снова, и так ярко, что на несколько секунд ослепила его. Он прислонился к стене и долго стоял так, закрыв глаза и прижавшись щекой к холодной и липкой штукатурке. И с этого момента мысль эта уже не покидала его больше ни на секунду...

Через два часа он входил в кабинет председателя Райисполкома Патокина.

Тучный и хмурый Патокин лениво привстал, протянул Ахтырову руку и молча указал на кожаное кресло с левой стороны письменного стола. И уткнулся в бумаги. Из больших и красных ушей его торчали волосы, а губы под вислыми и черными, как смола, усами не то улыбались, не то как-то странно подергивались.

В просторном кабинете было душно. Рамы большого венецианского окна были плотно притворены. За окном тихо покачивал тяжелыми листьями пыльный тополь. На массивном дубовом столе чернел мраморный письменный прибор, тускло поблескивал графин с водой и стоял телефон; на углу стола лежала большая, аккуратно сложенная стопа книг. Маркс, Ленин, Сталин... На стене, прямо над головой Патокина, висел портрет Сталина, произносящего речь на 16-ом партсъезде. Паркетный пол застипал огромный и роскошный ковер с пущистым ворсом.

Патокин молчал, перелистывал разложенные бумаги. Молчал и Ахтыров, смотря на волосатые уши председателя Райисполкома. Так они, молча, занятые каждый своими мыслями, просидели минут десять-пятнадцать. Первый нарушил тишину Патокин.

— Слушай, Ахтыров, что я тебе, другу, скажу... — негромко произнес он, не поднимая глаз. Голос его был мягок и приятен.
— Я теперь думаю, что зря, брат, я старался, тянул тебя, другим в пример ставил... И зря, друг, пожалуй, тебе и орден Ленина дали.

Он медленно поднял голову и, как-то нехотя, исподлобья, посмотрел на Ахтырова выпуклыми, красивыми и немного груст-

ними глазами. Но грусть эта быстро погасла и что-то другое, тяжелое и недружелюбное промелькнуло в его взгляде.

— Мы с тобой — коммунисты, в прятки играть нам нечего, поэтому извини, если я буду прям и откровенен. И тебе и мне от этого только польза. Вчера говорил я с секретарем райкома партии, с Ураловым, и вот наше мнение: хреновый из тебя председатель колхоза! Скажем прямо.

Алим усмехнулся и спокойно сказал:

— Еще что? Давай, выкладывай...

— Еще? — повышая голос, переспросил Патокин. — Могу и еще... А еще скажу: гнать тебя надо поганой метлой с должности председателя колхоза! И гнать надо немедленно, пока ты все дело не загубил. Ты посмотри: что ты только натворил! Что у тебя происходит в колхозе!.. С сенокосом управиться не можешь — раз! Кулаков напримнал в колхоз — два! Инвентарь весь порасташили у тебя — три!

— Его и не было... — вставил Алим.

— Уборка хлеба на носу, а у тебя ничего не готово — четыре! Народ у тебя сплошь антисоветски настроен... отчего бы это, а?

— От голода... — тихо ответил Алим, щуря глаза и чуть улыбаясь одними губами.

— А кто этот голод развел, позволь тебя спросить?

— Ты, Уралов, власть наша, да и я, конечно, помог... — еще тише ответил Алим.

Патокин откинулся на спинку кресла и как-то жалко и испуганно посмотрел на Ахтырова.

— Ты что, Ахтыров, с ума сошел? — растерянно спросил он.

Алим ничего не ответил. Патокин перегнулся через стол.

— Послушай, Ахтыров, что с тобой стряслось? — как-то задумчиво и мягко проговорил Патокин. — У меня серце кровью обливается от жалости, глядя на тебя. Ты совсем другой. Подменили тебя, что-ли?.. Лет пять назад ты горел энтузиазмом... ты был крепкий коммунист, нашей, сталинской закалки, а потом вдруг покатился... и все хуже, хуже и хуже... И вот... вот до чего ты дошел... Ведь до тюрьмы ты дошел после таких слов...

И вдруг, выпрямившись, раздраженно крикнул:

— Да разве с таким дерьямом, как ты, можно построить бесклассовое общество!

— Кроме общества есть, Патокин, еще человек. И у этого человека есть своя... его собственная жизнь... Вот о ней-то мы и позабыли.

— У коммуниста не должно быть частной жизни! Коммунист живет для общества, для народа...

— А она, Патокин, оказывается, есть... И у меня есть, и у тебя есть.

— У меня ее нет. Запомни это, Ахтыров!

— Нету?.. Так появится. Срок придет и появится... Да как стукнет тебя по башке, тогда узнаешь, какая она личная жизнь бывает...

— Но-но... ты поосторожней! — угрожающе предупредил Патокин, приподымаясь.

— Иди ты, знаешь, куда... — злобно прошептал Алим и глотнул слюну, чувствуя, как пересыхает горло.

— Что?.. — удивился Патокин. — Что ты сказал? Да ты... ты...

— Ах, мать твою!.. — взметнулся Алим и вскочил. — Сука ты паршивая! Ты бы, чем грозить мне, спустился бы вниз, в залы суда, да посмотрел, как там личная жизнь у общественной в ногах валяется... Ты ведь тюрьмы не пробовал...

— Я не пробовал, а ты вот наверняка попробуешь... Завтра сядешь.

— Сяду? Сяду, говоришь? — сверкая смородинными глазами, переспросил Алим. — Так давай-ка я с тобой перед тюрьмой расчитываюсь, чтоб ты потом с меня долги не спрашивал...

Он сорвал с груди орден и швырнул его на стол.

— Вот возьми... Это, брат, я получил за то, что народ обманывал... Теперь еще... — он суетливо полез в карман гимнастерки, запутался и, не разбираясь, швырнул на стол пачку бумажек и книжек. Тут был паспорт, какие-то справки, и пурпурный партбилет... И, указывая на него, Алим добавил: — А это, брат, самое главное: партийный билет! Возьми и его. Возьми обязатель но... Он-то и есть главный виновник, он-то и довел меня до жизни такой... Чего смотришь? Бери! Бери, я говорю!

Алим схватил партбилет и бросил в лицо Патокину.

— Бери гад!

Патокин отпрянул к стене и молча и злобно наступил ногой на упавшую пурпурную книжку.

— Амба! — тихо сказал он.

Ахтыров повернулся и вышел из кабинета. Патокин схватил трубку телефона и долго, захлебываясь и путаясь, рассказывал кому-то о случившемся.

— Что?.. Не можешь сразу арестовать?.. Почему?.. Что?.. Какой ордер?.. На арест?.. Так выписывай и дело с кон-

цом!.. Таких мерзавцев расстреливать надо... Что?.. Нет, не уйдет: все документы у меня оставил... Ну, пока!

Он положил трубку и взволнованно провел рукой по вислым усам.

— Фу... чорт!.. — вслух сказал он и задумался. — Ч-чорт!.. Жаль парня... Как это все глупо получилось... Жаль!

Ахтыров же, в тот момент, как только вышел на улицу, позабыл и Патокина и разговор с ним. Опять та же нелепая и страшная мысль, что пришла ему в коридоре суда, снова овладела им. Он прошел в городской сад и до поздних сумерок просидел на глухой скамье под кустами акаций. «Феска... феска...» — без конца повторял он одно и тоже слово, утирая рукавом потный лоб. А когда в саду, один за другим, стали вспыхивать фонари, и на эстраде возле площадки для танцев вдруг бурно и громко заиграл джаз, Алим вспомнил о Грише Банном. Вспомнил и почти бегом направился к Волге. «Да ведь Гриша здесь! Как это я забыл? Гриша ведь под рукой».

Гриша Банный дремал, лежа на дне лодки. Алим, точно боясь, что Гриша убежит, рывком стукнул лодку, прыгнул на скамейку, чиркнув носком сапога воду, вдел весла в уключины и направил лодку на стрежень реки. Проснувшийся Гриша Банный сразу заметил что-то неладное с Ахтыровым и осторожно пересел на корму, размыщляя о причине исчезновения ахтыровского портфеля. Алим молчал. Молчал и Гриша.

Отъехав километров шесть от города, Алим сложил весла, подпер щеку рукой и задумался, глядя на Гришу. Гриша поежился под этим взглядом и отвернулся.

Над лесом подымался серебристый блин луны. Заклубился туман. С берега доносился запах трав и сосны. Отражаясь в черной воде, мигали огоньки бакенов. На небе ярко горели крупные звезды. Где-то на косе тихо и монотонно плакал чибис. На востоке вспыхивала слабая зарница, редко и нерешительно.

— Гриша... — тихо позвал Алим.

— Что-с?

Алим встал, подошел к Грише, присел перед ним на корточки и заглянул ему в лицо. Гриша подвинулся назад и слегка приподнял острые колени. Алим молча протянул руку, взял Гришу за ворот рубашки, и вдруг крепко, с хрустом скжал пальцы. Гриша судорожно вцепился в борта, замигал белыми ресницами и не проронил ни слова. Тогда Алим одним рывком приблизил Гришу к себе, и обжигая его губы горячим дыханием, зашептал:

— Гриша... скажи... ты знаешь... ты все знаешь, Гриша... Как это я раньше не догадался у тебя спросить?.. Ты ведь все знаешь, Гриша... И я знаю. Теперь и я знаю... Скажи же...

Гриша молчал.

— Скажи... не мучь меня...

— Я... я ничего не знаю... Про что вы? — еле слышно произнес Гриша Банный.

— Гриша, милый, родной, скажи... скажи правду... Я ведь теперь сам все знаю... А ты только подтверди, только подтверди... Или я задушу тебя, Гриша...

— Я ничего не знаю...

Алим облизнул пересохшие губы и, слово за словом, раздельно и внятно спросил:

— Кто убил моего брата?

Гриша замотал головой и изо всех сил рванулся назад.

— Не знаю... Я ничего не знаю...

— Врешь! — крикнул Алим и схватил Гришу за горло. Несколько секунд они смотрели, не отрываясь, в зрачки друг другу. Лицо Гриши потемнело, изо рта пополз язык. Алим разжал руки, и голова Гриши упала ему на грудь.

— Ты только подтверди мне, подтверди мне... — бормотал Алим, обнимая Банного.

Гриша всхлипнул и утер ладонью глаза.

— Ну... кто?

— Вы же знаете... — с каким-то мучительным отчаянием прошептал Гриша.

Алим не пошевелился. Не слышно было и дыхания его. Прошло еще две-три минуты.

— Теперь скажи мне, Гриша, самое главное... И опять, милый, говори правду... Зачем она его убила?

— Не знаю...

— Врешь... Почему врешь?

— Она вас...

— Ну?

— Вас хотела... да ошиблась.

— По моей феске ударила?.. Ведь так? Так? Она думала, что я под одеялом?.. По феске судила? Ведь так, Гриша? Так?..

— Так...

— Постой, постой, Гриша... Сердцем-то я догадался, что ты все должен знать... Но — откуда, Гриша? Почему ты все знаешь?

— Я видел... я все видел. Я там же, в кустах сидел, неподалеку... Спрятался, когда от мамаши Аксиньи Тимофеевны убежал... И все видел-с...

— Постой, я не об этом... О чем это я?.. Ах, да!.. Вот ты мне что скажи: почему ты знаешь, что она меня хотела... зарубить-то? Может она брата моего...

— Нет, именно вас, Алим Алимович... Мне тогда многое странным показалось. Тревогу я почувствовал еще в то время, когда брат вашу феску надел... Помните ли? В саду! Еще когда мы под кленом сидели. Вот тогда уж я почувствовал тревогу... А потом... потом я глаза ее видел, когда она с косарем подходила к спящему-то... и видел, как она ударила косарем...

— Косарем?

— Косарем. Вашим косарем, которым лучину колете... И вот, как она взмахнула косарем, я уж тут сразу понял нелепую ошибку... Я уж тут сразу все понял... А она со всего плеча... Я хотел крикнуть, да не успел... Только глаза успел зажмурить... И странно-с, очень странно она горевала потом...

Алим встал, пошатнулся, подошел к лавке и тяжело сел. Порылся в карманах, нашел клочок бумаги и карандаш. Что-то быстро написал и протянул бумажку Грише.

— Вот возьми, Гриша, и храни... Это для тебя. Чтоб тебя, милый, не засудили... Послушай, друг, смотрю я — ботинки у тебя скверные... этакие скверные ботинки...

Он сдернул с ног сапоги и аккуратно поставил их на стлани возле Гриши.

— На-ко вот сапоги... Бери, брат, не стесняйся...

Портянка на левой ноге размоталась, он сорвал ее и выбросил за борт.

— Постой... Что же я еще хотел?.. Что же это такое я хотел? — стал вспоминать Алим, беспрерывно проводя рукой по лицу сверху вниз, словно умывался. — Да, вот что: возми-ка гимнастерку... Она новая, совсем новая, зимой сшил... Алешка портной шил. Знаешь?

— Знаю... — как эхо, отозвался Гриша, затаив дыхание и вздрагивая челюстью.

Алим снял гимнастерку и бросил ее на сапоги. И принялся опять тереть лицо, но не одной рукой, а двумя, все сильнее и сильнее, и уже начал кланяться вместе с движениями рук.

— Возьми и гимнастерку... она новая, совсем новая... Пригодится. Сколько ж я за нее заплатил? Вот и забыл...

И вдруг затих, перестал кланяться и тереть лицо, и долго и неподвижно, закинув голову, смотрел на беспредельное глубокое небо и зеленые звезды. На белой исподней рубашке его лежал лунный свет, пряча в складках густые синие тени. Потом он точно спохватился, точно поймал себя на каких-то ненужных и вздорных мыслях, тряхнул головой и, взявшись руками за уключину, легко и плавно опустил свое тяжелое мускулистое тело за борт. Слабо, чуть слышно, плеснулась вода и скрипнула уключина. Все еще не выпуская из рук уключины, он посмотрел на Гришу, словно хотел что-то сказать последнее, обязательное, без чего никак нельзя было уходить из жизни, но не сказал ни слова и продолжал смотреть на Гришу, молча и как-бы удивленно.

— Жене-то... может что... — шепотом проговорил Гриша.

Алим ничего не ответил. Только на секунду, на миг какой-нибудь, в его глубоко запавших черных глазах мелькнуло что-то испуганное, жалкое, невыносимо страдальческое... И как-то странно, быстро и мелко задрожал его тяжелый подбородок.

Он с силой оттолкнул лодку и исчез под водой...

Д. Кленовский

Д. И. Кленовский родился в 1892 г. в Петербурге. Учился в царскосельской гимназии, а затем в Петербургском университете. Много жил за границей. В эмиграции вышли три книги его стихов: «След жизни» (1950), «Навстречу небу» (1952), «Неуловимый спутник» (1956); сборник четвертый, «Прикосновенье», вскоре выходит из печати.

РАДОСТЬ

Пусть дано тебе жизни много,
Но сейчас ты живешь одну.
Пусть она только слог, но слогом
Строишь слово. Служи ему.

Строй его хорошо и просто,
Как в горах одинокий дом.
Пусть доска и пила, как сестры,
Породнятся в труде твоем.

Будь расчетлив в числе и мере,
Не волнуйся и не спеши.
А построишь — над низкой дверью
Надпись четкую напиши.

Чтобы люди, прочтя, узнали,
Что в рабочие будни дней
Жил ты в радости и в печали,
Но что радость была сильней.

Что ее ты, входя сегодня
К ней хозяином на порог,
Не украл, не купил, не поднял —
Сам сработал и уберег.



Их ровно пятьдесят от сердцевины —
Тугих колец на спиленном стволе.
Ровесник мой на медленной земле,
Вот и закончен он, наш путь единый!

Исчезнуть — мне. Тебе же — жить и жить,
Стать дверью, лодкой, скрипкой, колыбелью,
Бессмертному земному новоселью
Еще светло и чисто послужить:

Спеть, убаюкать, привезти, впустить . . .

О, если бы и мне восслед тебе
Продлить мой срок, мой срок скупой и тленный,
Мое участие в зреющей судьбе,
В движеньи, в пеньи, в зодчестве вселенной!



Все узнав, от самой жгучей муки
До утраты самой роковой,
Научились мы лихой науке:
Не бояться в мире никого!
Ничего не просим мы у неба,
А когда и даст — не бережем,
И краюху поданного хлеба
Разрезаем найденным ножом.
И в глаза никто нам не заглянет,
И руки не тронет нам рукой...
Разве только на глухой поляне
Улыбнется рыжик золотой;
Разве только дикая малина
На сухом растает языке...
Нет у нас ни слуг, ни господина,
Жизнью мы проходим налегке.
Но за то, что все мы потеряли,
Одного мы друга обрели.

Он из ясной, запредельной дали
В золотой спускается пыли.
И на плечи положив нам руки,
Нас целует в обожженный лоб,
Чтобы все земные наши муки
Звездным утешеньем замело.

ЖИЗНЬ

Это все гораздо сложнее,
Чем в мудрейшей из наших книг.
Жизнь твоя... — ты сроднился с нею,
Как к любовнице, к ней привык.

Едишь с нею по ресторанам,
И закуриваешь, не спросясь,
И на коврик ее медвяный
На ботинках приносишь грязь.

А она?.. Для нее названья,
Как ни бейся, не подберешь!
В ней и вечности замиранье,
И мгновенья живая дрожь.

В ней — минувшего тяжкий камень,
И грядущего легкий пар.
Зачарованными путями
Пролегает ее тропа.

Светят солнца в нее и луны,
И пронизывают ее
Золотые, тугие струны —
Мира звонкое бытиё.

И совсем не словами — песней
Говорит, наклоняясь к ней,
Светлоликий, крылатый вестник,
Верный спутник судьбы твоей.

И от этих сияний звонких,
Этих песен, блужданий, встреч
Обессилев, она ребенком
Хочет рядом с тобой прилечь.

С ней бы надо, как с самой хрупкой,
Самой кроткой и чистой быть,
Озабоченною голубкой
Над ее головой кружить;

Отдыхать на плече покорном,
Словно в бурю на берегу,
И клевать золотые зерна
Из ее приоткрытых губ.

ЛИШНИЙ

Как собака из лужи пьет,
По колючим помойкам рыщет —
Так и он свою жизнь живет,
Свое нищее счастье ищет.

Знает трусость и знает злость,
Знает, жгучее раз от разу,
Как прекрасна простая кость,
Кем-то вываренная до отказа.

А умрет он, как клячи мрут
На ноябрьской крутой дороге:
Напоследок лишь отпрятут,
Да немного откатят droги.

Сунут сена ненужный клок
К морде, тронутой пеной алой,
Да шлею под шершавый бок ...
Пожалеют еще, пожалуй!

И останется лишь дымить
Лужа крови в снегу дорожном ...
Скажешь: можно ль так жизнь прожить?
И оказывается — что можно.

ЗВЕЗДНАЯ КНИГА

Тома прочитаны,
Душа — пуста.
Лишь капли считаны
Томят уста.

Но в ночь морозную
Открой окно,
Взгляни на звездное
Сквозное дно.

Там рыбы плещутся,
Из синевы
По лирной лестнице
Выходят львы.

Там стрелы носятся,
Ковши плывут,
Кресты возносятся,
Мечи поют.

И дева чистая
Младенцу в рот
Сосцы лучистые,
Гордясь кладет.

Плывут созвездия,
Гудят, звенят,
Сквозь дым возмездия
Любовь сулят.

И не от века ли
Сияют нам
Библиотеками
Их письмена?

Горит алмазами
Шатер Творца.
Здесь все рассказано,
Все до конца!

Гляди все выше ты,
Читай без слов
По небу вышитый,
Глагол миров!

Какие знаменья
Еще нужны?
Нет чище пламени,
Свежей — волны!

И если даже ты
Душою слеп,
И вечность кажется
Тесней чем склеп,

И весть доносится
Едва-едва,
Все ж в сердце просятся
Ее слова!

И слышишь ясно ты
Простой ответ:
Нет, не напрасно все!
Да, смерти нет!

Пусть с пулей в темени
Влачится мир,
Пусть Демон Времени
Свой правит пир,

Пусть сила грозная
Ломает дверь, —
На небо звездное
Смотри и верь!

Если кошка пищит у двери
И ты можешь ее впустить —
Помоги обогреться зверю,
У плиты молока попить.

Если мальчик бредет из школы
И, насупившись, смотрит вбок —
Подари ему нож веселый,
Смастерить ружье и свисток.

Если девушка на рассвете
Замолчит на твоей груди,
Как молчат, наигравшись, дети —
Через жизнь ее проведи.

Это все, что во славу Бога
Можешь сделать ты на земле.
Это мало и это — много.
Это — словно цветок в скале.

НЕ ЗАБЫТОЕ, НЕ ПРОЩЕННОЕ

Когда весной — чужой весной! —
Опять цветет сирень,
Тогда встает передо мной
Мой царскосельский день.

Он тронут ранней сединой,
Ему под пятьдесят,
Но молодой голубизной
Его глаза горят.

Он пахнет морем и руном
Гомеровской строки,
И гимназическим сукном,
И мелом у доски;

Филипповским (вкуснее нет!)
Горячим пирожком,
Девическим, в пятнадцать лет
Подаренным, платком . . .

Стучит капель, оторопев
На мартовском ветру,
Звенит серебряный припев
Кавалерийских труб,

И голуби, набив зобы,
Воркуют на снегу.
... Я всех забыл, я все забыл,
А это — не могу!

*

За годы зла, за годы бед,
Со мной друживших там,
Привык терять я даже след
К покинутым крестам.

Я склонил отца и мать.
Я склонил друзей,
Но их мне легче вспоминать,
Чем запах детских дней.

Все, чем согрела жизнь меня,
Я растерял — и пусть!
Вот даже Блока больше я
Не помню наизусть.

И стало тесно от могил
На дальнем берегу.
... Я всех, я все похоронил,
А это — не могу!

*

Когда я думаю, что вот
Там все теперь не так,
И тот, кто песни там поет,
Не близок мне никак;

Со мною августовским днем
Не вспомнит злую весть,
Не скажет: «Вот сейчас вдвоем,
«Костер» бы перечесть!»

Когда я вспомню, что поэт,
Что всех дороже мне,
Убит, забыт — пропал и след! —
В своей родной стране;

Что тот, кто нам стихи сложил
О чувстве о шестом, —
И холмика не заслужил
С некрашеным крестом;

Что даже в эти, в наши дни
На невском берегу
Его и мертвого они
Как волка стерегут —

Тогда я из последних сил
Кричу его врагу:
Я всем простил, я все простил,
Но это — не могу!



Л. Ржевский

Леонид Денисович Ржевский (литературный псевдоним) родился в Москве в 1905 году. Там же окончил университет и аспирантуру, защитив диссертацию на учёную степень кандидата филологических наук. Беллетристика: роман «Междудвух звезд» (1953), повести и рассказы («Человек, которому было все равно», «Два варианта», «Сентиментальная повесть» и другие), напечатанные, главным образом, в журналах «Границы» и «Новый Журнал». Ему принадлежит также ряд критических статей о советской литературе и о современном русском языке (брошюра «Язык и тоталитаризм», 1951). Печатаемая ниже повесть помещена в № 36 журнала «Границы» (1957).

ПАРЕНЕК ИЗ МОСКВЫ

«Мы ходим все, пригнувшись до земли,
Мы прячемся, боясь чужого взора».

Петро.

I

Этого юношу, почти мальчика — на вид ему было девятнадцать, не больше, встретил я в... (Совсем механически написав эту фразу, вспоминаю, что должен, как это нынче в обычае, камуфлировать обстоятельства этой встречи, всяческие «как», «где» и «когда»; географическая мизансцена, таким образом, будет в этом повествовании произвольна, — что впрочем не так уж важно для общего замысла). Итак, встретил я его в одном отеле, где мы внезапно оказались соседями, так что даже двери наших номеров выходили на общий один балкон. Там я и заговорил с ним, следя эмигрантскому обычаю пробовать и смаковать случайных гостей «оттуда», как какой-нибудь редкий сыр. Необычайным оказалось лишь то, что мы с ним так уж быстро и обстоятельно разговорились.

Может быть, помогли этому грецкие орехи (их была у меня целая горка, и мы сразу же за нее принялись, одолживая пооче-

редно друг другу щипцы), может быть — то, что оба мы были москвичи, — один, с эмигрантским упрямством, несмотря на многолетнюю отлучку, все еще слышал, казалось, под подошвами шорох московских тротуаров; другой всего несколько месяцев как отбыл из Москвы. Да и внешне что-то в нем меня располагало: и имя — Валерий, и вся его тонкая юношеская стать, а в лице с чуткими прямыми бровями и еще неокрепшим ртом мелькнуло как бы даже нечто знакомое, виденное где-то, когда-то, давно. Словом, мы сидели, перебрасываясь недлинными фразами, будто бы и не в чужом краю, а на какой-нибудь подмосковной завалинке, а потом, когда орехи кончились, подошли к перилам — взглянуть на город: над черепичной россыпью крыши и башенок висела словно бы невидимая хмаря, солнечно синяя, однако же прозрачная, так что выступали сквозь нее и дальние горы, и ломтик озера — все тоже сизое, без яркости, как на флейте сыгранное. Был фён.

— Фён! — сказал я. — Здешняя примечательность. Некоторые от него, здесь говорят, болеют и даже сходят с ума...

Внизу, под нами, цепочкой бежали блесткие верха автомобилей. Он сказал, что количество автомобилей больше всего поразило его на Западе. Тогда я предложил поехать, покуда не стемнело, на моей машине — выпить где-нибудь пива, поболтать. Подумав немного, он (к моему удивлению) согласился.

Я повез его на восток, чтобы не было в глаза спускавшееся солнце, в одно живописное захолустье, где бывал раньше. Тоже и в пути говорили мы мало — о статистике (на сколько человек приходится автомобиль здесь и у нас), которую он знал лучше меня, и насчет попутного пейзажа, уже зацветшего кое-где по полями желтыми цикориями и маргаритками. В пейзаже восхищался он, впрочем, больше дорогами, усердно рассматривая устройство моей машины. «А у нас дома „Победа“», — сказал он небрежно. — «Зеленая, а колеса розовые, пришлося выкрасить алюминиевой краской. Ветровое стекло у вас лучше, наше было плоское, но вообще недурная машина... Я много поездил-таки», — добавил он, ерзая на сиденьи. Не выдержав этого ерзанья, я предложил ему поправить. Мы пересели, и он повел машину весьма легко и бойко, даже слишком бойко, потому что на одном перегоне, прямом и зеркальном, спидометр переполз уже за сто.

Вылезли мы у деревенского трактирчика, игрушечного убранства и размеров, с резными стульями и рогами на стенках, совсем пустого, как я и предполагал.

— А все-таки вы странный человек! — заявил он вдруг, отхлебнув из каменной пивной кружки и подняв брови: на смугловатых его щеках лежал теперь теплый румянец, а на верхней губе молочными усиками пена от пива, что придавало ему вовсе мальчишеский вид. — Не задаете мне никаких вопросов. Первый раз встречаю, с тех пор как на Западе!

— Каких вопросов?

— Ах, ну разных там... Популярен ли Хрущев среди студенчества, почем в Москве модельная обувь? про венгерские события... — их штук десять, вопросов, всегда одинаковых, я знаю уже их наизусть и отвечаю, как пластинка. Вы единственный, кого это не интересует.

— Очень даже интересует, но я замечал, что, если расспрашивать, самого важного никогда не добить. Другое дело — рассказ. Вот если бы вы рассказали мне что-нибудь...

— Что именно?

— Ну, не знаю... Эпизоды какие-нибудь из студенческой жизни, что-нибудь автобиографическое, что запомнилось.

— Да ведь это надо уметь — рассказывать...

Подавальщица, хорошенъкая девочка в местном костюме с вышитым корсажем и какими-то бубенчиками, принесла нам соленые крендельки к пиву, и Валерий следил за ее движениями, раздумывая.

— А знаете: у меня и в самом деле вроде как охота вам кое-что рассказать! — начал он неожиданно, кромсая пальцами на скатерти кренделёк. — Как вот мы сейчас с вами ехали, и эта пивная и деревня — «все мне на память приводят былое», не по сходству, правда, а скорее по противоположности: вспомнил один наш автопробег, втроем, в «Победе», всего месяцев пять назад...

— Вот и рассказывайте.

— Не знаю, получится ли. Был этот автопробег для нас, между прочим, вроде первой вылазки «в народ», со многими последствиями, общими, так сказать, личные я отброшу... или — нет, не удастся, пожалуй, отбросить личное, ну — увидим. «Мы» — это студенты, я, мой друг Клим и Кира, наша приятельница, все третьекурсники... Нужны анкетные данные? Вот: Клима отец был герой Советского Союза, с памятником, потому что погиб в войну. Клим сирота, а брат его — капитан дальнего плавания. А у Киры папаша — полковник в Берлине. Мы всегда держались вместе, вся тройка, нас даже прозвали всех трех... впрочем, это не важно... (запнулся он, как я понял, чтобы не

называть мне этого прозвища из конспирации, но все равно проговорился потом). Я кивнул ободряюще...

— Чорт возьми, как же начать! — развел он руками и очень хорошо улыбнулся. — Ну, представьте себе октябрьский полдень — собрались с утра, но Кира на три часа опоздала. Дождь. Нет, дождь был накануне, а просто серый московский денек. Про дождь же вспомнилось, потому что — дороги! Мы зарочно поехали, куда глаза глядят, без всякого почти маршрута. Сперва по Ленинградскому, потом поворотили на Волоколамское и с него тоже свернули, проселками... И в общем, знаете, отцовскую «Победу» я за малым не угrobил... Нет! — перебил он сам себя, — чувствую, выходит у меня нескладно. А с вами, наверное, держи ухо востро в смысле критики?

Я сказал, что совсем не нужно «востро» и что не жду от него чего-нибудь непременно сюжетного, с «треугольником», а пусть рассказывает, как может, про троих в «Победе». При слове «треугольник» он словно бы немного смущился, разом вытянул пирог и передохнул...

— Так вот к вечеру занесло нас в один заплесневелый городишко. От скачков по ухабам да по булыжнику машину всю разболтало, да не только машину — и нас. У Киры мигрень, Клим уж на что крепок и тот сдал... Городишко вполне феодальный — настоящая миргородская лужа посреди главной улицы, стоящие домишкы вокруг... Мы думали отыскать ресторан, а потом на ночевку, в гостиницу. Но...

Но тут я переложу его повествование по-своему. (Прошу читателя, если такой случится, прикинуть трудность этой задачи: и не мое — потому что не присочинял почти своего, и не его — потому что пришлось лепить все из кусочков и строить «мостики». Скажу заранее: заинтересовала меня в его рассказах в первую очередь и больше всего именно тема «треугольника», которую он сперва все притушевывал, а потом уж не мог — на ней и спускался до конца, как на парашюте).

«ТРОЕ В „ПОБЕДЕ“»

Они переехали через лужу, разбрзгав во все стороны взломавшуюся желтую воду. Коза, чисто канатная плясунья, мотившаяся бочком на узкой бровке между лужей и частоколом, ругнулась беззвучно, разъяв чертячье лукавое рыльце, и снова

стала оципывать зазаборные кустики. В Москве об эту пору начинались часы «пик», а здесь ровно все вымерло. Миновав лужу, побуксовали по серому вязкому песку, а выползши, свернули за угол, на главную, судя по каланче и церкви с обкушенным верхом, улицу. Машина заплясала гопак во все четыре, взыгравшие по булыжнику, колеса.

— Ва-а-лик! — взмолилась Кира, взлетая на пружинах. — Давайте здесь остановимся. Я, кажется, больше не вынесу...

— Кто хотел непременно Русь деревянную? — спросил, притомаживая, Валерий. — Ты хотела? Значит — терпи! Ну-ну, не хмурься, ладно, причаливаем...

Клим вылез первый на досчатый тротуар — доски под ним спружинили, щелкнув, как клавиши:

— Хорошо, когда твердь под ногами! Вон как раз и закусим. Глядите: вывеска!..

В бревенчатых сенцах ресторанчика пахло капустой; из-за дверной гардины с ободранными кисточками тянуло синим махорочным дымком. Около вешалки лепился плакат с какой-то цитатой в живописной рамке из фруктов, дичи и вин. Фамилия под цитатой была заклеена.

— «Характерная особенность нашей революции состоит в том, что она дала народу не только свободу, но и материальные блага, но и возможность зажиточной и культурной жизни», — прочел Валерий. — Иными словами: «Ты знаешь край, где всё обильем дышит» и так далее. Феодальный плакат! Но — посмотрим...

В зальце капустно-махорочный дух сгущался до липкости, но было почти пусто: обвалившись плечами, сидел над стопкой рабочий в синем комбинезоне; плоская самокрутка, мокро искуренная, дымила спиралькой, налипнув на краешек стола. В дальнем углу два парня в рубахах с засученными рукавами тянулись стаканами к третьему, в пиджаке, — угощали, должно быть. Женщина за буфетом, с красной ленточкой по взбукинному лбу, повернула голову.

— «Ты знаешь край, где всё обильем дышит»... — снова протянул Валерий сквозь зубы, оглядывая пустую стойку. — Чем угощаете?

— Винигрет... — сказала женщина. — Борщ есть обеденный, если желаете. Ну и, понятно, напитки...

— Неуютно, мальчики! — вздохнула Кира. — Тут вот сядем, давайте. Хотя между прочим есть ничего не хочется. Вся как побитая...

— Как называется твой доклад в НСО*), «Пути-дороги»?

— «Тема дороги в русской литературе», Валерий, ты же знаешь, — сказала Кира, косясь на синий комбинезон напротив: самокрутка дымила все сильнее, и огненный тусклый газок по-добрался уже к скатерти. «А он и не смотрит»...

— Вот бы и рассказать тебе о нашем автопробеге. Эпиграф из Пушкина «Теперь у нас дороги плохи». Тезис: теперь, то есть сто с чем-то лет спустя, еще хуже, принимая во внимание замену перекладных автомобилями.

— Что ж, если бы тема была такая... экономическая, то и рассказала бы.

— Ой ли? Слабо!

— Не зли меня! Я и так сейчас злая. Сам ведь знаешь, что ничуть не слабо. Рассказала бы откровенно.

— Ну и продрали бы тебя с песочком на бюро. В лучшем случае — не заметили бы «откровенности».

— Почему не заметили бы?

— Почему, почему... Потому что — рыжая.

— Валерий!

— Я читал, — вставил Клим, до сих пор все молчавший, — при Петре был будто бы закон, что рыжий и, если не ошибаюсь, косой «не могут свидетельствовать на суде, понеже Бог шельму метит».

— Клим, и ты! Вот не люблю, милые мои, когда вы начинаете, особенно ты, Валерий, как какие-то... циники. Я знаю, это мой «пунктик», но ведь не нормально то, что мы так привыкли замалчивать, вместо того, чтоб... ну, в общем, честно заявить, что ложь...

— Это нам задано, дорогая моя...

— Мар-руся! Два по двести и три кружечки! — крикнули в угол, и женщина за стойкой прошла туда, позывая стопочками. «Сжег скатерть, друг!» — сказала она по пути человеку в комбинезоне, смахнув на пол занимавший Киру окурок. — Человек непонимающее поднял вслед ей лицо с мокрым ртом. — «Пьян... Слава Богу, кажется, она несет теперь нам»...

— «Ложь — религия рабов и хозяев» — говорится у Горького, — снова начал Валерий, вороша вилкой винегретную липовую грудку. — Увы! также и наша. Что такое «социалистический реализм», о котором мы столько толкуем, все вокруг да

* Научное Студенческое Общество.

около, не по существу? Это реализм за претительный. Не важно в конце концов, о чём и как, важно — чего нельзя ни под каким соусом. Чего нельзя — это и есть правда, а писать, значит, воленс-неволенс разрешается только ложь.

— А Дудинцев, например? Написал же правду?

— Что ж, по головке его не погладят. «Табу» нарушать никому не позволено. В этой вот, я извиняюсь, мерзости... — Валерий морщась вытянул из тарелки длинный в мелких масляных капельках волос, — в этом вот винегрете мне разрешается видеть только лишь витамины, а напишу про волос — скажут, что нигилист, особенно если обобщу, так сказать, природу такой волосатости...

— Перемени пластинку, Валерий, — сказал Клим недовольно, покосившись на притихший вдруг столик в углу. — Главный вопрос на повестке другой: винегретом единственным мне, например, не насытиться...

— В машине бутерброды, мальчики. С сыром и ветчиной, два часа делала. Или это уж после, в гостинице? ..

* * *

Стайка ребятишек, налипших было на «Победу», проводила через весь почти город, топота шоколадными от грязи ногами по узким гнутким мостикам. — В гостинице был ремонт; девочка-портье, похожая на ту, что показывала когда-то Чичикову дорогу к Манилову, молча и завороженно разглядывала затворы-молнии на валериевой куртке: большой — вдоль и два маленьких поперек, на кармашках. «Может, койки есть свободные, общежитие?» — допытывались у нее. «Не-а» — шмыгала девочка носом, и зеленая капля над верхней ее губой то набухала, то укорачивалась... — Пришлось ехать дальше, чтобы съскать начлег засветло. Сразу же за огородами бульжник поредел и, озорно пошвыряв колесами, исчез вовсе. Начался широкий большак, изрезанный вперекос колеями, как ладонь морщинами; по сторонам бежали оливкового цвета кочковатые поля, вдали уже синие. По-вечернему шелково поблескивали водой ухабы. Перед самыми крупными Валерий, загодя втягивая голову в плечи, притормаживал. Впереди, над дальним, узким, как бархотка, концом большака, висел дымно-красный слоеный закат.

— Прямо Левитан! — сказала Кира. — И едем куда глаза глядят. Хорошо! ..



Смеркалось уже когда подкатили к небольшой деревушке, свернув на травяную обочину у первой же, на отшибе, избы. За колодцем, на куче осиновых плашек, старик в керзовых сапогах и солдатской шапке-ушанке наживлял какой-то длинный заскорузлый ремень. Услышав «нельзя ли переночевать?», ответил с готовностью, и кругловатые его чуть выпуклые глазки засутились. Рассказал, что живет бобылем, что «племяш» лет двенадцати сейчас на картошке, что будет сам спать на печи, «а на пол можно настелить соломки свежеющщей»; повел в избу через темные пахнувшие куриным пометом сени. Изба — комната с печью — ничего себе, чистая, но видно по нескребанным лавкам и столу, что без женской руки. — «Чего? — сутился старик. — Молочка, говорите, барышня? Чего нет, того нет. Не держу коровы, а ферма у нас — три версты, оно, молочко-то, и текёт мимо рта. Как говорится, «было времечко, грызла баба семечко, а теперь и жмут, да не всем дают»... Самоварчик вот можно наставить. Разом, только огонь засвечу»...

— Похож на Мусоргского, — шепнула Валерию Кира. — Только борода подлиннее. И старше, наверно...

— Шестьдесят! — ухитрился расслышать старик. — Трех войн участник, в последнюю — до Берлина дошел, медаль имею... — Он снял с пустой божницы керосиновую лампешку, поджег, размяв пальцами, узкий фитиль и осторожно, как бы не раздавить, втиснул в зубчики пузырчатое стекло. В вылегший на столе рыжеватый световой кружок вползли вдруг тонкие, подвижные усики.

— Таракан! — сказала Кира упавшим голосом.

— Прусак! — уточнил Клим. — В Пруссии, в бывшей то есть Пруссии, и в Берлине, где мы с Валерием надеемся продолжать образование, их называют «русскими». Между прочим, в первый раз вижу, что ты вроде боишься, Кира. Ночевала ты когда-нибудь в крестьянской избе?

— Никогда прежде. Может, в эвакуацию, но мне тогда было пять лет. Кстати, я не боюсь, а просто противно...

Старик принес самовар, побурчал что-то насчет посуды, которую «окаянный хлопец почтай всю пококазал», но отыскал все-таки две кружки без ручек и граненный стакан; от коньяку в валериевой фляге сперва отказался, решив почему-то, что сладкое («не в коня корм»), но потом выпил три крышечки-стопки и оживился пуще прежнего.

— Вы, стало, ребятки, московские? Через наш город проезжали ай как?

— Через него, — ответил Клим, жуя бутерброд. — Тоже мне город! Лужехранилище посреди улицы, и хоть бы одно деревцо высадили.

— Деревья козы обгладывают. Развели их до черта. А город захирел, это правильно. Электричество и то когда функционирует, когда нет из-за топлива. С этой вот лампочкой Ильича сидят, вроде нас.

— Не дошло сюда, выходит, великое преобразование?

— Ну, как сказать, не дошло... — старик вставил в ухо твердый землистого цвета палец, заболтал им, пригнув голову, так что виден был один только круглый глаз. — Как сказать... В раскулачку преобразовывали, кого побогаче — повыташили, говорится, с корнем... Опять же и при Берии, враге народа, хватали людей порядком...

— Ничего себе толкование социализма! Кира, ты слышишь?

— Угу! — кивнула Кира, щурясь на стенку, на черные щели и трещины вдоль проконопаченных пазов, где, посверкивая, tolклись полированные спинки и усики. — Мальчики, они настут сложут!

— Тараканьё? — никак не изведу проклятущих!.. Если очень гребуете, барышня, то можно бы и в нашем сарае, на сене. Вы, вижу, все некурящие...

Старик раскопал и принес — подостлать — какую-то хламидку. От нее отказались — в машине были одеяла и плед. Вышли на улицу, сине-черную, звездную, в крупной холодной росе под ногами. В сарае, подсаживая друг друга, вскарабкались по самодельной лесенке, обрушились в топь. «Голубчики, запах какой феодальный!» — закричала Кира. «Я — здесь вот, я заворачиваюсь в плед, а вам — одеяла... Швырни мои туфли вниз, Валик. Ох, как замечательно!»...

— Счастливо переночевать! — сказал старик, прикрывая ворота. — А денек назавтра будет вполне подходящий. Ишь как вызвездило!

Улетвшись, долго смотрели на узкую, в густую звездную крапинку, щель между срубом и драночной крышей; тек из нее холодок, пахнущий грибной сыростью, и деревенская чуткая тишина, мешаясь с парным духом и шелестом сена. Говорить сперва не хотелось: только дышать и слушать.

— Вы не спите, мальчики? — начала Кира шепотом. — Я во всех впечатлениях разберусь завтра, сейчас не могу... Забавный он, наш этот хозяин...

— Колоритный старик.

— Берлин брал, вы ведь слышали?.. Кстати о Берлине. Это когда выяснится, поедете вы заграницу?

— В декабре министерство обещало ответить.

— Шансы у вас, я сказала бы, равные... Только вот Валик совсем отстал от актива. Я помню, Сергей Сергеич Тесемкин твердил: «пошлем только лучших из лучших»...

— Актив! — сказал Валерий, и по шороху сена Кира поняла, что даже приподнялася всердцах. — Это как где-то у Лескова, «одна заматерелость в предании и никакой идеи». Остались идеи у нас в комсомоле? Пусть он дает толковое задание, Сергей Сергеич, тогда я готов...

— В общем, я думаю, пошлют обоих. Очень хочу, чтоб обоих... А я поеду в Берлин самотеком. К папке. И будем снова втроем...

* * *

В этом, помнится, месте я перебил рассказчика. Во-первых, чтобы съесть что-нибудь — мы заказали девочонке с бубенчиками шницель. Во-вторых — чтобы расспросить про Тесемкина, с которым был когда-то знаком. — Что он, давно у вас в институте?

— Профессор Тесемкин? Года два всего, уж при мне. Секретарь партбюро факультета и читает «марксистскую эстетику».

— Интересно читает?

— Как сказать... Цитаты из Маркса-Энгельса-Ленина, немножко из Плеханова, осторожно, а остальное «от противного», то есть, что, скажем, Шиллер там или Шеллинг — это не эстетика, Кант — тоже не эстетика и реакционно, как и «искусство для искусства», эстетизм и прочие «измы» — у него их до черта... И только заикнешься насчет «формы», сразу попадет в формалисты. А между тем разве не ясно, что эстетическое значение имеет именно форма, которая включает содержание, потому что это есть «форма содержания», и значит исходить надо от «как», а если только от «что», то получается Бабаевский... Ну, а как вам мой рассказ? Не напрасный труд? Сгодится?

Я похвалил. Попросил только попортретнее — «треугольник» был пока что довольно безличный и вполне, так сказать, равнобедренный.

— Будет и личное. А насчет портретности... Может, я лучше сразу вам их опишу. Например, Клим. Он немножко бирюковат, но имеет неплохой спортивный разряд и значок ГТО второй степени. Начитан, упрям... Что еще? Кира?.. эта тоже упрямая. Я уже говорил, кажется, что рыжая, русой такой рыжины... — Подумав, он вытащил бумажник и из него фотографию, протянул мне. — Вот поглядите. Хотя, конечно, полностью не передает...

Фотография, паспортного формата, обрезанная вкрай и в трещинках, и вправду, может быть, не передавала подлинника (стылое лицо в три четверти, толстоватая нижняя губа и много вихров), но я знал, что в жизни такие лица весьма подвижны и переменчивы. У этой, например, жидкноватые брови, сплывающие к самой переносице, очень должны быть выразительны. Глаза, может быть, зеленоватые, и, когда улыбается, то шевелится кончик носа. Последнее предположение я высказал вслух, и Валерий необычно оживился.

— Точно, шевелится! А улыбается она постоянно, если не злится. Но откуда вы знаете?

— Угадал! — сказал я, возвращая карточку, и он спрятал ее, тщетно пытаясь под небрежной усмешкой скрыть смущение.

— Что ж, буду продолжать? — спросил он.

* * *

Проснулись они запоздно. Раньше других — Валерий, которому первому полилось на лицо через щелку под крышей тепло невысокого солнца. И сзади, к лопаткам, прильнуло тепло — Кирил локоть: во сне она подкатилась поближе, попрежнему закутанная в клетчатый плед, как кокон. Когда он осторожно повернулся на спину, солнце пролилось и на Киру, раззолотив рыжеватые космы волос и лицо с сонными губами, а поверх зажгло золотисто-синий воздушный косячок с толкующимися в нем пылинками. Валерий тотчас же вспомнил, о чем долго думал вчера, когда остальные заснули, — о том, как Кира сказала насчет поездки в Берлин: «и будем снова втроем»... Втроем! Они давно, со второго уж курса, держатся так вот втроем. В институте кто-то и кличку придумал для них, не без яду, — «Кирики»... Ладно, пусть! Но откуда же так? Среди разных

своих увлечений и «побед» Валерий считал привязанность к Кире самым большим, настоящим. Но «победой» Кира ничуть не была. Напротив: иногда казалось ему, что Клима она больше принимает всерьез; иногда — что настоящего чувства нет у нее из них ни к кому; иногда — что она сама «выбирает», колеблется, ждет, что кто-нибудь из них двоих первый нарушит «конвенцию». Да, в общем, конечно — конвенцию: в том, что Клим, молчаливый и сдержанный, любит Киру не меньше, чем он, — Валерий не сомневался. «Конвенция» сперва занимала, была виной. Потом стала в тягость...

Он снова приподнялся, вытянул шею: Клим спал, прикрыв голову одеялом; сверху клочками и клеверными сухими головками натрусились сено. Солнце еще пуще разгорелось на Кирином лице — видны были совсем невнятные веснушки у переносицы, тонина кожи и мелкие, как булавочные головки, капельки пота над верхней горячей, должно быть, губой. Что-то вдруг зашлось у него в груди, не то в горле, мешая дышать. Чувствуя, как сыплется за ворот сено, он потянулся неловко и поцеловал ее в губы, которые сразу же потеряли расплывчатость. Поцеловал еще раз, уже упругие, и почти смятенно увидел, как потекла по ее щекам пунцовавая жаркая краска... «Неужто не спала? Ну, пусть, все равно...

Он лег на спину, стараясь ровно дышать. Муха или шмель — не разглядишь — жужжала прерывисто над головой, пощелкивая сразлету о дранку... Потом он услышал, как Кира зашуршила сеном, высвобождаясь из пледа, села, подобралась к краю, спустив ноги... Съехала вниз и сказала «Ой!».

— Ты что?

— Ногу подвернула. Нет, подожди, не слезай! Ох, как больно... — Охнув еще разок, она открыла ворота, вышла, напустив полный сарай света, так что стали видны над головою стропила, серая чешуя дранки в паутине и мелких щелочках и жужжащая синяя муха.

Через несколько минут Валерий тоже спустился и вышел. Утро было все в солнце, в холодно-осенних деревенских запахах — квелой ботвы с огородов, свежей ржаной соломы и пригретых солнцем бревенчатых стен. Кира сидела боком к нему на осиновых плашках, где сидел вчера дед; обхватив горстю у затылка рыжую свою гривку, расчесывала пушистый султан круглой гребенкой, взблескивающей на солнце. Услышав его шаги, отложила гребенку и, ловко мелькая пальцами, перевязала перехват ленточкой, которую держала в зубах. Чулок с одной ноги она

стянула — он висел тут же, на бревнышке, длинный, прозрачный и мокрый внизу от росы.

— Ты что ж по росе босая? Как нога?

— Растянула, наверно, связку. Тут вот, у косточки, — показала она, не оборачиваясь. — Не страшно, уже проходит.

— Дай я размассирую, — предложил он, приземляясь. Но она качнула отрицательно рыжим султаном и подогнула ногу под подол. Он неловко поднялся, ощупывая сразу замокшие от росы коленки.

— Ты зачем это сделал, Валерий? — строго спросила она, глядя на улицу, где копошились куры, ища пригрева.

Он молчал, больше от досады: вот, значит, кончится все головомойкой и — точка.

— Ты что... меня любишь? — продолжала она, все так же не смотря на него, и что-то звякнуло в ее голосе: волненье или, может быть, смех.

— А ты как думаешь? — ответил он грубо, сам для себя неожидано, — теперь уж несомненно надо было ждать взрыва.

Вместо взрыва, Кира уперлась о плашки ладонями и повернулась лицом, снова высвободив голую ногу.

— Правда, Валик?... — взглянула она на него снизу вверх, и Бог знает, что именно блестело в ее зеленоватых чуть прищуренных глазах, отчего неловкость его и досада выгорели вмиг, — да, был, пожалуй, и смех: двигался кончик носа, но губы и улыбались, и как-то необычно вздрагивали, растягиваясь...

Дожидаться ответа она не стала — вскочила и пошла к «Победе», на ходу втискивая в туфлю узкую голую ступню и прихрамывая.

— Отомкни мне машину, Валерий. Я там переоденусь, сено натрусились под платье. Я быстро, сейчас...

Он пошел было к улице, всполошив пригревшихся кур, но вернулся — далеко отходить не хотелось; стараясь не смотреть на ветровое стекло, смутно мелкавшее чем-то белым и розовым, заглянул в черный раструб колодца, дохнувший заплесневелым холодком. Крутанув железную рукоятку ворота, стал спускать вниз деревянную в ржавых ободьях бадейку. Она бесконечно долго сплыvala в глубину и наконец глухо шлепнулась днищем, но не потонула; он прикрутил ворот, поднял и снова пустил ее вниз — бадейка накренилась, нырнула, и теперь уж вытягивать надо было напрягшись — даже заныло плечо; но ему сейчас почему-то очень нравились эти усилия и особенно — водопадный шум, журчанье и бульканье, которым вдруг наполнился до-

верху колодезный сруб. С натугой втащил он на бревенчатое ребро бадейку, стремительно истекавшую тонкими струйками в щели, как петергофский фонтан. Старик говорил давеча, что эту воду не пьют — кто-то щенят потопил, либо кошку. Но можно помыть машину...

Они и начали мыть, вооружившись тряпками, когда Кира кончила с переодеванием. Теперь на ней было что-то голубое, безрукавное, и руки сразу же избрызгались серыми кляксами грязи по локоть.

— Бог в помочь! — крикнул Клим, выходя из сарая и на ходу стягивая через бритую голову майку. — Здорово проспал! Сейчас я только — зарядку и к вам!..

Они едва успели помыться, поливая друг другу, как на улице раздались голоса. Вернулся с картошки старик, забеспокоился, что они еще не поели, долго шарил в закуте яиц, шурша соломой и браня за глупость и безответственность где попало несущихся кур. Потом, за яишенкой и остатками коньяку, как и накануне, повеселел.

— А вы, папаша, я вижу, передовик? — сказал Клим, кивая на еще свежую грамоту в красных знаменах, прибитую к стенке гвоздями. — Я признаюсь, подумал вчера, что иждивенец.

— Не, милок. Трудодней у меня хватает. Да прок-то от них... Есть тута у нас парень, один только и остался безусый, на весь поселок. Так как заложит сюда, — старик показал пальцем на жилистую шею, — «Отдаю, кричит, все свои трудодни за литру!» Вот как...

— Есть же в районе и побогаче хозяйства. Я читал...

— Ну, когда читал, стало есть... А я вот летось ездил к брату в Заволжье. Там, правда, леса, но обратно в колхозе никто не работает. Уголь выжигают, смолу собирают, живицу, церпентин, что ли, ложкарничают, готовят корье, луб... А в колхозе на трудодни хлеба вовсе, бывает, не выдают. Без лесу бы и ноги протянуть...

— Что ж, земля плоха, что ли?

— Она не плоха, она, как бы сказать, обиженнная. Кабы ей да язык, она бы криком кричала: отчего мы ее, матушку, не как жену, а как девку гулящую — извиняйте, барышня, — созорни-

чал и пошел... Не в охоту, а вроде как на четвереньках работаем.

— Однако, папаша, хлеба мы в этом году наготовили довольно. Не вы, так другие, — заметил Клим.

— Да кто ж говорит... Оно и на четвереньках наготовить можно. Ну а все-таки... — старик поболтал пальцем в ухе и подмигнул почему-то Кире круглым смешливым глазом, — впрямки да в полную свою волю — было б способнее...

Когда собирались домой, старик проехал в «Победе» до окопицы: «Там у меня починка складена — грузовичок рассыпался, кузов. Он и весь-то бросовый, грузовичок, утиль на колесах, да один у нас».

— Новый затребуйте.

— Куды там! Это сколько ж дистанций руководящими воротить надо! До второго пришествия не добьешься. Небось сами знаете: сурьезный у нас аппарат. Вот тут тпру... прощавайте, ребятки! — Он выбрался, кряхтя, у последней в порядке избы. На узкой скамейке под окнами свалены были какие-то планки, скобы с гайками и болты. Изба была прежде, наверно, колхозным правлением: на толстой ветле с галочками серыми гнездами забыто висели две доски — «красная», почета, и «черная», — теперь с одинаковой, беспристрастной щедростью испещренные бело-пестрым пометом.

— Так сурьезный, говоришь, у нас аппарат? — спросил, усмехаясь, Валерий, опустив боковое окошко.

— Очень сурьезный! — отозвался старик с готовностью, нацепивая в ухо палец. — Оно ж по-другому и не выходит. К казенной, скажем, и гайке надоть приставить присмотрщика, для порядка и чтобы не крали; обратно — инструктора, как зачинчивать, да контролера, да булгахтера для учета, да самого главного плановика, чтобы распределять куда они требуются, — эна сколько начальства. Не протолкнешься!

— Что ж у вас, локтей нету?

— Мы не руководящие, мы производящие. Это другой оборот. Ну, счастливо доехать!..

* * *

— Лукавый старикан! — усмехнулся Валерий, притормаживая (дорога шла под гору). «Руководящие и производящие»... А колхоз этот липовый я бы разогнал.

— Да уж ты бы... — пробурчал Клим, устраиваясь поудобнее на заднем сиденьи

— Ты — против?

— Я за то, чтобы можно было обсуждать свободно, разогнать или нет. — Понимаешь?

— Голубчики, хватит о политике! Поглядите лучше, как красиво!..

Косячок тонконогих сквозистых осинок в красных прядках листа сбегал рядом с ними в низину. Разогнавшись под горку, осинки высыпали на луг, спотыкаясь о кочки: луг тянулся далеко, спереди — стоптанный, в пепельных с прочернью пятнах от летних костров, дальше, где по нему петляла река, — в матовой мелкой отаве, буро-зеленый и дымчатый. Краски везде были словно фарфоровые. («Удивительный все-таки этот наш деревенский пейзаж! — сделал в этом месте Валерий небольшое лирическое отступление. — Я только теперь разобрался, сравнивая. Ведь какой тут экспрессионизм в природе! В сто цветов, а все как-то смахивает на декорацию. А у нас в общем «рязанские лощины, коломенская грусть», как говорится в какой-то пародии на Есенина, вовсе неярко, а на каждом шагу вспоминается. Въелось...»).

Они переехали мостик с проминающимся настилом и выбрались на чиненый большак. Ухабы и рытвины были здесь, словно нарочно, вытянуты поперек, и машина скакала по ним, скрежеща, как по шпалам. Все устало молчали, даже и на коротких привалах. Оживились лишь, разглядев вдали телеграфные столбы и яркобельевые на солнце шоссейные тумбочки, отмечавшие въезд.

— Ну, как, Кира, поездка? — спросил Валерий, расправляя плечи, когда выкатили на асфальт

— Чудесная! — сказала она горячо, но, поймав его взгляд, вспыхнула, оглянувшись на Клина, и стала смотреть в окно. Редкие попадались навстречу машины, сплошь почти грузовые с общарпанными бортами и вмятыми крыльями. Водители их с любопытством пробегали глазами по нарядной «Победе»

— А что мы с вами, мальчики, «руководящие» или «производящие»? — спросила вдруг Кира. — Сейчас, конечно, пока никто, но вообще?

— «Вообще» для старика, вероятно, руководящие, — решил Клим. Все молчали.

— Радищев, Герцен, декабристы тоже были «руководящие»... в этом смысле, — снова начала Кира, с безмятежностью опуская промежуточные звенья своих размышлений.

— Радищев, декабристы!.. — повел плечами Валерий. — Другое время, другие люди! Готовность была к подвигу, бесстрашие, чувство собственного достоинства... А теперь... «Всё тонет в фарисействе», как сказал один поэт, которого мы не печатаем.

— Вот и я говорю: надо начинать с... ну, как бы это сказать, это ведь назрело среди молодежи, ты знаешь... С морального похода на ложь...

— «Похода!» Экая утопия!

— Почему утопия? Как ты, Валерий, не понимаешь. Я говорю о практическом, последовательном внедрении правды...

— Да какой правды? — воскликнул Валерий, и даже машина рванулась вперед, сердито буркнув под прижатой педалью.

— Какой правды? Карманной? Для настоящей большой правды есть у нас условия? Скажи ты правду пооткровенней — и ты конченый человек. Отчего наши литературные «пророки» превратились в «блестителей дум?» Оттого что запуганы либо задобренны. Это, кажется, Фридрих Второй прусский говорил, что профессора и девку можно купить. У нас купили еще и писателей.

— Так то было прежде... — сказал Клим.

— Постой... Недавно к отцу приходил один из маститых. Не стану фамилию называть, но вы его книжки знаете. Плакался долго, бия себя в грудь, что много-де лакировал, отступая от правды. Я слушал и думал: а кто тебя тянул за язык врать, если ты не куплен? А если ты куплен и дорожишь дачей в Переделкине, то врать станешь и дальше. И что же: напечатал недавно в «Литературке», что социалистический реализм самое для него родное и навек нерушимое... Начал, говорит, новый роман о целине, то есть, значит, будет опять выдумывать показательных героев и клеветать на нас.

— Ну вот, теперь уж и «клеветать!» Все гиперболы... И убавь, между прочим, скорость, а то горячишься, и загремим, чего доброго, в канаву.

— Нет, именно клеветать, я тебе объясню... Вот, например, писатель заставляет девушку, свою героиню, быть «показательно» бдительной. К кому, спрашивается? — К собственному отцу: он, видите ли, по служам, неверно решает какую-то лесоводческую проблему. Что это такое, по-твоему? Или еще герой, который переживает, что любимая девушка, прихвортнув, отказалась

притти на идиотский субботник. По-моему, это именно клевета на нас, молодежь. Мы умней. Времена Корчагиных прошли. Это отцы. А дети хорошо понимают, что за родину, в бою, жизнь отдать следует, а за субботники и кукурузу — нет никаких резонов... И нечего подсовывать нам для примера разных кукурузных Мересьевых!

— Опять врешь... Мересьев — тема подвига, утверждение воли, — заметил Клим.

— И «Старик» Хэмингуэя тоже утверждение воли. Что ж, спрашивается, был бы он со своей рыбиной убедительнее, если бы снабдить его партийным билетом?

— Что же ты предлагаешь, Валик, практически?

— Ничего не предлагаю, а чувствую... Чувствую, например, как это правильно у Гете:

Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день идет за них на бой.

— Вот мы и идем... — сказал, помолчав, Клим. — Полегоньку, но верно...

— Я не гожусь в реформисты-постепеновцы...

— Погоди, дай досказать. Идем, говорю, в верном направлении. Стену лбом не прошибаем, на ветряные мельницы не набрасываемся.

— Ну, я на Дон Кихота не похож! — сказал с досадой Валерий и включил третью скорость.

Шоссе теперь бежало отличное, солнечно мелкали белые столбики на асфальтовых руках въездов; свистя рассекаемым воздухом, проносились мимо легковые машины — тонконогие «Москвичи», тяжеловатые «Зимы» и «Волги»...

— Смотрите, уж Москву видно! — сказала Кира.

В самом деле: над лиловатой слоистой далью, в которую втекало шоссе, прозрачно синели контуры высотных зданий. Еще немного — по сторонам побежали белые блоки рабочего поселка. Наконец началась и московская улица — такая обычна для московских окраин смесь облупленных домиков и громадин в сухой штукатурке, с гранитными цоколями. Они обогнали желто-синий блестевший лаком троллейбус и стали: первый милиционер, подняв палочку, словно перекинул с нее в светофор красный тугой огонек.

— Вот она, Москва моя милая, — вздохнула радостно Кира...



Когда Валерий кончил, уже темнело — олены рога на стенах трактирчика стали таять и словно куститься в потемках. Мы довольно долго молчали: он, верно, вспоминал дальше свое, я — рассказанное. Не то, чтобы нашел я там особенно много новостей — к этому времени можно было уже прочесть кое о чем (в том числе и о «руководящих-производящих») в некоторых «оттепельных» произведениях и между строк; — но, например, разговоры «тройки» мне были внове (так в мое время не разговаривали), и особенно захватил колорит: на другой еще день, в самолете, глядя из-за облаков на так плотно обжитую немецкую землю, всю в пестрых клинушках и белых жилках дорог, — представлял я себе «деревянную» Русь, в стороне от «бобровой шапки», непролазные ее большаки и проселки, по которым вот уже сколько лет скачет и не может доскакать до человека электрический свет. Вечером под крылом самолета рассыпался этот свет бисером по бархатной черни земли, бежал во все стороны, как на машинке простроченными, золотыми стежками фонарей — и я мысленно помешал на невидные улицы зеленую забрызганную грязью «Победу» . . .

— Вы, конечно, понимаете, — сказал я Валерию, — что очень меня разохотили слушать. Это ведь была только завязка. Что будет дальше с «треугольником», заграничной поездкой и прочим — мне совершенно необходимо услышать. А завтра утром я улетаю.

— Знаете, — сказал он, подумав, — а может, мы и еще раз встретимся? Вы ведь в Англии живете, мне говорили? (при этом «говорили» я, по привычке, насторожился: кто это «говорил?»). У меня как раз через пару месяцев туда запланирована поездка. Студенческий один съезд. Вот если бы знать адрес либо телефон, я бы . . . — Тут он, в свою очередь, вдруг замялся немного, но в таком, я бы сказал, симпатичном замешательстве, что моя настороженность исчезла (и что, в самом деле, какой там секрет — все равно, в любом найти можно справочнике!) . . .

II

Словом, мы встретились с ним в ту же весну, в мае, сперва — там, где вообще нельзя было разговаривать: в библиотечном зале. Позже, в курилке, выслушав наскоро дорожные всякие его

впечатления, я сразу же перешел к «Тroe в „Победе“» и — продолжению.

— Я уже думал об этом, — ответил он с готовностью, — на случай, если встретимся... Я могу поотстать от своих до следующего парохода. Потом догоню в К. Два часа в нашем распоряжении, если хотите...

— Скажите, пожалуйста, поточнее, что такое собственно «фён», — спросил он меня шепотом, уже в читальне. — Помните, фён был, когда мы в первый раз виделись...

Я нашел на полке и раскрыл перед ним «Краткий словарь иностранных слов» московского издания. Там стояло:

«Фён — теплый и сухой ветер, возникающий при наличии более или менее значительной разницы атмосферного давления по ту и другую сторону горного хребта, горной цепи и т. д.»

— А ведь ловко подходит! — зашептал он обрадованно. — Я между прочим и собирался как раз рассказать вам про эту «разницу давлений» и всякие там ветры с Запада, через границу, и как мы это у себя ощущали и реагировали... Мы, то есть все та же наша тройка. Но это, конечно, после, когда будем вдвоем...

Затем нас (то есть их, а я присоединился) повели узкими переулочками к университету. Осмотрели аудитории, профессорскую, где по стенам, в хронологическом порядке, висели огромные портреты университетских канцлеров, в том же порядке теряя пышность причесок и одеяний — от волнистых париков ниже плеч и малиновых мантий на горностае — до современных проборов и фраков. Оттуда пошли в собор и поспели (было двенадцать) как раз к бою часов: высоко в каменном полумраке двое всадников-рыцарей, сражающихся вот уже пять веков, двенадцать раз с металлическим хрустом скрестили шпаги; герольды протрубили в тонкие трубы сигнал, подхваченный каменным эхо, — открылись дверцы — и вокруг Богородицы на престоле, по полу-кружью, проплыла вереница приносящих дары... Потом, когда все вместе с прочими зеваками повалили к главному выходу, мы вышли через боковой. Сели у соборной стены, отыскав свободный кусок скамьи. К нашим спинам приникнал каменный шестивековый холодок, а спереди резал глаза голубой теплый воздух с ветряным привкусом недалекого моря и весенней суетой: тяжело перелетали из парка в парк декоративные утки, сновали, постанывая, чайки...

— Так начинать? — спросил Валерий, потягиваясь. — Значит — про фён. То есть про венгерские дни у нас и как все переполошились. Только и разговоров, что про Венгрию. Наслуша-

ются дома «Голосов», и потом друг другу — новости, слухи. Дискуссии шли, конечно, закулисные. Вы ведь знаете наш институт, эти полукруглые коридоры на антресолях? Так вот из вестибюля снизу видать: там станут двое, шепчутся, там — целая группка. Были и вопросы на лекциях, и наверно что-нибудь «нездоровое», потому что руководство решило провести факультетское собрание. Это, помню, уже много после праздников, во второй, кажется, половине ноября. Народу нашло битком, на окнах даже сидели, наверно и с исторического пришли... Они пригласили генерал-полковника Н. — слыхали, верно? — он был начштаба одного Украинского фронта, когда наши освобождали Венгрию и Будапешт. Об этом и был доклад, понимаете, чтобы отвлечь... А потом говорил профессор Тесемкин, он же и председательствовал... Чорт возьми! У меня весь рассказ начинается с этого самого собрания, но как же о собрании расскажешь? Мудрено!

— Да вы как-нибудь, отдельными штрихами, а я уж после разберусь, что к чему... (Опять рассказываю своими — и не своими — словами его историю).

Ф Е Н

«Ленинская» аудитория (Ленин когда-то здесь выступал), самая крупная из всех, с хорами и ступенчатыми рядами вниз, выжидающе гудела и шаркалала. Валерий вошел в самую верхнюю боковую дверь и сразу же отыскал глазами рыжеволосую голову Киры в одном из средних рядов. Сел, однако, сам у стены, на последней скамейке: они сговорились все трое не очень держаться вместе на глазах в институте. Стол президиума на эстраде был еще пуст, но в глубине главного входа, рядом с цоколем ленинского памятника, золотели погоны докладчика — с ним стояли Тесемкин и Бычко, секретарь комсомольского курсового бюро. Кирин пушистый плумажик, подхваченный на затылке голубой лентой, летал то вправо, то влево: кого-то высматривала среди входивших. Бритая голова Клима вдруг показалась справа вверху, на хорах. Сощурившись, он повел по рядам глазами, разглядел Киру, махнул ей рукой, и она положила на свободное место рядом с собой черную лакированную сумочку. Через полминуты Клим появился в дверях и стал протискиваться по ее ряду, чуть сутуля широкие плечи. «Зачем это он? ведь мы же уславливали

лись»... — удивился Валерий, без всякой, впрочем, досады: то-варищеская честность Клима была без сучка, без задоринки; теперь, после «выбора» Киры, он попрежнему дружелюбен и ровен и, как ни в чем не бывало, бросил им недавно «Привет!», встретив в фойе Колонного зала, на концерте. В следующем антракте они тоже сошлись втроем и говорили о рембрандтовской выставке. «Вот выдержка! А ведь он ее любит»...

В вестибюле затрещал звонок, последние кучки курильщиков протиснулись в зал и лесенкой стали вдоль стенки. Двери закрылись. «А ведь все чего-то волнуются!» — подумал Валерий, глядя на Тесемкина, с напряженным лицом поднимающегося на эстраду — открывать собрание, и на двух черноволосых первокурсниц впереди, сидевших, как на иголках, — до него то и дело долетал их шепот и запах дешевых духов. Профессора встретили жидким хлопком, и еще раз похлопали — когда утверждали президиум. Одна из беспокойных голов впереди наклонилась к другой, Валерий услышал слово «волынка» — и тут же мелькнул полуuproфиль с пальцем, предостерегающе прижатым к губам. Ему пришло в голову, что вот, может быть, и Клим уселся с Кирией, вопреки уговору, чтобы предупредить какую-нибудь выходку с ее стороны во время этого митинга — с нее ведь станет... Он машинально беззвучно поаплодировал (на кафедру взбирался докладчик) и тут же решил, что да, так именно и получилось: Клим подсел для опеки, на него это очень похоже; но почему у самого Валерия заботливости такой не нашлось? Нет, бесспорно, Клим из них двоих был наиболее «положительным» героем... Отсюда виден был его бритый круглый затылок и крупные плечи — есть в них что-то надежно-спокойное. Кирич рыжий султан неподвижен: глядит, как докладчик раскладывает перед собой записки, брошиюшки с закладками; вот вешает карту. Бычко ему помогает. Снова идет за кафедру, наливает воду в стакан. Откашливается... Еще раз откашливается... Начал!

Генерал читал по бумажке, сиповатым голосом, и только когда брался за указку, чтобы показать на карте маршрут или рубеж обороны противника, — начинал помыкивать, запинаться, словно съезжал с рельс, и — оживал. Доклад о так называемой «Будапештской операции 1944-45 года» оказался совсем не «сухомятиной», как предполагал Валерий. Рассказывая об ударе Толбухинских войск Второго украинского фронта на Мишкольц и форсировании Дуная, докладчик сам волновался, неровно дыша, и все были сильно захвачены. Когда же генерал, сведя вместе ладони, проторанил над кафедрой в воздухе воображаемую ли-

нию «Маргариты», по залу прокатились хлопки. Однако потом, рассказывая о боях в самом Будапеште, он почему-то увял, и доклад затянулся. Когда кончил, хлопали дружно, но и с облегчением, и гудящая пауза затем показалась особенно напряженной и выжидательной. Тесемкин аплодировал дольше всех, подняв ладони над самыми генеральскими орденами. Валерию показалось: он все поглядывал на стол президиума, где с краю лежала всего одна единственная записка-вопрос. «Рассчитывали, наверно, на больше вопросов — и сорвались! Придется Сергей Сергеичу теперь самому выкарабкиваться»... Так и вышло: перешепнувшись с кем-то в президиуме, Тесемкин оперся разведенными руками о край стола, качнувшись вперед. — Товарищи, — начал он и недовольно отодвинул в сторону графин с водой, услужливо подставленный Бычко. — Прослушанный нами доклад особенно ценен сейчас, когда, как вы знаете, распоясавшиеся реакционеры в Венгрии взорвали памятники советским воинам, павшим в боях за освобождение венгерского народа от гитлеровских орд...

Говорил Тесемкин броско, с нажимом, слегка сбыччив голову с запавшим подлбьем и лишь изредка разрешая себе в конце фраз митинговые протяжные интонации. «Под Ленина», — подумал Валерий, — «впрочем так же говорит он и на лекциях». А фразы все понабрал из газет. Удастся ему этим отделаться? — В тишину зала уже вползал тот особый шершавый шумок беспокойного шевеленья и шопота, который обычно возникает с окраины к центру, не наоборот, и всегда означает неодобрение аудитории.

— Имре Надь оказался пособником контрреволюционных сил, — говорил Тесемкин; руки его, пружиня в локтях, все сильней упирались в красную скатерть ладонями. — По просьбе народного правительства Венгрии правительство нашей страны дало согласие на ввод советских военных частей, чтобы помочь венгерской народной армии...

— Какого «народного правительства?» — шепнула, вскинувшись, черноголовая первокурсница впереди, а в зале плеснулся сдержанный гул.

— Профессор! — слетел с хор звонкий девичий голос. — Можно просить вас — поуглубленнее. Официальная информация хорошо нам известна.

— Верно, известна! Все знают...

— Зачем повторяться!

— Ти-ше!...

— Как понимать ваши слова о венгерской народной армии? Она, значит, против мятежников? — перекрывая говор и шиканье, спросил другой голос, мужской, тоже откуда-то сверху.

— Вопросы, товарищи, в письменной форме! — поглядел на хоры Тесемкин, и скатерть под его ладонями собралась в складки. — Я скоро кончу...

«Да, уж, разумеется, в письменной форме... Сейчас накидывают!» Как ветром поддутьте, полетели к столу президиума, кувыркаясь через спины и головы, белые хлопья записок. Бычко, раправляя, клал их около графина. Гул стоял теперь в зале негромкий и ровный, как зыбь, равнодушный, казалось, к падавшим в него словам...

Ход событий в Венгрии привел к полному поражению реакции. В Будапеште установлен порядок. Его нарушают только отдельные банды уголовных преступников, выпущенных контрреволюционерами из тюрем...

«Ведь какая школа!.. Ползалы знает, что бои продолжаются, а ему ни почем, врет и не кашляет! Вот и эти, впереди, знают, шерочка с машерочкой, и этот, рядом со мной...» — думал Валерий, читая на лицах вокруг то самое выражение неловкости и досады, которое, должно быть, было у него самого. Ему казалось, что даже генерал, сидевший рядом с Тесемкиным в президиуме, побагровев и напружившись, красен так потому, что ему совестно. Вытянув шею поверх движавшихся голов, Валерий нашел Киру — султан торчал на самой макушке: она тоже писала записку — Клим, наклонившись, заглядывал через ее плечо. Их, записок, с завивающимися краями, лежала теперь на скатерти целая горка — Бычко все подкладывал, прижимая ее тяжелой стеклянной пепельницей. «Кажется, он закругляет, переходит в контр-атаку... Ага! «Неустойчивые элементы, поддающиеся провокационным вражеским слухам»... «Элементы» это, конечно, мы... А щеки у него серые, и вообще не хотел бы я быть на его месте перед этой горой записок. Ладно, посмотрим»...

— «В коммунистической партии Венгрии было 900 тысяч членов. Объясните их позицию в отношении путча,» — прочел Тесемкин первый вопрос и, опустив руку с запиской, провел по губам языком. — Товарищи! В ряды Венгерской социалистической партии просочилось немало людей непроверенных, слабо подкованных политически...

— Тоже «уголовников?» — спросил кто-то над самой головой Валерия, с хор. — Негромко и словно про себя, но услышали

многие. В зал сверху прыгнул смешок, побежал по рядам, на встречу шопоту («Что? что он сказал?») и возгласам: «Не мешайте профессору говорить»... Нахмурясь, Тесемкин бегло просмотрел две-три верхние записки, сунул их снова в горку и взял сверху следующую... Но тут уже заговорили и закричали сразу в разных концах:

— Не выбирайте вопросов!
— По порядку, пожалуйста...
— Без пропусков... Про-о-сим...
— Многие вопросы идентичны, товарищи! — поднял руку Тесемкин. — Или затрагивают частные мелкие факты. Отвечать на них у нас просто нет времени... Вот, например, вопрос о позиции венгерского писателя Ацеля...

— Сталинского лауреата! — крикнули с задней скамьи.
— Да, лауреата... Но у меня нет о нем позднейших данных, товарищи...
— Ответьте вообще о писателях!
— О венгерской интеллигенции!
— О студентах!
— Про-осим...

«Ну-ну, разошлись»... — подумал Валерий, глядя почему-то, главным образом, на Бычко, застывшего у стола президиума с очередной запиской в руках и раскрытым большим ртом, — вряд ли эта аудитория, с тех пор как получила почетное имя «Ленинской», когда-нибудь так гудела и шаркала. Он заметил вдруг, что и сам тоже возит подошвами по полу, стараясь производить больше шума... «Теперь у Сергей Сергеича один только выход: бить челом генералу, чтобы ответил на пару вопросов попроще. Ага, так он и делает!»...

— Мою записку — я видела — он под самый под низ положил! — кипела по лестнице Кира с пунцовыми щеками и распушившимися вокруг лба вихорцами. — Почему?? И эта резолюция, которую мы приняли!.. Что ты хмуришься, Клим, никто же не слышит сейчас, такой гвалт...

В буфете, однако, по слухам собрания стояла крутая толчея, и все было мигом выпито и съедено. Очередь, в которую стал было Клим, рассыпалась, прежде чем он добрался до стойки.

— Домой как-то сейчас неохота. У меня редколлегия, но не пойду тоже... Не терплю между прочим нашего редактора:

«умные» очки и говорит все цитатами. Это он, кстати, придумал нам прозвище «Кирики».

— Из ревности?

— Нет, он давно перевлюбился: я как-то ему заметила, что если все будет цитировать — не скажет в жизни никогда ничего оригинального, — с тех пор... Так что ж будем делать?

— А поедем ко мне на дачу! — предложил Клим. — Всего полчаса на электричке. Пейзаж живописный: снег лежит. В метро напьешься, а у меня закусим. Идет?

Она подумала немного, наморщив переносицу.

— Ищете мне пятнадцать копеек на автомат. Позвонить маме...

За городом действительно белел первый непрочный снежок, желто таял на дорожках, мешаясь с глиной, а под придорожные елки еще не успел подобраться, и они стояли в сине-зеленых травянистых кружках, как на подставках.

— О чём же был твой вопрос? — спросил Кирилл Валерий.

— Об этом правительстве, которое попросило у нас поддержки. Откуда взялось и какие у него сторонники.

— В Венгрии, я слышал, шутят, что кто найдет в народе хотя бы одного сторонника Кадара, тому выдадут премию, — сказал Клим.

— Где это ты «слышал»?

— В «Голосах». Сегодня передавали о венгерских событиях. Между прочим часа через три повторят. Если хотите, можно будет послушать.

— Спрашиваешь!.. Нам папа прислал приемник, тоже немецкий, но что-то в дороге испортилось, и молчит... Ах, это собрание! Ну к чему такая информация, ведь бессмысленно?

— Резолюция принята единогласно. Значит, не бессмысленно.

— Я руки не подняла, спроси Клима.

— Ну, ты, ты... Много ли таких!

— Будет много, я знаю... Между прочим, недавно нашла в «Литературке» стихи, тебе не попались, Клим? — автор ищет в сугробах подснежник, понимаешь — в сугробах, потому что верит в неотвратимость весны. Я конец даже запомнила, вот... Она подкинула вверх подбородок, прочла:

И так я верю в это чудо,
Так я хочу его найти,
Что каждый день, наверно, буду
В сугроб сворачивать с пути.

Я верю! Хоть нельзя проверить,
Найти и к сердцу приложить...
Мне просто нужно в это верить,
Чтоб ждать, мечтать и честно жить...

— Верно, хорошо? Клим, твоя ведь дача у леса. Есть у тебя мелкокалиберная? Мы сходим поохотиться...

— Это, собственно, заповедник. Но — можете. Здешний лесник — мой приятель, а главное — все равно ничего не убьете...

• • • • •

Убили белку («Варварство, конечно, но мы закажем чучело, мальчики!»), и она, в слипшихся капельках крови и талого снега на шкурке, свешивается с подоконника, похожая, если не замечать хвоста, на крысу. Кроме нее, в дачной комнате Клима все очень уютно: постреливающая искорками печка-времянка (Клим растопил ее шишками), желтый кружок на письменном столе от лампочки вполнакала, остальное — в полупотемках: книги, приемник в углу, диван, на котором можно с ногами, и за теплой створчатой занавеской кусок сине-черного холодного стекла в лес.

— Всегда у тебя так тихо, Клим?

— Зимой. В остальные сезоны — лягушки рядом, в пруду. Только недавно заглохли. Ты чего скис, Валерий? Хочешь коньяку? Как раз есть по рюмке.

Валерий не скис, — он весь, как под парным душем, в неожиданом уюте дивана, полумрака и Киры рядом. Он чувствует рукой ее поджатое колено, ее тепло, ему хочется придвигнуться к этому теплу как можно ближе, теснее, тоскливо оттого, что этого сделать нельзя, и стыдно перед Клином за это чувство... «Ладно, пусть лучше считает, что скис», — думает он, и зевает:

— Коньяку так коньяку.

— Выпейте, милые, за встречу в Берлине. Или за мою контрольную по французскому. Ох, через две уже недели!

— Что вы читаете?

— «Человек, который смеется». Адаптированное, правда, издание, но...

— Ладно, за Берлин и за «Человека, который смеется». Подняли!

Из печки выпрыгивают красные искорки; пахнет горелой хвоей.

— Так как же, — смотрит Клим на часы. — Слушаем «Голоса»? У меня видите, какой заграничный комод. Брат привез...

Огромный «Сименс» с двумя откидными створками, похожий немножко на ленинский мавзолей, потрескивает и ухает. Зеленый глазок взмогивает судорожно, потом застывает, распяляясь. Тягучее «гау-гау-гау»... втекает вдруг в комнату, пухнет в ныущий гул — словно огромный танк-амфибия где-то там, в беспредельности, плывет по эфирным волнам, плюща их гусеницами. Гау-гау-гау...

— Ну, это голос — отечественный! — говорит Валерий.

— Отстроимся... — Обычно это циклами, потом отходит. Они сейчас должны повторить «Хронику будапештских событий»...

Гау-гау-гау...

Рев будто сворачивает в сторону, и, высвободившись, выплывают слова — русские слова из нерусского далека. Вздрагивает зеленый глазок, вздрагивают все трое.

«...Ночь с третьего на четвертое ноября, — говорит женский вибрирующий голос, — Будапешт в железном кольце... Революционные силы готовятся отстоять свою свободу... Гау-гау-гау...

— Эх, глушат! За одно только это глушение я бы...

— Молч-ч-и, Валик!

«Воскресенье, четвертое ноября... В шесть часов утра улицы города заняли советские танки. Революционные силы — армия, милиция, отряды молодежи отказались сложить оружие... Идут бои на приступах к зданию парламента, где заседает правительство Венгрии... Советские танки... гау-гау-гау...

— Клим, миленкий, ради Бога... неужели нельзя как-нибудь...

«Воззвание Имре Надя, в котором он умоляет советских солдат и офицеров не стрелять в народ, остается без ответа. На улицах Будапешта льется кровь венгерских патриотов... гау-гау... Радио «Петефи» передает обращение венгерских писателей ко всему миру о помощи... Гау-гау-гау...

Рев ожесточается, слова глухнут. Не оборачиваясь, Клим говорит скрограммой, и пальцы его на рубчатом регуляторе вздрагивают:

— Тут у них... один эпизод драматический... Несколько отчаянных голов остаются в осажденном здании... Понимаете? Радируют до последнего... Вот...

Выплывшие слова — уже венгерские — звучат глухо, прерывисто, в странном эхо и рокоте. Торопливый, срывающийся голос переводит по-русски:

«Советские танки подошли к самому зданию... Нашим юношам и девушкам на баррикадах нечем отстреливаться, у них почти нет оружия... Мы не знаем, сколько продержимся, но мы решили держаться до конца... Гау-гау-гау... гау-гау-гау... Всем, кто слышит нас... гау-гау... Советские танки открывают огонь... Всем, кто слышит нас, всем друзьям... Спасайте Венгрию!...»

— Документальная запись... — бросает Клим сквозь зубы.
— Слышите: выстрелы...

— Наши? — спрашивает Кира свистящим шепотом, со сплетенными втиснутыми в круглое колено пальцами кренясь на встречу зеленому глазку. — Клим! Мальчики! Неужели, неужели — наши!

«Советские самолеты бьют из бортовых орудий... Мы слышим крики и стоны раненых... Наше здание горит... Братья, мы боремся за свободу Венгрии, мы боремся за свою свободу»...

Глухие залпы. Сквозь них — выкрики. Валерий чувствует вдруг ему трудно дышать. Тепла вокруг уже нет, по спине зябкие струйки. Кирина щека рядом совсем белая, мраморная.

«Ко всем, кто нас слышит... Спасите Венгрию! Помогите нам!... Помогите»...

Гау-гау-гау...

Слова тонут, раздавленные глушением. Минута, другая... Нет, не возвращаются. Танк взял верх. Слышно только, как прощирдается он в эфире, воя и грохоча по небесным обочинам. Сквозь его завыванье, у уха Валерия — судорожно-сдавленный всхлип. От него в комнате словно вдруг становится холодно. Кира плачет. Все так же, не мигая, глядят на вздрогивающий зеленый глазок, а по щеке влажная дорожка, на нижних ресницах — крупная, с чечевицу, слеза, не успевшая скапнуть. Клим с серым лицом, стараясь глядеть в сторону, поднимается с колен, прикручивает регулятор. Теперь тихо, и снова слышно, как трещат в печке шишки.

Кира порывисто тянется за платком в сумке, переводит дыхание, спрашивает, попрежнему шепотом:

— Мальчики... Это можно забыть? А? Можно, если хоть раз услышал? — И, вытерев щеки:

— Это все, Клим?

— Должен, помнится, быть еще комментарий. На ту же тему. Но — стоит ли?

— Нет, включи обязательство. Есть у тебя бумага? Я, может быть, застенографирую. И этот твой карандаш четырехцветный. Спасибо... Вот, кажется, начинается...

В приемнике опять женский голос. Отчетливо:

«Четвертого ноября танки и пушки советской армии задушили национальную свободу и независимость Венгрии, добытую кровью народа»...

— Для чего ты это записала? — спрашивает Клим, когда они уж собираются на поезд. — Дай-ка сюда, я порву.

— Нет, оставь. Ты думаешь, кто-нибудь, кроме меня, может расшифровать такие каракули? Вообще-то говоря, надо бы даже и распространить. Назло нашему сегодняшнему собранию. Вывесить, например, на доске...

— Слабо! — говорит Валерий.

— Ты что ее подна... подзадариваешь? — поворачивается к нему Клим, и впервые со времени их дружбы Валерий в его серых сузившихся глазах видит неприязнь, почти ненависть. Впрочем, это тотчас же исчезает. Может быть, только показалось...

— Я же шучу! — пожимает Валерий плечами.

— А я — нет! — встряхивает Кира рыжим султаном и, обернув вокруг четырехцветного карандаша исписанную бумажку, кладет ее в сумочку.

— Проклятый карандаш! — сказал Валерий, когда мы добрались до этого места в его рассказе. — Заграницная выдумка, с четырьмя графитами — черный-синий-красный-зеленый, но в общем — жестянка, пружинки постоянно слабеют. Подумать только, что из-за такой петрушки чуть все не засыпались. Да... Вы верите в случай, «Его Величество случай», управляющий судьбами? Я лично думаю, что верить в случай нельзя, можно только признавать, иногда — предвидеть... Кстати, не тронуться ли нам? Било уже, кажется, два. Не знаю, как поспею рассказать, что хотел, еще три — нет, даже четыре эпизода, а мне только час остался... Я буду коротко, отрывками, самое нужное...

Он и рассказывал эти свои эпизоды «отрывками», покуда шли на вокзал; последние два уже в вагоне — пришлось проводить его до пристани, чтобы дослушать до конца. Так же мозаически, вперемежку с его отступлениями и нашими разговорами, записываю его повествование.

— Когда мы снова с ней встретились, с Кирой? — На другой же день после дачи, в институте, утром. Было «окно», какая-то лекция выпала, и я пошел в читалку. Там она и сидела, Кира, за пустым столом, над французскими словарями и переводами. Я, помнится, взял «Известия» просмотреть — так, у стойки, но она показала глазами, чтобы сел рядом. Сейчас же заметил, что какая-то беспокойная, словно вся на шарнирах, и то и дело глядит на часы, на свои и над дверью, знаете — как на экзаменах, когда вот-вот позовут. Но, разумеется, и в голову мне не пришло, в чем тут дело...

— Довольно тебе шести минут на газету? — спросила Кира шепотом. — А потом выйдем вместе, пожалуйста...

— Он кивнул и, вытянув средний лист, стал читать правительенную декларацию об уменьшении международной напряженности. Одного взгляда сбоку хватило ему убедиться, что Кира и не смотрит в тексты перед собой, ни в записи, а куда-то «в себя», покусывая нижнюю пухлую губу. «Что бы это с ней?» — подумал Валерий, отложил серединку и развернул двойной лист, держа навесу перед глазами. Кира, скрипнув стулом, подвинулась ближе (потом он понял, что этак газета загораживает ее от других), раскрыла общую тетрадь в клеенчатой обложке, повернула поперек — там лежал вкладыш в пол-листика, исписанный тесно на пишущей машинке, с каким-то заголовком, отчеркнутым малинового цвета карандашом. Приподняв обложку, чтобы вкладыша не было видно со стороны, она стала читать, не наклоняя лица, только краешком глаз под приспущенными веками пробегая по строчкам. Потом потянулась было за карандашом, взяла и снова положила, почти бросила, и он покатился, журча гранями, по столу в сторону Валерия. Это был тот самый четырехцветный карандаш, который дал ей давеча Клим, когда слушали радио. Смешной и ничтожный тронул вдруг Валерия микроб ревности — и он протянул руку. «Да, возьми, отдашь Климу», — шепнула Кира, и он сунул карандаш в боковой карман, зацепив за металлический язычок. Они посидели еще с

минуту. Потом Кира закрыла kleenчатую тетрадку с вкладышем; повыпрямившись, вздохнула порывисто, поправляя обеими руками на затылке султан, и поднялась. Тетрадку взяла подмыши-
ку...

— Что с тобой нынче? Стряслось что-нибудь? — спросил Валерий, когда они вышли.

— Нет, ничего... Потом! — качнула она головой и заторопилась к лестнице. Что он должен идти за ней, разумелось, видимо, само собой...

Они спустились, шагая через ступеньку, этажом ниже, в такой же коридор, устроенный полукругом, хорами, с белыми перильцами в сторону вестибюля и вереницей дверей в кабинеты и аудитории. Коридор был пуст: везде шли занятия. Было очень тихо; снизу из-за перил, с каменного паркета слышалось робкое хрустящее шарканье нескольких ног у стэндов, каких-нибудь случайных, вероятно, посетителей; совсем издалека звякали в буфете посудой.

У коридорного сгиба Кира остановилась, больно сжала пальцами его локоть и огляделась по сторонам.

— Ты что?

— Теперь постой здесь... — шепнула она побелевшими вдруг губами. — Если кто покажется — шикни... Понятно?

— Да что у тебя... — начал он растерянно.

— Потом, потом, потом... всё — потом! стой, я сейчас...

В тупике коридора, шагах в десяти от них, висела большая доска объявлений. Только теперь, следя, как Кира на цыпочках, чтобы не стучать о паркет каблуками, подходит к ней, — понял Валерий, что она затеяла. Вчерашнее радио у Клима, стенограмма, она же — вкладыш в kleenчатой тетрадке, и эта доска, на которой еще оставались с осени пожелтевшие списки принятых в институт, с гербовой лиловой печатью в нижнем закоробившемся углу, — все стало на место. Сумасшествие! Догнать? вырвать листок? — поздно, она уже у доски... Все ведь идет на секунды... Похолодев вдруг при мысли, что мог уже прозевать, Валерий повернулся, как она приказала, лицом к длинной дуге коридора. Слава Создателю, никого! Все по-прежнему пусто, ни одна дверь не открывается... А шорох за спиной, такой страшно неслышный, длится, кажется, вечно! Вот, наконец, шаги...

— Теперь исчезни, Валик! — сказала Кира, неровно дыша, и провела рукой по его волосам. — Сейчас будет звонок...

— Так вот и вывесила свою венгерскую сводку! — продолжал Валерий. — Как мог я раньше не догадаться — в толк ке нызму! Позабыл, что она накануне сказала .. то есть, значит, забрала себе в голову...

— Что ж, вышел переполох?

— Еще бы!.. Правда, больше слухи и разговоры, потому что начальство, по всей видимости, не хотело делать рекламу. Но сразу было решено провести на неделе курсовое комсомольское бюро с активом. В тот же вечер, после заседания НСО, научного нашего общества, меня вызвали к Бычко. Я о нем уже говорил — наш секретарь, парень в общем добрый, но загнанный — то у него комитет, то партбюро, то конференция в районе... Загнанный и очень послушный: когда глядит на Тесемкина, раскрывает от преданности рот. Многие у нас, между прочим, звали его «Суд Бориса», потому что как-то на вечеринке, где было трое хорошеных девчат, он поднес одной яблоко и сказал, что это «Борисов суд», вместо «парисов»... Так вот отправился я к нему, и тут произошел со мной второй ляпсус за один и тот же день. Да, почти катастрофа...

«Суд Бориса» сидел в факультетском бюро, под лампой на стрекозиной ножке, за столом, засыпанном бумажными четвертшками, которые он с устало-сосредоточенным лицом засыпал в пухлую папку-скорошиватель. В других углах комнаты вязли потемки, в окна ветер швырял ледяную крупу.

— Жду, жду! Присаживайся... — показал Бычко на стул и, отложив папку, принахнул, очень похоже на Тесемкина, голову собираясь начать объяснение. — Вот какое дело...

Дело заключалось в том, что, по мнению Бычко, Валерию следовало на расширенном бюро обязательно выступить. «Сергей Сергеич тоже так думает, сам назвал тебя... Тема — о нездоровых настроениях на курсе... Поглубже развить и заклеймить беспощадно, особенно отдельные вылазки наших доморощенных нигилистов — ты понимаешь, о чем я говорю. Надо, наконец, провентилировать как следует воздух...» На этом «проводнилировать», то есть на общей цели бюро, Бычко задержался подробнее. «И чего тянет, упражняет на мне красноречие!... — думал с досадой Валерий. — «А отказаться нельзя, придется отвечать «да», а там, может, как-нибудь заболею...» — Минут на пятнадцать, на двадцать, не меньше, — заключил, наконец, Бычко.

— Это ведь уж целый доклад, если на двадцать. Нет, уволь, если можно. Будут же другие крупные выступления, сам, верно, будешь говорить... В прениях, понятно, я выступлю...

Против обыкновения, Бычко не настаивал. — Позвони Сергей Сергеичу, — сказал он, подумав. — Он сейчас нездоров, дома, и повестку все-равно сам хотел просмотреть. Знаешь телефон? Запиши...

— Минуту!.. — сказал Валерий, шаря карандаш.

— Вон он у тебя! — кивнул Бычко на его пиджачный карманчик, и Валерий вытащил оттуда карандаш Клима, который так и позабыл с утра возвратить хозяину. Номер телефона был весь в восьмерках, и уже на второй из этих малиновых восьмерок (такой попался графит) Валерий почувствовал взгляд Бычко, испуганно-любопытно зацепившийся вдруг за карандашный кончик, и понял, что случилось нечто непоправимое. — Точно такого же цвета малиновой чертой, вспомнил он, холода, был отчеркнут заголовок на листке, который вывесила на доску Кира. Бычко, разумеется, видел этот листок, не мог не видеть... Ясно, чем он сейчас так заинтересовался...» — Ветер швырнулся в стекло горсть ледышек, и они со стуком отлетали на жесть подоконника, как показалось Валерию, целую вечность. «Главное — выдержка, не выдать себя ничем, покуда он соображает... Надо уже поднимать голову... Смогу?»

Он смог: захлопнув блокнот, откинулся небрежно на спинку стула. Откинулся на своем и Бычко, смыкая приотрывшийся было рот. — Растерянность на его лице придала Валерию бодрости.

— Все? — спросил он, поднимая брови. — Могу быть свободным?

— Договорились! Это... твой карандаш?

— Да, забавный... в четыре цвета! — повертел Валерий карандаш в пальцах. — Но выделка дрянь, даже марки фабричной нет... Ну, пока!..

Нестерпимо долгими казались эти четыре шага до двери. Как хорошо, что у Бычко такие замедленные реакции!

— Так я сегодня же позвоню Сергей Сергеичу! — крикнул Валерий уже из коридора и, притворив за собою дверь, вытер вспотевший мелкими бисеринками лоб.

— Вот какой криминальный случай! — развел Валерий руками. — И дальше все, как говорится, пошло под откос. То есть

собственно разоблачения мы не боялись — в тот же вечер собрались втроем (Клим нас час битый отчитывал, никогда его раньше таким злым не видал!) и установили, что не так страшно: в этом окаянном карандаше сменили графитики — так что улик не было. Но, понимаете, наведена тень...

— Бычко рассказал кому-нибудь?

— Тесемкину, думаю. Ничего не приврал, он парень честный, но поделился. Сужу по тому, что уж через три дня папаша устроил мне интервью... Я вам говорил, что он у меня заместитель министра, старый член партии. Ночью был разговор, он поздно вернулся. Позвал в кабинет и потребовал выложить все мои «ереси», как он выразился. Ну я изложил целый ряд пунктов, всего не перечислишь. Самые главные были, помню, насчет «руководства» и личности, как ее у нас туркают... Тоже про «производящих» — из впечатлений нашей автоворызки и, разумеется, насчет Венгрии. Долго говорил, с час, он трубок пять, я думаю, выкурил, пока слушал. Потом сделал свое резюме... без права на апелляцию, как у нас водится. Со стороны все напоминало известную картину, знаете — «Петр первый и царевич Алексей». Мне пришло это сходство в голову, когда его слушал...

... «Колектив, — говорил зам-министра, осторожно, чтобы не обжечь палец, приминая в трубке вспухшую пепельную горку, — не давит личности, как ты полагаешь, а воспитывает; равно как и партия не подавляет коллектива, а ведет, и во всем этом сила и коллектива, и личности...»

— Сильные личности на поводу не идут, они возглавляют, а прочие слушаются.

— Но сперва эти сильные личности учатся слушаться сами. Отметь на свой счет.

— Я же не о себе...

— А я как раз — о тебе. И я тебя не перебивал... Ересь очередная: о якобы отрыве от народа. Ты что, аристократом себя чувствуешь? Мой отец в молодости валенки подшивал, а брат, ты знаешь, слесарь-ремонтник. Кстати: я хочу, чтобы ты съездил к нему теперь недельки на две, но об этом после... Так вот: думаешь ты, что он и ему подобные видят в нас чужаков, как, скажем, в свое время крестьяне видели чужаков в помещиках, хотя бы и самых разлиберальных? Думаешь, они не доверяют нам, руководящим, потому что у нас «Победы», а у них пока нету? Ошибаешься! Кровь у нас с ними одна, рабочая, не голубая. В минувшую войну они шли с нами одною грудью, и это было

чувство класса и голос крови. Пойдут за нами и в будущем, если случится, не сомневайся...

... Ересь насчет венгерского мятежа, — продолжал он, отложив трубку, и длинные вертикальные, словно матерчатые, складки по бокам рта стали резче, делая лицо чужим. — «Наши танки... кровь»... Ты что, толстовец? Почитай историю. Когда, какой имперский союз, тем более союз мировой динамики, утверждался бескровно? Пусть эти самые «Голоса», которые ты слушаешь, расскажут тебе, как утверждали себя их хозяева. «Льем кровь»... А нашу кровь венгерские реакционеры жалеют? Ты говоришь, понятие «реакционер» у нас условное. Неправда, безусловное! В драке нет лишних критериев: кулак или за тебя или на тебя. Тот, который на тебя — неправый, если веришь в свое дело. А мы верим... «Революция», «контрреволюция» — все это, по существу, второстепенно, первостепенно одно: брешь в стене собственного дома, через которую полетят в тебя после гранаты, могут допустить только глупцы или слюнтяи. Побеждают же самые умные и — неоглядывающиеся. История будет судить нас не за как, а за что удалось нам построить. И мы не позволим желторотым, вроде тебя, обшикливать нас из-за угла и сеять панику... Не позволим! — Он стукнул ребром ладони по столу, и из лежавшей на боку трубы вывалилось несколько дымящихся крошек. — На этом вашем активе выступишь и скажешь все, что нужно. А вообще, если на практике не изживешь ересей, — замминистра помолчал, смахивая ладонью крошки в пепельницу, — поедешь на целину, вместо заграницы!

— Ну и как же, выступили вы на бюро? — спросил я.

— Ничего же не оставалось. Выступил, сказал с места, что, мол, в основе всего лежит вопрос о доверии к нашей партии, которой мы, разумеется, доверяем, ну и так далее, вы знаете... Несколько фраз всего — и завял, чувствуя: дальше развить не могу, и даже сделалось жарко... Спасибо, Бычко выручил, подхватил тезис, догадался, может быть, что иначе я завалю... Потом долго подытоживал все Сергей Сергеич — о природе «нигилизма», как это у нас теперь называется. Впрочем, я, помнится, был тогда на этом собрании весь в другом, вполне, признаюсь, личном, не знаю, стоит ли даже об этом...

Он отвернулся к окну. Поезд наш уже вбегал в стремительную путаницу путей, стрелок и электромачт конечной станции. Членились и снова бросались друг к другу ленты рельс, словно даже щелкливая сразбега на стыках. Море вдали, дымчато-серое, сливавшееся с серым же берегом, не столько виднелось,

сколько угадывалось по сизым контурам подъемных кранов и мачт.

— Нет, доскажу, — начал снова Валерий. — Нужна же развязка, а это как раз и было тогда, после собрания...

... «Эти искатели личной жизни, позорящие наше советское студенчество, — говорил Тесемкин, как всегда, упираясь ладонями в стол, — рассчитывают на успех своих нигилистических теориек. Не выйдет!» ...

«В самом деле он в ударе или «наигрывает»? — думал Валерий, все еще с неприятной, вязкой неловкостью в теле после своего скомканного выступления. «Или просто подготовился хорошенко за болезнь, недаром отложили из-за него бюро почти на неделю» ...

Всю эту неделю Валерий не виделся с Кирой. По телефону последний раз она отговорилась какой-то работой из латинского, которую, он знал, она делала с Клином. На бюро опоздала, пришла как раз перед выступлением Валерия и села сзади, у двери — он раза два оборачивался, но она не смотрела в его сторону, ему показалось — намеренно. Клима почему-то на активе не было. «Почему?» — думал Валерий, тоскливо ожидая конца Тесемкинского заключения, чтобы поговорить с Кирой.

«Стиляги с галстуком-бабочкой, — говорил Тесемкин, — и стиляги «критикующие» — явление, по существу, одного порядка. Первые находят оправдание наплевательскому отношению к нашему коллективу — в шашлыках, которые так здорово готовят в «Арагве», или — в нечистых встречах на углу улицы Горького и Охотного. Вторые ищут лазеек в идеологии. Ухватятся за критику культа личности — и пытаются подорвать весь наш советский порядок... Корни нигилизма у этих «слонов-отшельников» нашей молодежи, — рубил Тесемкин, и в голосе его появились угрожающие, рокочущие тембры, — обычно в уродливом воспитании, рождающем иждивенческие настроения. Начинается с «Лешенька. Лешенька, сделай одолжение, выучи, Лешенька, хоть первое спряжение» — как у Барто, а кончается — распущенностью, анархией и хулиганскими выходками в стенах института... Демагогическое «свободолюбие» нас не обманет, товарищи! Мы говорим прямо: мы поддерживаем в критике, в творчестве и общественной жизни лишь такую свободу, которая не противо-

речит принципам партийной идеологии. Замахиваться на эти принципы и сеять анархию — нет, этого мы им не позволим!» ...

«Не позволим!» — прервал в этом месте рассказ Валерий. — Сколько раз, на каждом почти шагу, слыхал я у нас в последнее время это «не позволим!». Вот если хотите критику — а вы наверное хотите! — то здесь — пожалуста! Здесь у нас, я бы сказал, совершенно уже откровенный, программный антигуманизм! Англичанин Рассел, я прочел уже тут, заграницей, определяет свободу, как право для всех быть «иного мнения». У нас это право, вы знаете, только за партией, а от личности, от человека отбирается начисто. Человек — гвоздь, — помните об этом у Тихонова? И значит ложись покорно под молот, и пусть тебя расплющит. Вот еще проповедь самопожертвования! Тут многие протестуют... Ведь это отвратительнее, чем самосожжение у раскольников? Там пусть изуверская, но была идея. А за что, спрашивается, должен самосожигаться я? Во имя чего?... В общем, надо признаться, мутит тебя иногда от этого... Но ладно, будем закругляться!

Когда буфет кончился и все стали выходить в коридор, Валерий заспешил, чтобы захватить Киру в раздевалке, но она стояла тут же, за дверью, что-то перебирая, наклоняясь, в открытом навесу портфельчике. «Я сейчас — в библиотеку за книжкой», — сказала она скороговоркой. — «Встретимся у автобусной — знаешь, не нашей, а дальше, около киоска, подожди меня там...»

На улице был снег, с ветром, косой и мокрый. Покуда Валерий прошел три квартала до безлюдной остановки «по требованию», снег залепил ему всю спину и шею, противно стаивая за ворот. Отряхнувшись, он стал за газетный киоск спиной к словно бы теплой фанере, бездумно глядя на поземку вдоль улицы, укладывающуюся у тротуаров волнистые снежные дюнки. Как раз показался и автобус с заштрихованным снежными хлопьями фасом. Валерий помахал рукой вожатому, едва видному в расчищенное дворником полукружье, и автобус проехал, не останавливаясь. До следующего — десять минут... Он постоял еще минут пять, начиная уж зябнуть, потом вышел на тротуар и, щуря от ветра глаза, увидел подходившую Киру. Ветер раскосматил ее, повыдув наперед рыжие прядки; отяжелев, они, все в снежинках и бисерных капельках, липли на лоб и щеки, и лицо от этого казалось чужим и холодным. А может быть — оттого, что не улыбнулась навстречу.

— Ты знаешь, что Климу отказали насчет заграницы? — спросила она, став к нему в профиль и смахивая варежкой снег с воротника и волос.

— Как «отказали»? Кто сказал? Ведь уже решено...

— Перерешили... Вчера узнал в министерстве.

— Но почему?

— Была предистория. Его вызывал к себе на дом Тесемкин. Форменный устроил допрос... Все насчет той моей... ну ты понимаешь. Обиняками, но допрос. Спрашивал, между прочим, и обо этом несчастном карандаше. Его, оказывается, у всех нас троих заприметили... В общем, конечно, ерунда, не улика, но Клим сказал, что карандаш — его.

— Зачем?

Она пожала плечами, взглянув на него чуть удивленно. — Хуже всего, что Клим взбесился и наговорил лишнего — всяких критических там суждений, «вредных» и «ошибочных»...

— Как это он мог!

— Ну, ты же знаешь Клима! — качнула Кира султаном, и в этом движении и в голосе, как она это сказала, он уловил что-то похожее на гордость. — Такой уж всегда, если заденут и вызовут на прямоту...

— Где он сейчас? Надо бы встретиться...

— Был у себя на даче. Может быть, вечером... впрочем, не знаю... Какая мерзость эта погода!

Поеживаясь, она нетерпеливо, как казалось ему, смотрела в мутно-белую перспективу улицы, оттуда должен был прийти автобус, вот-вот уж должен был прийти. Пережидать здесь другого, на этом снежном ветру, было немыслимо, поехать с ней — тоже, она очевидно не хотела, чтобы их видели вместе, а на следующей остановке обязательно влезут наши... То, что случилось с Клиром, было трагично, но все же Валерию мучительно хотелось повернуть разговор на их личное, и он не знал, как. Кира повернула сама.

— Ну а у тебя что, по-прежнему? — спросила она, все так же выжидательно глядя в глубь улицы.

— Да, все по-старому. Еду послезавтра в Куйбышев, к дядьке, недели на две. Отец посыпает, — сказал он и сделал паузу, ожидая, что она удивится, спросит, зачем? — в конце концов можно бы и настоять на своем, не поехать... Но она молчала. — Да, а после, когда вернусь, скоро, значит, и заграницу... Ты ведь тоже хотела приехать к лету в Берлин... Поедешь, как думаешь? —

спросил он и сам удивился как бы робости, с которой вопрос прозвучал.

— Вот идет, кажется... Поеду ли я к папе? Кто знает теперь, как сложатся обстоятельства... Да, идет, слава Богу, а то я замерзла совсем. — Она снова стала отряхивать воротник варежкой. Больше всего Валерия мучило, что у нее, очевидно, не было для него сейчас слов. Да и автобус шел уже близко, весь в снегу спереди, как в набрюшнике.

— Как бы нам встретиться вечерком, поговорить?

— Вот не знаю. Ты ведь уже — послезавтра?.. Завтра мама тянет к родственникам, в гости. Обещала ей...

«А сегодня»? — едва удержанял он вопрос, самолюбиво сжав губы. Спрашивать впрочем было некогда — автобус уже подходил, и оба подняли руки.

— Сегодня я занята, — сказала Кира и вспыхнула — не от смущенья, он знал, а от досады на себя, что не могла сказать прямо, кого сегодня ждала.

Автобус стал, дрожа лакированным запорошенным боком, тоже как будто от холода; с запотевших изнутри окон слезливо стекали капли. Отползла, словно нехотя, пневматическая дверка.

— Встретимся еще в институте... — сказала Кира, уже с подножки. — Или позвонишь, когда твой поезд, приду проводить... Клим, может, тоже... Пока!

Мелькнул рыжий султан, и дверка тут же заслонила его со вздохом.

Валерий пошел вслед автобусу, навстречу ветру, пригнув голову, чтобы не дуло в шею, и отыскивая какие-нибудь «нейтральные» мысли, чтобы не думать пока о главном. Снежные хлопья стали теперь еще гуще, мгновенно покрыли грудь, залепляли ресницы...

...И падал снег. И много, много
Неслось снежинок мне в лицо.

— вспомнились строчки откуда-то — чьи, он не знал, забыл и остальные две и стал сейчас припомнить с напряжением. Рифма к «лицо» могло быть «крыльцо» либо «кольцо». Нет, «крыльцо» вряд ли, «кольцо» скорее. Но как же читается вся строфа?...

Высокий на колесиках трап отлип с крутого плеча парохода и откатился. Зарокотали машины. Валерий с кормы, среди взле-

тевших в воздух платочков и чаек, помахал мне шляпой. Когда пароход отчалил, я пошел параллельным с ним курсом по набережной, покуда он не заворотил к молу. Оттуда, от мола, несло пронзительным ветром, в серых створках его садилось дымное солнце; розовой свечкой на сером блестел маяк. Я навел бинокль на корму, уже опустевшую, — Валерий один стоял там у самого флага, голубого с желтым, — заметил, махнул снова шляпой несколько раз.

От вокзала до пристани было рукой подать — не разговаришься; все же я спросил о самом для себя интересном: что же случилось дальше дома, уж после того, как поехал он заграницу.

— Кире я не писал — так, как-то нескладно расстались. Но потом раз как-то съездил все-таки к полковнику, ее отцу, у меня был адрес... Совсем на нее не похож — невидный такой из себя, круглый и рыхлый. Принял не очень-то ласково — о наших институтских делах, наверно, дошло кое-что до него. «Нет, говорит, ее (Киру) сюда не возьму. Тут, понимаешь (у него поговорка такая — «понимаешь»), если будет болтаться без дела, так и разные, понимаешь, излишние впечатления... словом, лучше не надо. А девка она с фантазиями, похоже, что и дома, на учебе, чего-то там надурила...» — В общем рассказал, что у них — у Киры с Клином — неприятности в институте, у Клима особенно, чуть что не исключать его собирались, и что она очень с ним дружит... Прочел, как водится, наставление: «Какие, мол, за нас головы думают всё и решают! Гениальные головы! Тут, понимаешь, всем нам только исполнять положено да слушаться, а не партизанить, понимаешь, или будировать на идеологическом фронте...» В общем, просил я его передать привет, так ничем этот визит и кончился...

Кончая, предвижу недоумения и попреки в свой адрес: разглядел, мол, во всем, что ему рассказали, фабулу романтическую и самую незамысловатую; а где же социально-психологические глубины и проблемная сторона? Что поделаешь! Разглядывал я, как умел, с той стороны, которая понятнее и сама раскрывалась... Впрочем, когда стояли в хвосте у паспортного контроля, задал я Валерию и сакраментальный, так сказать, вопрос об отношении к Западу. Как, если ощущать вблизи, выглядит фён и вообще западный воздух? Каюсь, присоединил

небольшой пропагандный панегирик этому «воздуху», где нет «не позволим!», полицейского или другого какого надзора и окрика. Даже и из Пушкина привел:

... для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи,
По прихоти своей скитаться здесь и там...
Вот счастье! Вот права!

Реакция, против ожидания, была довольно кислая. И сам он, отвечая, даже почужел как-то, словно вытащили его из уютного какого-нибудь полумрака на свет и на люди, где надо держаться степенно, застегнутым на все пуговицы. «Вялость воли и духа» — вот что, видите ли, поразило его на Западе. Еще — равнодущие ко всему и прежде всего к вопросам, которые ему самому казались животрепещущими. «До нас им... — пожал он плечами, вытаскивая бумажник, — ни самомалейшего дела. Разве только — чтобы не помешали пищеварению. Спросят, не собираемся ли воевать и почем в Москве костюмы, — и весь интерес. «Ступай, голубушка, куда захочешь, люби, кого замыслишь...» Видите, я вам тоже из Пушкина... Нет, здесь нам рассчитывать не на кого. Идти ведь нельзя за тем, кто стоит. Какие у стоящего перспективы? Разве — музейные. Он усмехнулся вдруг довольно неблагородно, и в лице его (мне по крайней мере так показалось) появились черты, напоминающие скорее его папу-министра, чем прежнего Валерия. «Один мой дружок в Берлине, — продолжал он, — как-то фантазировал насчет здешних перспектив. Здесь, по его рассуждению, через пару десятков лет должен стать непременно музей. Этакий, понимаете, музей западноевропейской культуры и быта досоветской эры человечества. Отделения: Англия — там будут показывать могилу Карла Маркса и очередную коронацию, Франция, Париж — здесь, конечно, Фоли-Бержер, кризис министерства и курсы гастрономии; затем Италия, Капри с домиком Горького, и папа римский, Испания — там оставим бой быков... Ну и так далее. Жить будут все туристами из СССР и Америки... Виноват! — он прошел через контрольную будку и остановился против меня по другую сторону барьера, рассовывая по карманам визы и кредитки с королевскими фасами.

— А валюта будет везде наша! — добавил он, засмеявшись на этот раз уже как прежде, по-мальчишески добродушно...



A. Кашин

Александр Адриянович Кашин — родился в 1926 году в Шанхае, в «Одессе Дальнего Востока». Там же и учился. Работал в русской прессе, пережил японскую оккупацию. После войны стал советским гражданином и был сотрудником ТАСС. В 1948 году, перед приходом в Шанхай коммунистов, отказался от советского гражданства. В 1952 году выехал в Европу, где написал очерки о Китае — «За бамбуковым занавесом», несколько рассказов и повестей. Готовит к печати книгу на немецком языке: «Шанхай — город моей судьбы».

ЖЕЛТАЯ ВОЛГА

Мне бы на Волге где-нибудь силушкой своей погромыхивать, а я вот тут — в Вампу мочу свои заскорузлые от босоногости пятки. И пью мутную желтую воду, а она, как керосин — только сушит. А Волга далеко. Может, и нет ее вовсе. Так: один бред. Проснешься, полегчает, смотришь — от всех фантазий только привкус горечи во рту остался.

На воде пароходы, шаланды, катера, джонки... Голозадые ребятишки раками ползают. красными от холода клешнями баламутят жидкую желть, вытаскивают — ничего.

Паруса шхун мерзнут на ветру и о том жалобно, шелестяще шепчут. А глупое солнце, не в силах согреть, по-дурацки улыбается сверху: дескать, ничего. Переживете!

Вот впереди — видите — катер. Такой длинный, тупоносый. Там мне постель готовится. Я — тринадцатый. А может быть, тринадцатый и не я — другой кто-нибудь. Только то и известно ведь, что всего нас тринадцать.

С темнотой лезем на гладкую палубу. Каждый стремится поближе к машинам, где потеплее. Потом видим горячие сны. С рассветом босоногие матросы расталкивают ногами: убирайтесь к чортовой матери! Сейчас отчаливаем!

И бредем по сырому и холодному городу, натыкаясь на тупые и острые углы, на чужие жизни, и их не замечаем.

Не знаю, почему это постоянно в голове: Волга, Волга... Я ведь и воды-то боюсь — залезу по колено и обратно. А вот тянет же. Да и как тянет! Будто видел, будто знал, будто оставил там что-то и нужно обратно пойти забрать.

Пью чай, вечно почему-то пахнущий луком. Смотрю в раскосые глаза. Жалею себя. Или иду к художнику.

Есть у меня здесь приятель такой. Рисует что-то, чего никто понять не может, и потому покупают. Когда не рисует — пьет. Пьет без закуски, «под язык», прямо из горлышка, большими глотками. Выпив, умнеет.

Прихожу к нему и спрашиваю:

— Будет просвет?

Он скалит зубы:

— Дурак!

— Почему дурак? Может, еще получится что-нибудь. Равенство будет? ..

— Совсем дурак! — чертыхается. Сует грязный палец в окно: — Видишь, в машинах ездят. Так что же, при равенстве твоем пешком их ходить заставят? Они с голodu помрут. Потому: квартал проковыляют — три часа отыхать надо. Или ты меня в машину посадишь? Так меня отмыть сначала требуется, вшей повывести. А я, может, мыться не хочу. Что ж ты меня, силком в воду сунешь?

И презрительно тянет: «Ра-а-вен-ство!».

Сорвавшись, уже не может удержаться:

— Ты мне, пожалуй, еще свободу проповедывать будешь. Знаю я вашу свободу. Мне за нее по пятаку за мазок платят, скоро еще меньше будут платить. Закон спроса-потребления: чем больше свободы, тем дешевле она ценится.

Остается последний козырь. И хоть не хочешь об этом говорить (чувствую, что получится), бросаю его на стол:

— Ну, хорошо. А Россия? ..

Даже договорить не дает. В ехидной улыбке скалит зубы:

— Да ведь нет никакой России. Достоевский ее придумал, а ты повторяешь. Там, где Россия, — там, брат, людоеды живут. И голодные притом. Сунься только — разом косточки захрустят.

Видите, какой человек, а попробуйте к нему сунуться с «не верую» (я раз попробовал), как топором отрубит:

— Самое большое открытие двадцатого века, это то, что атеизм — тоже суеверие.

Тянется мохнатой рукой за бутылкой, бросает на меня отталкивающий взор.

— Ты не пей. Тебе это вредно будет...

Тут меня слегка подымывает:

— А тебе что: полезно что ли?

Никакого смущения.

— Я — гений. Мне можно!

На это ведь хоть кто обидится.

— Тебе, — говорю, — сказал об этом кто-нибудь?...

— Нет, никто не сказал. Я — умный. Я сам знаю. Я об этом, может, один только и знаю.

* * *

Странно жизнь городская устроена: тысячи людей, все толкаются, бегают, копошатся, как муравьи, и никому ни до кого дела нет. Иной раз любопытство меня в тиски берет: вот бежит человек. Куда он бежит? Может, он застрелиться торопится? А, может, наоборот, у него жена родила, и он насчет закуски и выпивки соображает?

А другой — едва плетется. Усы колечком завиты, шляпа бодро набекрень посажена. А, может быть, пока он тут на крыше воробьев считает, жена его с франтом напомаженным супружескую верность рушит?

Или, пока ты с любопытством и насмешкой наблюдаешь, как кто-то кому-то лапу в карман запустил, у тебя бумажник стянули.

Ну, со мной этого не бывает. У меня нет бумажника.

Иду по улице, наблюдаю незнакомые лица, думаю о законе равновесия: как это бывает — если сила тянет в какую-нибудь сторону, обязательно найдется другая, чтобы в обратную сторону потянуть. К примеру: собрался человек вешаться (кушать ему нечего), уже петлю подвязал, стул подставил... вдруг — звонок в передней. Открывает дверь (машинально, по привычке), почтальон телеграмму подает: богатый дядька в Америке умер — пожалуйте наследство получить.

И человек не повесился!

А телеграмма блёфом оказалась. Приятели в шутку послали. Они не знают и он не знает, а ведь это закон равновесия действует. Еще Ньютон заметил этот казус. Только у него все сложнее гораздо.

Иду. Думаю. Поднимаю глаза — кто-то прямо передо мной косичками помахивает, будто по лицу меня ими исхлестать хочет. Всматриваюсь хорошенъко и вдруг, будто меня кто молотком по голове ударяет, так ясно всё становится: «Она». Удивительнее всего, что я даже спорить с собой не пытаюсь: она, именно она... и всё.

Набавляю шаг, подхожу вплотную и громким шепотом говорю: «Волга!».

Она испуганно оглядывается и торопится вперед. Но я не отстаю. Иду рядом и только повторяю: «Волга — ты, Волга!».

И слышу тонкий, рвущийся голос:

«Я — Зоя, вы... вы, наверно, ошиблись...»

Как будто меня резануло этим голосом. Страшно чего-то стало, и я отстал. Только заметил, что она в коричневом платье гимназистки, а гимназия у нас здесь рядом.

Вы, вероятно, не знаете, что я вор. Я чужую страну украл. Она, бедная, ничего не подозревала, а я взял да и родился в самом сердце ее, задрыгал голыми ногами: «Вот, я здесь!».

Потому и хмурится на меня желтая река: — «Своих детей девять некуда, а тут еще подкидыша нянчи».

Три дня следил я ее издали. Шел — крался от дома к дому, от крыльца к крыльцу. Только и видел, что маленькую голову, помахивающую косами, и тем был доволен. На четвертый поглядел я на себя и ужаснулся. Я ведь — «подонки» общества, через меня приличный человек и перешагнуть не захочет. На рубашке половина рукава бахромится, второго вообще нет. О брюках и говорить нечего. На роже такая щетина, что и ежи, пожалуй, в панике разбежались бы. И босиком.

Оскоблил я себе щеки тупой бритовкой, штаны залатал, рубаху и ботинки у художника занял. Пошел ей навстречу:

— Здравствуй, Волга! Да ты не пугайся. Я тебя не обижу. Наоборот...

И дальше шли до самого дома ее, молча, не глядя друг на друга, потому что так, вблизи, я почему-то не смог глядеть прямо на нее!

И завтра было то же... И послезавтра... и...

Они — те — ни звука не могли выжать из пересохших глоток. Так и не оставили земле вавилонской ни слова, ни звука на память. Дескать, не можем в чужой земле петь. Воздух здесь для нашего пения не приспособлен. Да и река не в ту сторону течет. В общем, заупрямились и так до конца в молчанку и играли.

То они. Мы же в тоске своей неувядающей только песней русской, пьяною, и опохмелляемся.

Небо синее. Звезды чужие. Я на берегу, а по реке лодка плывет. И с лодки песня летит к звездам: слушайте, запоминайте! —

Во поле калина встала у ручья,
Парня молодого полюбила я...

Неправда, нет никакой калины, только ивы плакучие жадно в воду окунаются. А то, может, это всё сон. Проснусь — и действительно калина стоит, и река, что с детства из книжек с картинками в сердце перелезла, как плавниками, волнами пошевеливает.

Он живет, не знает ничего о том,
Что одна дивчина думает о нем...

А ведь крылья наши подрезаны, а ведь песни наши не наши — у чужого счастья украдены. Только голос не слушает, знать не хочет, несет вдаль... А дальше, пожалуй, и до самой Волги донесет:

Что одна дивчина думает о нем!

Долго уговаривал — наконец согласилась. Да и то ведь сказать, не куда нибудь — на кладбище. Пошли.

С вечера дождь шел, к утру — земля мокрая, скользкая. Трудно будет покойникам ночью из могил вылезать. Поскользят, побренчат скелетами, да, пожалуй, и пропустят эту ночь.

Сели на скамейку. Могилы горбами ленивыми из земли выпирают, деревья с макушек тоскливо, испуганно поглядывают. Не шутка это и не удовольствие — из года в год ночные вакханалии, мертвые, наблюдать.

Взял я ее за руку — теплая рука, как рыбка, трепещет. Долго молчали, только воробы вокруг чуть попискивали, да ветер, что с реки прилетел, на серость будничную плакался.

Не выдержал я, наконец. Захолонуло сердце, будто теплой водой обмылось. Посунулся я чуть вперед.

— Знаешь, говорю: люблю я тебя. Больше жизни своей люблю.

Только и услышал ответом:

— Я знаю.

А может, больше и не надо. Потому ведь не всякому и доступно это, что загадочны пути любовные и самая прямая дорога не есть самая близкая. Болезнь это, и не всякий болеть ею может.

Ведь вот, говорит человек: «Выходи за меня замуж!» — и сам не понимает, что говорит. А это означает: «Отдай мне жизнь свою на сохранение».

И, получив, не умеет сохранить в чистоте и целости и в день ответа не может сказать: «Вот она. Ночи не спал, недоедал, недопивал, но сокровище осталось нерастраченным. Потому — прими меня, Господи».

Поднял я голову и... проснулся. Художник стоит перед нами — руки в карманах, глаза чуть прищурены, покачивается на длинных ногах:

— Здравствуйте!

Тут бы сопротивляться, «спасите!» — заорать, криком целую землю разбудить, а из горла только и вырвалось:

— Да, здравствуй... Зоя это... Это друг...

Посмотрел, еще больше прищурился.

— Вы откуда?

— Я из Киева!

— И давно?

— Два года всего.

— Так мы с вами земляки, значит.

Потом закидались словами, будто мячами резиновыми.

— А там...

— А помните...

— А как направо свернешь...

Бред. Сон. Галлюцинация. Потом слышу:

— Чувствуете, какой здесь покой. Самый воздух — дыхание Божие.

И дьявол меня когтистой лапой за язык потянул:

— Я в Бога не верю (и зачем я это?). Художник, как учитель ученика расшалившегося, словесно за ухо меня взял:

— Нельзя сказать: я в Бога не верю, — нужно говорить: я не в Бога верю...



Видел я сон. Две реки в одну слились. Две реки: одна желтая от мудрости, как лист пергаментный, другая — белая, кровь потеряла. Отворили ей вены и берега кровью окрасили.

Текли эти реки в одно море, и море было — Родина.

Проснувшись, долго метался по улицам, чуть не попал под машину, приходил к реке и опять убегал от нее.

За прогорклым, пахнущим луком чаем разрешился от бремени.

«Не нужны мне звездные каменья
И весенней, майской ночи зной —
Проведу ее я на коленях
Пред чужой страной.
Принесу ей жалобу большую
И ее — чужую мне — спропшу я,
Чтоб тоску от сердца оторвать,
Чтобы сердце, наконец, узнало:
Почему мне колыбель качала
Мачеха, не мать?»

Написал и умилился.



Надо человеком стать, надо избавиться от проклятого числа — тринадцать, надо и чужую землю своей сделать.

Встретил знакомого китайца. У него — ящики мыла бракованного. Сначала мылится, а раз пять-шесть используешь, — камень остается. Он продать не может, а я могу, то есть здесь тоже не могу, а могу в провинции, где верят: кожа белая — душа белая. Такой не обманет.

И поехал. Торгую, кричу посреди улицы, на родственных чувствах спекулирую. Дескать, я — свой, здесь родился, своих грабить не буду.

И покупают.

Комната у меня — маленькая, грязная (но ведь после катера!). Только в сердце червь какой-то залез и сосет — силу высыпывает. То лицо покажет, то слова прошепестит, ненароком оброненные. По ночам, иной раз, собакой вою. А тоску и обман не утолить.

День за днем — месяц прошелестел календарными листами.

Однажды торгую так, мыло выхваливаю. Народ вокруг меня, как я сам, — недавний. Вдруг, чувствуя, кто-то мне руку мягко на плечо положил. Поворачиваюсь — старик, крестьянин, верно, добрыми, лучистыми глазами смотрит.

— Что продаешь сынок?

Поглядел я на него: руки маленькие, мозолями, как подковами, подкованы, лицо доброе, с хитринкой будто, и за плечом его туманный ее образ плавает.

— Ничего, — говорю, — нет у меня, дед, для тебя.

Сложил товар свой и в тот же день обратно выехал.

Пошел я к художнику — ботинки да рубашку возвращать (наторговал, своими обозвался).

Комната у него чистая, на столе цветы благоухают и сам трезвый. И сразу в глаза бросилось: она живая из рамки на меня смотрит. Видно не ломался он на этот раз, не коверкал природу.

Но — как?.. У меня даже ноги от волнения подкосились. Каждый волосок на голове отдельно почувствовал.

— Она что ж, бывает у тебя?

У него самодовольная улыбка, как масло, по физиономии расплзлась.

— А как же? Земляки ведь мы.

Бешенство во мне кипятком бурлит, не говорю, кричу:

— Лжешь, подлец, всё лжешь. Какие вы земляки? Ты, как и я, никогда не выезжал отсюда.

Голос у него замороженный, только в глазах любопытства прибавилось:

— Ну, не выезжал. Ну, и что с того? Мне и не надо выезжать. Я ж тебе говорил, что я — гений. Я везде был. Куда ни поедешь — везде меня найдешь ...

— Говорю: не пара она тебе. Ты же стар. Всю жизнь без толку прошатаешься, а ей жить надо ...



С вечера ужасно голова болела, раскалывалась на части, осколками черепа впивалась в мозг. Мысли всякие глупые лезли. Поползут светлой, лунной полосой на полу и в голову впрыгнут.

В математике, думаю, единица бесконечно больше нуля. А в жизни? — наоборот. Единица это и есть ноль. Единица человеческого одиночества — отрыв от жизни, выход из времени, ноль — бесконечность.

Потом вдруг смотрю — художник ко мне пришел. Сел на стул и холодными глазами в упор на меня глядит, как будто чему-то радуется.

Не хочу я на него смотреть. Отворачиваюсь к стене, а он и там — смотрит, ухмыляется.

«Чужой ты — слышу шопот — чужой».

И где-то река шелестит, будто волнами косматыми по полу у меня расползается.

«Волга — говорю... желтая Волга (видите, какие мысли несуразные).

«Это ты всё по глупости своей» — толкует художник. — «Смотри на меня. Всё могу. Везде дом имею».

И чуть-чуть посмеивается, будто глупости моей поражаясь.

— Вон убрайся отсюда! Вон! — хрюплю я и сам чуть не смеюсь. В горе ведь приятно посмеяться, слезы соленые с желчью насмешки смешать.

Снял я с себя рубашку, ботинки снял и всё в реку бросил. Не нужно мне, ничего не нужно (когда главного нет, игрушками не утешишься — только растревяльять будут). И тут же по книжному подумал — у тебя взял и назад отдаю.

Комната тоже в реку бросил — тони! А сам на катер пошел. Встал на борту и смотрю. Луна в реку упала, извивается на дне, видно, вздохнуть хочет — и нечем. А звезды вокруг перемигиваются — так и надо тебе: зачем большая среди маленьких? зачем чужая? зачем желтая? ..



Олег Ильинский

Олег Павлович Ильинский родился в Москве в 1932 году. Во время последней войны попал в Западную Германию, окончил гимназию в Мюнхене; там же — Школу иностранных языков, одновременно слушая лекции по философии и литературе в Мюнхенском университете. Печататься начал с 1950 года, сотрудничая в ряде зарубежных изданий. Много путешествовал. С 1956 года живет в Нью-Йорке, где продолжает учиться (факультет философии). Приведенные ниже стихотворения впервые опубликовывались в «Новом Журнале» и «Гранях».

ТАК БЫЛО

В который раз сегодня, как вчера,
Предсказывая будничную гибель,
Сирены обрывали вечера,
На запятой захлопывали книги.

Звенели ночи выбитым стеклом,
Дверные створки обрывались с петель,
И, зазвенев по воздуху крылом,
В больничный корпус пикировщик метил.

В который раз сегодня, как вчера,
Брыпался в окна крепкий запах гари,
Блуждали в облаках прожектора,
И воду подавали на пожаре.

Шатался от разрывов потолок,
Зенитки в небо лаяли металлом,
И в погребе, забившись в уголок,
Мы кутались в сырье одеяла.

Потом, вернувшись в выстуженный дом,
Фанерой окна заложив снаружи,
Таскали ведра с выбитым стеклом
И наспех грели слишком поздний ужин.

ОСЕНЬ ЧЕРЕЗ БИНОКЛЬ

Мир слегка искажен
В отшлифованных стеклах бинокля,
В перламутровой дымке,
Смягчающей резкость лучей . . .
Холод клёны обжег,
Красноватые листья засохли,
Золотые пластиинки
Заброшены в каждую щель.
Золотисто шурша,
Осыпается хрусткий кустарник,
Осыпаются вязы
За триста шагов от меня.
В каждой ветке — душа,
В каждом хрусте и в каждом суставе
Открывается глазу
Работа осеннего дня.
Чуть горчит на губах
Острый привкус осеннего ветра —
Передвинув бинокль,
Отдохнешь на мансардном горбе.
Он сродни голубям,
Четко видным за полкилометра,
Севшим на водосток
И лепящимся к теплой трубе.
Клены мерзнут, кряхтят,
Водоемы по паркам застыли,
Воздух чист, как печать,
По аллеям шуршание ног.
Подкупает октябрь
Золотистой классичностью стиля.
Чем заменишь сейчас
Заменяющий крылья бинокль?
В доме пахнет дымком
От огня разгоревшейся печи,
И у окон во взгляде
Жемчужная муть и покой.
Вечер с книгой знаком,
И перу черновик обеспечен.
Осень пишет в тетради
Прохладной и легкой рукой.

ПИСЬМО

Ты, может, вовсе этого не хочешь,
Но, десять раз письмо перелистыв,
Я все равно читаю между строчек
Снежинки, тающие в волосах,
И день, когда сметало ветром шляпы,
Когда моргал напротив светофор,
А мы с тобой пересекали Штакус
Автомобилям всем наперекор.
Мы спорили о чем-то до захлеба,
Мы шли и натыкались на людей,
Мы были, как помешанные, оба
В холодный и веселый этот день.
И оказалось, можно, дружбы ради,
Все косные законы сокруша,
В конверт заклеить Штакус в снегопаде,
Тебя саму и ветер, рвущий шарф,
И волосы, растрепанные ветром,
Что под платок убрать ты не смогла.
Как это все не разорвет конверта,
Не разломает ящика стола!
А ты тиха. Тебе синоним скромность:
Ты и подумать не могла о том,
Что сможешь всю квартиру переполнить
Одним в конверте сложенным письмом.

ДОЖДИК

О чем напишу я теперь наудачу?
О том ли, как дождик над крышами скачет,
Пенясь подбираются лужи к крыльцу,
И мокрой черемухой бьет по лицу.
Как зонтики вдруг окрылили предместье,
Или как мы укрывались в подъезде?

Как град, зазвенев, забился о камень,
А ветер рванув, завертел платками,
Деревьями, листами, облаками,

Как вздулись ручьи в ноздреватой пене,
И мок на углу продавец сирени.

Эх, дождик, сильнее по яблоням целься!
Как знак восклицанья стоит полицейский,
По уши укутанный мокрым плащом —
Ему и гроза, и дожди нипочем.
Как весело сыплет стеклянным горохом,
Крупною дробью грохочет у окон.

Ты глянешь в окошко остро и кратко,
Окинешь газоны, цветочную грядку,
Привычным движеньем возмешь тетрадку,
Присядешь и вмиг передашь бумаге
Веселую песню весенней влаги.

ОТКРЫТЬ ОКНО

Открыть окно, чтоб занавеску ветром отдуло,
Чтоб ветки в дом вошли,
Чтоб влажный сад в цвету стоял за столом,
Чтобы гудели бурые шмели,
Дышать землей и видеть сад и слева
В весенней дымке влажных крыш излом,
Стоять в окне, дышать огромным небом,
Стоять весной над письменным столом.
Проходит солнце, сырость листьев выпив,
Перемещая тени на стене,
Весна вместилась в параллелепипед
Окна. Она приказывает мне
В прямоугольник солнечной страницы
Вписать окно, вписать горячий сад,
Из комнаты по пояс наклонится,
Стрекоз и светлых бабочек вписать.
Вкось плещется и светотенью веток
Играет сад, листвой отяжелен,
Открыть окно с голубоватым светом,
С просторным ветром, с небом, со шмелем.

МИКЕЛЬАНЖЕЛО

1

По флорентийскому базару,
По солнечному камню улицы,
Где крик торговок спозаранок,
Где спорят, жулят и целуются,
Где промышляет нищий кражами,
Где говорят, поют, танцуют
Бочком проходит Микельянжело,
Идет сторонкой в мастерскую.
Чуть горбится по плитам площади,
Где воробыи клюют в помете,
Где скрип колес, ослы и лошади,
Повозки, фрукты и лохмотья.
В худом сарае — мастерская; —
Обломки мрамора в кусках,
Обломки торсов, битый камень,
Обломки мускулов и скал.
Он — бог и мир его огромен,
Заданье — мрамор укротив,
Из хаоса каменоломен
Титанов вызвать и святых.
Зубило сдержанно и остро
Врубается в зернистый строй,
И глыба мраморного торса
Вспухает мускульной игрой.
Вот он, гигант из камня высится,
Стоит, слегка повернут в профиль,
И вена, вспухшая на бицепсе,
Играет кровью всей эпохи.
Еще кругом остатки мрамора,
А он стоит легко и прямо,
И первым вздохом грудь расправлена,
Как в день творенья у Адама.

2

Какой большой и влажный ветер,
Как много листьев, волн и скал,
И как свободно по планете
Бог эту воду расплескал.

Рожденная разрядом силы,
Перенесенная извне,
Себя Дельфийская Сивилла
Не сознает еще вполне.
Ей быть и радугам и ливням
Сестрой. Дышать и жить в ростке.
Вот изначальная наивность,
Со свитком мудрости в руке.
Еще. Ей бытъ сестрой титанов,
Ей быть сестрой прозревших глыб,
Дружить с камнями и кустами
И слушать моря хлесткий всхлип . . .



H. Нароков

Николай Владимирович Нароков родился в 1887 году. Выехал из Советского Союза во время войны, в 1943 году. Печататься начал только за рубежом: в истекшие годы в русских изданиях заграницей было напечатано много его рассказов, фельетонов, статей. В 1952 году, в Издательстве им. Чехова (Нью-Йорк), вышел его роман «Мнимые величины», переведенный на английский, немецкий, французский и испанский языки. Из этого романа взяты отрывки, печатаемые ниже.

ВНЕ ЗАКОНА

ДОПРОС

... Яхонтов вызвал «Жорку».

Варискин не знал, кто такой этот Жорка, и не знал, зачем его вызывает Яхонтов. Но когда Яхонтов срывающимся, запыхавшимся голосом вызвал по телефону этого Жорку, у Варискина сразу остановилось похолодевшее сердце. Он с ужасом и с мольбой посмотрел на Яхонтова, хотел что-то сказать, но не нашел ни одного слова, а только затрепетал, как трепещет подстреленная птица, которая уже видит бегущую к ней собаку, видит полураскрытую пасть, сверкающие блеском клыки и густую слюну, скатывающуюся с черных губ.

Жорка вошел. Варискин со страхом посмотрел на него, готовясь увидеть что-то ужасное, но ничего ужасного не увидел. Жорка был просто паренек лет 25-ти, тонкий и вихлястый, со смазливым лицом и даже с некоторой развязной кокетливостью: видно было, что он считает себя красивым. Но у него были узкие, запавшие глаза в глубоких глазницах и пучковатые можнатые брови на чрезмерно развитых надбровных дугах, и это делало его лицо странно обезьяньим. Он остановился у двери

и, ухмыляясь ухмылкой, от которой его лицо стало передергиваться, мотнул Варискину головой:

— Обзнакомиться желаешь? Давай, обзнакомимся!

— На стойку! — коротко бросил Жорке Яхонтов, все еще запыхиваясь от злобного крика, которым он только что кричал на Варискина.

— Можно и на стоечку! — нежно согласился Жорка и кинул Варискину головой. — Пойдем, коли так!

Он отвел его в подвальную камеру, в которой не было ни одного окна и никакой мебели, кроме непонятного шкафа в углу. Стены были покрашены серой краской, а пол был каменный. Высоко под потолком тускло горела слабая лампочка, вся покрытая пылью и паутиной. Варискин вошел и сразу же поежился: в камере было очень сырьо, холодно и до противности промозгло.

А за стенами было пышное лето, полное голубого неба, веселого солнца и искренней радости жизни. И Варискин очень тонкой струйкой воспоминания вспомнил, как Яхонтов (2-3 минуты тому назад!) опустил в своем кабинете штору: солнце ярко было прямо в глаза. И от этого быстрого воспоминания промозглая сырость подвальной камеры наполнила его мучительной тоской и мающей предчувствия.

— Раздевайся! — со своей недоброю ухмылочкой приказал Жорка.

Когда он говорил или только смотрел, вся кожа на его лице усиленно двигалась, словно он гримасничал. А запавшие глаза-гляделки смотрели с какой-то удивительно пожабной издевкой.

— Раздевайся ж! — еще раз приказал он.

Варискин несмело и неуверенно снял пиджак и вопросительно посмотрел на Жорку, а тот замахнулся кулаком.

— Раздевайся, сволочь! — злобно закричал он. — Ждать еще тебя тут!

Варискин снял жилет и, прыгая на одной ноге, стащил с себя брюки.

— Снимай, снимай! — торопил его Жорка, двигая кожей и гримасничая. Когда Варискин разделся до нага, Жорка грубо толкнул его в спину и сильно поддал коленкой сзади.

— Иди, гад!

Варискин ничего не понимал: куда идти и что делать? А Жорка подтолкнул его к тому странному шкафу, который стоял в углу. Это был даже не шкаф, а скорее какой-то ящик из некрашеных досок: примерно, полметра в длину, немного

меньше в ширину, а высотой — по плечи Варискину. Никакой крышки не было, и ящик сверху был открыт. Не было в нем и дна: дном был каменный пол камеры. Одна стенка была дверью, и Жорка отворил ее.

— Входи!

Варискин вошел, все еще ничего не понимая, но тем более страшась. Жорка захлопнул позади него дверь, запер ее на немудреную задвижку, и Варискин увидел себя в тесной загороже. Он хотел что-то спросить, но не знал, о чем надо спрашивать. Смотрел поверх досок, окружавших его с четырех сторон, и все бормотал про себя: «Что оно такое? Что оно такое?» Потом переступил с ноги на ногу, повел плечом и вдруг очень больно укололся лопаткой обо что-то ост्रое. Он слегка вскрикнул и инстинктивно дернулся вперед, но сейчас же укололся плечом и грудью. Он вскрикнул совсем громко.

— Ага! — нагло захохотал Жорка. — Видал-миндал с кандибобером?

Варискин не только ничего не видел в тесном ящике, но и не мог ничего увидеть, так как не мог присесть, чтобы разглядеть. Боясь пошевелиться телом, он нагнул голову, скосил глаза вниз и кое-как разглядел, что в доску стенки были снаружи забиты гвозди, которые торчали своими острыми концами внутри ящика. Очевидно, и во все остальные стенки были сверху до низу вбиты такие же гвозди, так что в тесном ящике можно было только стоять неподвижно, но нельзя было пошевелиться, чтобы не наколоться до крови. Варискин задрожал.

— Вот оно как! — опять так же нагло захохотал Жорка.
— Разглядел? С гвоздочками оно! Стой смирно, гад, а то наколешься!

Он засунул руки в карманы штанов, широко расставил ноги и, вихляя всем телом, стал смотреть на Варискина неподвижными глазами. Варискин, словно загипнотизированный, тоже смотрел на него. Он видел, как лицо Жорки становится грубо надменным, презрительным и гадко высокомерным.

— Ну, и стой! — подмигнул ему Жорка, ненавидя Варискина готовой ненавистью. — Стой тут, пока я не приду!

Он повернулся, чтобы выйти, но вдруг сложил руки за спиной, начал напевать какой-то задорный мотивчик вроде старой польки и завихлял ногами, пританцовывая. Раз, два, три! — он шаркнул вправо. Раз, два, три! — он шаркнул влево... Раз, два, три! Раз, два, три!

Варискин похолодел: это было ужасом.

Жорка, пританцовывая, вышел. Громко засунул засов снаружи и дернул дверь: заперта ли? Потом все стихло.

Варискин остался один в сырой, промозглой камере с серыми стенами, с каменным полом и с тусклой, запыленной лампочкой под потолком. Он попробовал осторожно пошевельнуться, но кожей плеча почувствовал острое гвоздя и, вздрогнув, замер неподвижно: двигать можно было только шею, поворачивать можно было только голову. Варискин застыл.

Сперва он, взволнованный и напуганный, не замечал холода, но когда Жорка ушел и прошло минут десять, он начал весь дрожать мелкой дрожью. Непроизвольно и инстинктивно, он начал даже ежиться, но ежиться было нельзя, так как при неосторожных движениях он царапался о гвозди. Мелкая дрожь все усиливалась. Скоро он начал даже трястись всем телом, один раз он даже дернулся, но так сильно оцарапал себе руку в нескольких местах от плеча до локтя, что не удержался и вскрикнул. И крик вышел жалобным и бессильным, как у подраненного зайца. Дрожать и дергаться было нельзя, но нельзя было не дрожать и не дергаться: холод забрался в самую середину, прокрадывался в жилы и леденил сердце. У него застучали челюсти, и этот стук он стал слышать преувеличенно громко. Дрожь становилась конвульсивной.

И вдруг он почувствовал, что он страшно устал, до изнеможения устал, и не может стоять больше. Каждый мускул тела ныл: ныли опущенные руки, ныли напрягающиеся ноги, а особенно ныла поясница. На плечах лежала тяжесть, ослабевшие колени подгибались, а в груди давило. Нестерпимо хотелось пить, и слюна сделалась густой и вязкой: казалось, что именно от этой слюны так страшно хочется пить.

Ни мускулы, ни нервы не держали тела. Он попробовал было слегка опустить торс, чтобы хоть на минуту освободить большую поясницу, но стало очень больно животу, и он выпрямился. Осторожно, боясь уколоться, он перенес тяжесть тела на правую ногу и освободил левую. Стало, как будто бы, немного легче, но через минуту эта правая нога начала так дрожать, что он качнулся и напоролся бедром на гвозди. Выпрямился, даже чересчур выпрямился. Затаил дыхание. Потом перенес тяжесть тела на левую ногу и дал правой немного отдохнуть.

Нестерпимо хотелось прислониться, во что бы то ни стало — прислониться. Обманывая себя, Варискин чуть-чуть подался назад, осторожно прислушиваясь спиной к гвоздям: он хотел хотя бы немножко, хотя бы слегка опереться на них, чтобы они

не кололи, а только давили, но чтобы он, все-таки, мог притупиться. И действительно, в первую секунду он почувствовал облегчение в пояснице, но не мог сдержать усталые мускулы, которые наваливали тело на гвозди все сильнее и сильнее, требуя себе отдыха. Несколько гвоздей тотчас же очень сильно впились ему в лопатки. Он сразу выпрямился. Подергиваясь в судорогах озноба, замер в том единственном положении, в котором он не касался гвоздей.

Пить хотелось все сильнее и сильнее. Сухой язык царапал сухое небо. Горло подергивалось. И изнуряющим жаром стали гореть щеки.

Времени не чувствовалось: час прошел или пять часов? Серые стены, тусклая лампочка, неподвижность, промозглый холод и тишина были вне времени. Они не двигались. Из углов подступала и с пистолка опускалась гнетущая, мертвая, безнадежная тоска обреченности. Шевельнуться — нельзя, уйти — нельзя, упасть — нельзя. Можно ли умереть? Ни мыслей, ни представлений уже не было. Что-то бредовое, бессвязное и неосознаваемое начало наполнять его. И вместе с тем, в нем начало расти то ощущение подавленности и униженности, которое возникало в нем, когда Жорка стоял перед ним и смотрел на него. Оно начало расти и, не сдерживаемое ничем, почти сразу достигло химерических пределов: он, Варискин, все больше переставал чувствовать себя. Он, Варискин, как бы переставал быть. Его не было, но были серые стены, промозглая тишина и усталые, дрожащие мускулы.

И через бредовой туман его полусознания стала подкрадываться мучительная мысль: долго ли? Скоро ли все это кончится? Она, эта мысль, подкрадывалась незаметно, но едва лишь подкралась, как сразу овладела им всем. Варискин, конечно, не знал, что этой мысли никак нельзя допустить, потому что она мучительнее холода и гвоздей: ведь она дразнит концом, которого нет и... не будет! Эта мысль породила в нем нетерпение, которого раньше в нем не было, а от нетерпения усталость стала сильнее, гвозди — больнее, холод — нестерпимее, а тоска — невыносимее. «Долго ли еще?» И чем чаще Варискин спрашивал себя об этом, тем ему становилось все мучительнее и мучительнее. Нетерпение обострило в нем все, и поэтому все стало нестерпимее. «Долго ли?» Часы проходили, но они не воспринимались им, как обычные часы, как привычный счет времени, а тонули в мучительном «долго».

Вдруг звякнул наружный засов. Варискин, из каких-то последних сил, испугался. Что еще будет?

Вошел Жорка. Он, не затворяя за собой двери, вошел в камеру и остановился, кривляясь лицом и вихляя телом. Можнатые брови силились что-то выразить и сказать, но в них не было выражения: они были у него только пучками волос.

— Стоишь, сволочь? — не разжимая зубов, спросил он. — Ну, и стой!

Он смотрел на Варискина, а Варискин смотрел на него. Они смотрели друг на друга и никак не могли отвести этот прикованный взгляд, словно оба были заворожены.

Ненависть ли еще сильнее вдруг охватила Жорку, захотел ли он еще ярче почувствовать торжество своей власти, но он подошел к Варискину и, буравя его своими злыми, узкими гляделками, ни слова не говоря, сильно и наотмашь ударил его кулаком в рот. Раз и два. Варискин отшатнулся назад и напоролся спиной на гвозди. Он вскрикнул, но во рту что-то всхлипнуло и пролилось: горячее и липкое. Он открыл рот, и кровь, смешанная со слюной, медленно и густо потекла по углам рта. И Жорка тут же еще раз сильно и умело ударил в зубы. Варискин мотнулся, вскрикнул и выплюнул выбитый зуб.

Жорка сделал полшага назад и посмотрел.

— То-то же! — с угрозой сказал он. — И стой еще, гад! Пять часовостоял, простоишь и еще. Заморю!

И опять ушел, прогремев засовом.

То, что было дальше, Варискин не мог потом вспомнить. Сознание покинуло его, а вместо сознания им овладел бред, и один бред все время сменялся другим, но ни разу не было ни начала, ни конца. Если же вдруг открывалась минута просветления, то Варискин начинал истошно вопить, но даже и завопить он не успевал, потому что налетал новый бред, в котором вопля уже не было. Извиваясь от холода, он натыкался на гвозди, драл себе кожу до мяса, но не чувствовал ни боли, ни крови. Вконец обессиленный, он опускался коленями и бедрами, раздирил себе ноги, руки и спину, выпрямлялся, извиваясь, как полураздавленный червяк, опять опускался измученным телом и опять выпрямлялся, сотрясаясь в судоргах. А бред пролетал в его голове, бесформенный и полный ужаса. Этим бредом был Жорка.

Он метался. В секунды просветления он с отчаяньем вопил без звука — «Долго ли?» Но тут же налетала ледяная мысль: «До смерти!» И сознание гасло от этой мысли, завихрившись в разорванных обрывках. Потом пронизывала острая боль от раз-

диравших его тело гвоздей, потом судорога озноба кидала тело на новые гвозди, потом подкашивались омертвевшие ноги, потом несказанная тоска тисками сжимала сердце, и открытый рот не мог ухватить воздух . . .

В узком коридорчике стояли караульные. Один из них очень грубо толкнул Григория Михайловича в спину, но тот, не зная, что надо делать, только покачнулся от толчка.

— А ну! — крикнул караульный. — Дав-вай!

Не отдавая себе отчета, Григорий Михайлович пошел вдоль по коридорчику и через десять шагов вошел в ту пустую комнату, через которую уже проходил, когда его привели сюда. В комнате было полутемно. У стены стоял «Энкогнито», которому один из караульных, нагнувшись и поддерживая в согнутом локте свою винтовку, проволокой связывал сзади руки. У Григория Михайловича тоже схватили руки, оттянули их назад и стали связывать. Было совершенно невозможно понять: зачем нужно связывать руки, и для чего их надо связывать проволокой? Но и то и другое здесь «повелось» уже давно, и вот уже 15 лет неуклонно выполнялось каждую ночь. В связывании рук, в связывании их сзади и, главное, в их связывании именно проволокой было что-то странное своей несомненностью: романтика и издевательство, показ своей силы и прятанье слабости. И то, что проволоку надо было взять не руками, а плоскозубцами, имело невысказываемую и мрачную значительность, уходящую корнями в застенок Малюты Скуратова.

Со связанными руками Григорий Михайлович прислонился к стене и стоял, задыхаясь, хватая куски воздуха нервными всхлипами. По его лбу катился пот, и он чувствовал, как этот пот начинает заливать глаза. Спазма твердым клубком сдавила горло, и невыразимо хотелось пить.

Никитин воротился из коридорчика. За ним шли еще три смертника, а позади шагали караульные, стучая подкованными сапогами. И по этому стуку можно было слышать, что идут они не легко, не обычно, а с трудом переставляют отекшие и отяженевые ноги.

— Давай! — приказал Никитин, и все пошли: неровно, сбиваясь и нелепо тыкаясь. Пошли через переднюю и вошли в сад.

В саду было совершенно темно, так что караульные зажгли карманные фонарики и держали их, освещая осужденных. Небо, вероятно, было сплошь затянуто тучами, но дождя уже не было, только дул теплый и очень мокрый ветер. Сильно пахло прелой листвой, и ноги слегка скользили, неуверенно ступая в темноте. Очень смутно, в полутигле от Григорий Михайловича, проплыло пятно голого куста, и мокрая ветка царапнула его по щеке и по шее. Потом он ступил в лужу и сразу почувствовал, как холодная вода налилась в ботинок.

Никитин твердо шагал прямо к оранжерее. Дойдя до входа в нее, он пропустил тех караульных, которые шли впереди, пропустил и осужденных, пересчитал их, дотрагиваясь пальцем до плеча каждого, и вошел последним. Внутри оранжереи, довольно широкой и очень длинной, было странно пусто. Слева, на земляном полу, стояли две грузовые машины с зажженными фарами, а справа, у самой стены, стоял простой некрашеный стол. Оранжерея уходила в длину, и ее задняя стенка почти пряталась в темноте, но в этой стене все же была видна дверь, которая вела куда-то: вероятно, в ту пристройку, которая была у оранжереи.

За столом сидел дежурный в чекистской форме. Он (с деланно скучающим лицом) поднял глаза и пересчитал ими приведенных.

— Все? — спроил он.

— Все! — ответил Никитин.

— Лишних нет? — пошутил дежурной шуткой, которая была здесь принята и повторялась чуть ли не каждую ночь.

Никитин не поддержал шутки. Он вынул из общлага свой список и подсунул его дежурному, а тот внимательно просмотрел его, еще раз пересчитал глазами осужденных и что-то тихо спросил Никитина. Никитин слегка наклонился к нему, тихо же ответил и показал пальцем на какую-то строчку на листе бумаги, а дежурный подчеркнул эту строчку красным карандашом. Потом Никитин отошел назад, к входной двери, и собрал около себя караульных.

Дежурный встал, оправил на себе пояс, подергав его вправо-влево, и крикнул в сторону грузовиков:

— Миша! Заводи!

Из кабинки машины выскоцил маленький паренек, без шапки, с растрепанными курчавыми волосами и без пояса. Он забежал вперед автомобиля, сильно и умело крутнул ручку и подбежал к другой машине. Моторы застучали. Григорий Михайлович не понимал, что все это значит и посмотрел на «Энкогнито». Тот

ответил подбадривающей гримасой и, кажется, даже подмигнул, но ничего не ответил.

Дежурный пошел в глубину, отворил дверь, ушел в пристройку и минут десять не возвращался. Наконец, он вышел оттуда, подошел к своему столу, взял список и заглянул. Григорий Михайлович видел все это, следя за каждым движением с внезапно обострившимся любопытством.

— Черемухин! — громко вызвал дежурный.

Один из осужденных, услыхав свою фамилию, хотел было сделать шаг, но не смог, а только качнулся. Дежурный подошел к нему, сильно взял его под локоть и повел вперед, к той двери, которая была в глубине. Черемухин шел заплетающейся походкой, и по его спине было видно, что это идет не живой человек: так шел бы гальванизированный труп. Дежурный отворил дверь, втолкнул в нее Черемухина и тотчас же захлопнул. Григорий Михайлович смотрел, видел и вдруг все понял: «Это, значит, там... Это они там!» — боясь закончить мысль и сказать одно слово, подумал он. И, боясь ждать, стал ждать: выстрела. Моторы обоих автомобилей гулко и громко стучали, режа слух и наполняя своим стуком не только комнату оранжереи, но и сердце, и мозг, и всего Григория Михайловича. Этот стук казался по-невообразимому, по-невозможному громким, бьющим и сводящим с ума. Он свивался в одно вместе с блеском горящих фар, и этот блеск, казалось, тоже стучал, как бы стараясь перекрыть стук моторов. Сердце билось в беспамятстве, и мысли были, как куча сухих листьев в бурю: сплетались, неслись, вихрились и взметывались. Слух напрягся до нечеловеческого предела, и Григорий Михайлович в хаосе безумных звуков совершенно явственно услышал короткий, сухой, резкий, какой-то особенный звук. «Уже? — именно этим словом подумал он. — Сейчас я... Сейчас вот меня!..»

Дежурный все время оставался у двери. Когда звук выстрела раздался, он заглянул в свой список, но никого не вызвал, а молча пошел к группе ожидавших осужденных, не опуская руки со страшным листом бумаги. Он шел, улыбаясь еле намеченной улыбкой, которая даже не была похожа на улыбку: деланная гримаса. Он ли прятался за эту гримасу, сама ли она перекашивала его рот, пугая его самого? Он шел совершенно твердым, даже спокойным шагом, в котором было что-то деловое, все смотрел на осужденных, переводя взгляд с одного на другого. И Григорий Михайлович не видел ничего, кроме его глаз. Откуда-то из глубины приближались они к нему, становились все больше и боль-

ше, наплывали ледяным очарованием и покрывали собою все. Григорий Михайлович, не отрываясь, смотрел в эти приближающиеся глаза и застывал в такой мучительной спазме, что не имел сил даже откачнуться от них: наоборот, он все наклонялся вперед, все вытягивался вперед, как будто эти наплывающие глаза чем-то притягивали его к себе.

Дежурный подошел совсем близко.

— Веденяпин! — вызвал он только тогда, когда подошел чуть ли не вплотную. И опустил руку со списком.

Он назвал фамилию четко и громко, и Григорий Михайлович услышал ее совершенно явственно, но все же он не мог понять: это его вызвали или не его? Он уже затрепетал, но стоявший слева от него осужденный, высокий и плечистый, с породистым лицом русского барина, поднял вверх полуседую голову и, со спокойной гордостью, негромко сказал:

— Я.

«Не меня... Нет, не меня!» — только тогда (не мозгом, а чем-то иным) понял Григорий Михайлович. А Веденяпин не стал дожидаться, пока дежурный возьмет его за локоть и поведет к двери, а пошел сам: не шатаясь и даже легко. Связанные позади руки мешали ему держать тело в привычной позе, и он принужден был излишне закидывать его назад, но шел уверенно. Дежурный торопливо побежал за ним и хотел было открыть дверь, но не успел: Веденяпин толкнул дверь ногой, сам открыл ее и переступил — туда. Дежурный поспешно (чересчур поспешно) закрыл за ним дверь и снова остановился, дожидаясь. И Григорий Михайлович опять явственно услышал выстрел.

«Почему так скоро? Почему они там так скоро? — зачем-то взъерошивался он, не понимая, что именно так волнует его. — Не успеет войти, и сразу же быстрел... Почему это так скоро?»

И вдруг он весь перекосился: его как-то больно и даже мучительно ударили страшный и отвратительный запах. Этого запаха совсем не было, но Григорий Михайлович слышал его с такой непонятно обостренной силой, с которой никто и никогда никаких запахов не слышит. Это было что-то до-нельзя противное, гниющее и кислое, а в то же время, тяжелое и удушливое. «Это кровь!» — неясно мелькнуло в нем, и (чуть только оно мелькнуло) он как бы увидел лужи застоявшейся крови на цементном полу и полуслгнившие брызги уже разлагающихся мозгов, приставшие к серым стенам. Это было отвратительно и страшно. Его затошило. Голова закружилась.

Дежурный глянул в список и опять пошел назад. Конечно, ему не было никакой нужды ходить для вызова взад и вперед, он мог вызвать, стоя у двери, но он, сам не зная почему, считал нужным соблюдать такой порядок, словно бы это был обязательный ритуал: подойти к группе осужденных, только тогда вызвать следующего, пройти с ним до двери, там подождать, пока не раздается выстрел, а потом, не спеша, вернуться назад, все время в упор смотря на осужденных. Конечно, этот ритуал никем не был выработан и никем не был утвержден, а сложился «сам собою», с той же простотой и обыденностью, с какой слагается семейный ритуал за домашним обедом или незатейливый ежедневный ритуал чиновника за его письменным столом в канцелярии. И дежурный приходил и уходил безо всякого злого умысла, без злобного надругательства над душами людей, которые ждут смерти. Он даже не думал о том, что каждой лишней секундой ожидания он сводит судоргой их остановившееся сердца и оскорбляет Бога в небесах.

Он шел назад, и опять Григорий Михайлович, не отрываясь, прикованно впивался глазами в его наплывающие глаза. Опять все исчезло в бесформенных обрывках представления.

— Курочкин! — позвал дежурный.

«Энкогнито», слегка дернув всем телом, пошел вперед, но на середине вдруг задержался и повернулся назад. Его лицо перекосилось неимоверной, иступленной, гадливой ненавистью, от которой дежурный, шедший за ним, даже остановился.

— Ну-ну! — грозно крикнул дежурный, поднимая руку.

— Гад-ды! — проревел «Энкогнито». — С-суки!

Он захлебнулся в своей ненависти и впился в глаза дежурного.

— А ты, Колька... Ты...

Никитин сделал было движение вперед, чтобы поддержать дежурного, но «Энкогнито» повернулся и быстро, чуть ли не бегом пошел к двери.

«Теперь меня! Теперь уж, безусловно, меня!» — в беспамятстве лепетал Григорий Михайлович: их оставалось только двое. Он уже не мог больше следить ни за чем, а только лепетал: «Теперь меня! Теперь меня! Меня!»

— Володеев! — крикнул дежурный.

«Нет, не меня!» — бессвязно пронеслось в голове Григория Михайловича, и он почувствовал, что сейчас упадет. — «Не меня» Он закачался, стоя на месте, не видел, как дежурный искрив-

ленно усмехнулся, глянул в темноту, где стоял Никитин, и подмигнул. А потом перевел глаза и звонко крикнул:

— Отставить!

Внезапная судорога схватила клеточку мозга Григория Михайловича, и эта клеточка крикнула отчетливо и точно: «Меня!». Григорий Михайлович схватил взглядом иеясный туман перед глазами, опять услышал отвратительный запах прокисших мозгов и, непонимая, почему он не идет на вызов дежурного, и почему дежурный не ведет его, попробовал сделать шаг вперед обмякшими ногами.

— Отставить! — еще раз крикнул дежурный и удержал его за плечо.

Григорий Михайлович сразу же тупо остановился и замер. Нижняя губа у него отвалилась и отвисла.

— Миллер! — крикнул дежурный.

Тот осужденный, который стоял почти рядом с Григорием Михайловичем, послушно пошел вперед, и Григорий Михайлович бессмысленным автоматом пошел за ним. Дежурный опять остановил его за плечо и, кажется сказал ему что-то, но он и не слышал и не понял. Простоял с минуту на месте, поймал короткий, резкий звук выстрела и, потеряв все в себе, пошел опять к той двери, не дожидаясь ни возвращения дежурного, ни его вызова. Он шел, т. е. он переставлял ноги, и было странно, что он не падает. Дежурный сильно взял его под локоть, заглянул в глаза (его глаза стали непонятно большими) и властно отвел его назад.

— Никитин! — крикнул он. — Получай!

Никитин подошел к Григорию Михайловичу и развязал ему руки. Руки тотчас же повисли бессильными тряпками вдоль тела, и Григорий Михайлович не мог ни согнуть, ни поднять их. Он смотрел тупо и все ждал, что вот сейчас и произойдет что-то такое ужасное, чего еще не было: самое ужасное.

— Ну! — крикнул дежурный в сторону автомобилей. — Мишка! Стоп!

Моторы остановились, и сразу стало тихо. И вот эта-то тишина показалась Григорию Михайловичу тем последним ужасом, который должен прийти. Он всплеснул руками, в безумии попятился от смолкнувших машин и пронзительно завижал неистовым визгом. Никитин грубо дернул его за руку.

— Брось!

И от этого короткого окрика Григорий Михайлович оборвал свой визг и даже стал осматриваться: Никитин, дежурный, караульные... Мишка около машин... заколоченные досками окна...

— Давай! — повернул его за плечи Никитин и подтолкнул к выходной двери.

— И не приходи сюда больше! — захохотал ему вслед дежурный.

Вышли в сад. Карапульные повернули и пошли обратно во флигель, а Никитин, крепко держа руку Григория Михайловича выше локтя, повел его по дорожке. Один из караульных пошел с ними, освещая фонариком дорогу.

Не по-осеннему теплый воздух, мокрый от прошедшего дождя, гладил воспаленные щеки Григория Михайловича и высушивал пот на его лбу. Вода в лужах приветливо хлюпала под ногами, и листья мягко скользили по грязи, когда он наступал на них. Опять какая-то ветка царапнула его по щеке, и в этот момент совершенно явственно издалека послышался звонок трамвая. И этот звонок, донесшийся из той жизни, которая есть жизнь, потряс Григория Михайловича. Не останавливаясь ни на секунду (рука Никитина твердо держала его), он несколько раз качнул головой, сделал два-три глубоких вздоха и вдруг с пьянящей, сумасшедшей радостью понял, что все уже кончилось, что он остался жив.

— Меня... — срываясь с голоса, пролепетал он. — Меня не расстреляют?

Вопрос прозвучал жалостливо и робко. Он было глянул Никитину в лицо, но ничего не увидел в темноте.

— Д-давай! — властно и настойчиво крикнул Никитин, еще тверже сдавил ему локоть и не ответил на вопрос.

Супрунов, окончив официальную часть своего доклада, спросил, понизив голос:

— Есть что-нибудь?

Любкин*) ответил пристальным взглядом и, помедлив несколько секунд, сказал:

— Очень даже есть.

— Чрезвычайное?

*) Любкин — Начальник Областного Управления НКВД, Супрунов — его помощник и личный друг.

— Вполне чрезвычайное. Не вообще, конечно, а для меня чрезвычайное. Личное.

— Мне сказать можешь?

— Тебе-то? А как же иначе? Я только того и жду, чтобы тебе сказать и с тобой потолковать. Но только здесь, на перепутье, об этом говорить нельзя, а надо говорить толком и... и под водку об этом говорить хорошо. Ты на сегодняшний вечер можешь освободиться?

— Часов с десяти?

— Можно и с десяти. И мы с тобой так сделаем: поедем в «Театральный» и там в отдельной комнатке посидим. И будет у нас там с тобой вполне веселый разговор. Идет?

— Отчего же...

Новость, которую Любкин привез с собой из Москвы, была, действительно, очень важная для него: он получил тайное и чрезвычайно ответственное назначение в Афганистан. Он, правда, ожидал другого: он думал, что ему поручат некоторую задачу в Румынии, о чем с ним говорили с полгода назад. Назначение в Афганистан было для него неожиданностью, но никакими неожиданностями он никогда не смущался, а всегда в таких случаях «брал быка за рога». Дело было очень большое. За время своего пребывания в Москве он, конечно, еще не успел изучить его во всем объеме и во всей глубине, но хорошо понимал, насколько оно сложно и трудно. Кроме того, оно было опасно, но об опасности он совершенно искренно не думал. Озабочивало его другое: «Тонкое оно, шут его дери, дело-то это!» А оно, действительно, было тонкое. В этом деле был завязан узел сложной восточной политики: проникновение в Индию и создание угрозы для Англии. Надо было установить связь с индийскими коммунистами, перебрасывать повстанческие отряды. Главное же, надо было вести двойную игру с индийскими националистами, одной рукой поддерживая национальное движение, а другой направляя его в сторону интересов коммунистической революции. «Доброму вору все в пору! — рассуждали с Любкиным в Москве. — А националистами и сам Бог велит воспользоваться. Скрутить-то их потом никакого труда не составит, а пока что — пускай с нами в одном дышле идут!»

Трудность и опасность была в том, что задачу надо было выполнять не дома, а в чужой стране, правительство которой не доверяло ни одному советскому гражданину и тщательно следило за каждым из них. Мaska представителя Внешторга, под

именем которого должен был ехать Любкин, никого, конечно, обмануть не могла, и он понимал, как ему будет трудно выполнить задачу.

А кроме того, надо было все время считаться с настороженностью и умной бдительностью англичан.

— Трудновато! — поеживался Любкин.

— Да ты разве не чекист? — подзадоривали его. — Ты разве в Монголии не почище дела делал?

— Я-то чекист, и в Монголии я дела делал, но... Англичанка, она ведь дошлая, ее на кривой не объедешь. Мудрено оно!

— Отказываешься, что ли?

— Не умею я отказываться, когда партия велит.

Но кроме деловых и технических трудностей, Любкина озабочивало еще и другое, чего он никому не говорил, но при мысли о чем губы его крепко сжимались, а взгляд вцеплялся в одну точку. Он угрюмо обдумывал про себя что-то, а потом, ни до чего не додумавшись, шумно вздыхал: ничего, дескать, не поделаешь! Эти мысли, видимо, удручили и тяготили его, но он следил за собой и молчал.

В основном все было договорено: Любкин, не дожидаясь назначения, возвращается домой и готовится сдачу управления Супрунову.

Вечером, как условились, Любкин и Супрунов поехали в «Театральный» и заняли там большой отдельный кабинет. При служивать им отрядили старого Сергея Федоровича, который когда-то работал «у самого Кюба». Этот Сергей Федорович чинно и даже немного строго остановился в ожидающей позе, смотря на Любкина. Любкин живо повернулся к нему.

— У меня, товарищ дорогой, сегодня фантазии нету, а ты, коли хочешь другом быть, сам все сообрази, что получше. Еды давай поменьше да покуснее, а питейного волоки больше. Скажешь Зажишину, чтобы отпустил из того запаса, который, стало быть, не для всякой хари предназначен. Я сегодня, скажешь ему, без удержу хочу.

— Вполне понимаю.

— Ну, и соображай. Погоди! Принеси-ка сначала нарзанчику.

Он сел с Супруновым на диван и стал вполголоса рассказывать ему про свое новое назначение. Супрунов слушал очень внимательно, напряженно, но и хмуро. Время от времени прерывал каким-нибудь дельным вопросом и, получив ответ, продолжал слушать, крепко сжимая пальцами серебряный портсигар. Иногда он поднимал глаза и всматривался в Любкина, а иногда

он опускал их, чтобы слушать внимательнее. За все время рассказа он ничем не выразил своего мнения, но Любкин видел, что он чем-то недоволен и чего-то не одобряет.

— Ну, вот, стало быть и все! — закончил Любкин и с полминуты помолчал. — Что скажешь? — подтолкнул он Супрунова.

Супрунов ответил не сразу. Медленно раскрыл свой портсигар, достал папиросу и, внимательно присматриваясь к пламени спички, закурил, пыхнув два раза.

— Большому кораблю большое и плавание! — с еле заметной усмешкой выговорил он.

Любкин поморщился.

— Ты это брось. Ты дело говори.

— А ты чего ж дела-то не говоришь? — резко повернулся к нему Супрунов. — Все сказал, а о главном умолчал! Или, думал, я не замечу?

— Я... Я ничего не умолчал! — насупился Любкин.

— Ничего? Хорошо! А почему это ты меня с собой не берешь?

— сразу что-то открывая вопросом, спросил Супрунов.

Любкин притворился непонимающим.

— Я ж тебе сказал: управление ж!

— Управление? — нехорошо усмехнулся Супрунов. — А если это управление после твоего отъезда к чортовой бабушки полетит, так ты... что ж? Плакать от этого в Афганистане будешь?

— Не плакать, а... а...

Супрунов резко встал. Привычным, машинальным жестом оправил на себе пояс и, красиво держа папиросу между пальцев, строго посмотрел на Любкина.

— Коли говорить, Ефрем, так уж все говорить, до конца!

— Это ты правильно! — глухо согласился Любкин.

— Спасти меня хочешь?

— Спа... Спасти? Как — спасти? — очень неудачно притворился Любкин.

Но вошел Сергей Федорович и еще два офицанта. Они стали накрывать на стол, откупоривать бутылки и устанавливать посуду. Потом вкатили столик с закусками. Сергей Федорович понимающим взглядом осмотрел стол и сделал пригласительный жест: милости-де просим.

Любкин засопел, уперся руками в колени и грузно поднялся. Сели за стол и налили по стопке воки.

— Чокнемся, Павлуша! А что ты это самое слово «спасти» сказал, так это ты правильно, конечно... Спасти не спасти, а в яму мне тебя за собой тянуть нечего. Но сначала давай выпьем!

— Будь здоров!

— Постараюсь!

Супрунов пил, скрывая мрачную озлобленность, которая все больше нарастала в нем после рассказа Любкина, а Любкин пил с какой-то решительностью, словно хотел что-то залить и с чем-то покончить. Выпив, он морщился, крутил головой и крякал, а Супрунов холдно и четко вливал в себя водку.

— Ты говоришь «спаси»! — вернулся к делу Любкин. — Неправильное это слово, но... пусть так! Коли мне погибать надо, так тебе же зачем? А из Афганистана, брат, не вылезти! Никак!

— Никак! — твердо подтвердил Супрунов и поджал губы.

— Тут, Павлуша, как с Иваном Царевичем в сказке: направо поедешь — коня потеряешь, налево поедешь — сам убит будешь, а прямо ехать — дороги нет. Так? Если я это афганское дело плохо вести буду, так меня либо афганские парни сами на мушку возьмут, либо наши в Москву отзовут и там к стенке поставят за провал ответственного задания.

— Конечно, поставят. Но ты не провалишь. Справишься.

— Допустим. Но если я...

Он оглянулся, понизил голос и придвигнулся к Супрунову.

— Ведь если я это дело хорошо проведу и до нужной точки его доведу, то ведь после окончания меня, все-таки, на Лубянке к стенке поставят.

— Непременно поставят! — уверенно подтвердил Супрунов.

— Потому что мне для этого дела ба-альшие секреты открыты будут. Международные секреты! А поэтому меня по окончании и ликвидируют: важных свидетелей оставлять нельзя.

— Их и не оставляют. Примеров — сколько хочешь. В Москве-то ведь ни одному человеку не верят и каждого боятся.

— Еще как боятся! Вот и выходит: каюк!

— И отказаться нельзя.

— Отказаться никак нельзя. Если откажешься, тогда сразу крышка: отказаться не позволяют. Вот и выходит: плохо дело сделаешь, чужую или свою пулью получишь; хорошо его сделашь, как опасного свидетеля ликвидируют; а коли откажешься, сразу крышка. Я ж тебе говорю, оно совсем, как с Иваном Царевичем в сказке.

Он ковырнул вилкой в тарелке и поспешно потащил себе что-то в рот.

— Я это сразу и не раскумекал было, — проглотил он кусок, — и сперва даже попросил, чтобы и тебя со мной послали, а потом огляделся и... Батюшки-светушки! В самую, значит, про-

пашь меня бросают! Та-ак! Шел да и дошел... Точка! Ну и, стало быть, зачем же мне с собой еще и тебя тащить? За то, что ты тогда с шестнадцатью ребятами на Омельяновский хутор открытои атакой пошел, чтобы меня из плена у белых выручить? За это, я так понимаю, другой монетой надо платить, а не... афганистанской! Нечего тебе со мной туда ехать, поживи еще! Тебя к стенке тащить не стану. Ну, и что же?

— Ничего! — пожал плечом Супрунов. — Ты, конечно, правильно поступаешь, но надо ведь и выход искать.

— Выход? — прищурился Любкин. — Выхода, брат, нету: ни направо, ни налево, ни прямо. Зря и искать-то! И... и... И чего это меня сегодня водка плохо разбирает? Давай, участим!

— Давай!

Любкин выпил стопку, подцепил на вилку кусочек семги и проглотил его не разжевывая, а только пососав языком. Потом отодвинул от себя тарелку, расчистил место на столе, смахнув ладонью крошки со скатерти, поставил локти на стол и подпер голову руками.

— Что-то нехорошо во мне! — покрутил он головой. — Мысли всякие, понимаешь ты! И такие мне кажется, будто... В городе у нас жителей тысяч до пятисот будет, и все они Ефрема Любкина боятся! Все они, взять хоть вот и сейчас ночью, от страха перед Любкиным трясутся, а я... я, может быть, этого самого Любкина больше их боюсь! Любкина боюсь! Вот!

Вошел Сергей Федорович. Очень ловко и быстро он навел на столе порядок, забрал грязную посуду, поставил чистую, принес горячую закуску и критически оглядел стол.

— В порядке!

Есть ничуть не хотелось, но из-под крышек кастрюлок и от никелированных сковородочек шел приятный пар. Супрунов потянул к себе одну из сковородочек, заглянул и положил ложкой в тарелку.

— Что там такое? — недовольным тоном спросил Любкин.

— Не знаю.

— Как же так? Ешь и не знаешь...

— А тебе не все равно?

Любкин подумал.

— Нет, не все равно! — с хмельным упорством настоял он на своем. — Каждая вещь свое имя должна иметь... название! А если ты не знаешь, как оно называется, так... так его и есть-то не вкусно!

— Разве?

— Рыба, что ли?

— Нет, почки... Суперфляй а-ля-пардон! — усмехнулся Супрунов.

— А! Суперфляй! — бледно обрадовался, словно узнал это название Любкин. — С почками? Ну, коли так, то положи и мне.

Ели вяло, а больше пробовали. И пили уж не так часто и настойчиво. Любкин снял с себя пояс, перекинул его через спинку стула и расстегнул воротник. Супрунов же ничего не снимал, а, наоборот, время от времени проверял движением пальцев застегнутые пуговицы или поправлял перекосившийся рукав. Он со средоточенно смотрел перед собою, обдумывая что-то и поглаживая себе подбородок. Потом огляделся быстрой, привычной оглядкой и очень тихо, но очень твердо, без тени колебания, сказал, глядя Любкину прямо в глаза:

— А ты в Афганистане не дури! Ты подожди там, сколько надо будет, а потом, как осмотришься, — беги!

Любкин словно бы протрезвел сразу. Он широко окрыл глаза и посмотрел на Супрунова так, как будто хотел проверить: ослышался он, услышав «беги», или же Супрунов и в самом деле сказал это странное слово. Оно ударило его, и он ни за что на свете не признался бы даже самому себе, что он и сам уже не раз тайно говорил это слово: и там, в Москве, и по дороге в вагоне. Он говорил его, но тотчас же прогонял его и убегал от него, не останавливаясь около него ни на минуту.

— Так ведь это ж... измена! — с повышенным, а поэтому и немного фальшивым возмущением нашел он, чем отбиться от слова «беги». Но — странное дело — не только возмущения не почувствовал он в себе, но не почувствовал ни убежденности, ни решимости. Даже слово вопрос, даже словно просьба о чем-то прозвучала в его голосе, когда он сказал «измена».

Супрунов дернул углами рта. На одну секунду, на полсекунды даже, откровенная презрительная гримаса пробежала по нем, но тут же потухла. Он пожал плечами с видом превосходства того человека, который все понимает и все понимать умеет.

— Ты дураком никогда не был! — однотонно ответил он, но в этой однотонности была большая, скрытая значительность. — Зачем же теперь дураком быть?

— Дураком? — внезапно вспылил Любкин и что есть силы ударил кулаком по столу, так что тарелки вздрогнули, а стопочка упала. — Это ты... что ж такое? Что ты этим сказать хочешь? — с напористой растановкой спросил он.

Супрунов опять улыбнулся с откровенной презрительностью, не пряча своих глаз от воспаленного взгляда Любкина.

— А ты подумай! Ты проверь! — спокойно сказал он.

— Нечего прверять: проверено! — запальчиво возразил Любкин. — Я ведь в партии с 20-го года! — подчеркивая и тоном и миной каждое слово, добавил он. — А с партией я даже и с 17-го!

Он сказал и посмотрел на Супрунова. Ему казалось (он был даже уверен), что после того, как он сказал, что он «с партией с 17-го года», никакое «беги» уже невозможно. Но Супрунов с несомненно обидным сожалением дернул плечом и бросил в ответ очень легко, с той легкостью, которая, сама по себе, должна убедить больше, чем смысл слов.

— Ты-то с партией с 17-го года... Так! Не спорю! А партия-то была ли с тобой хоть один день?

Если бы от Любкина потребовали объяснить этот вопрос Супрунова, он не смог бы его объяснить. Но, несмотря на это (а, может быть, благодаря этому?), он понял весь вопрос целиком, сразу, во всех частях и со всей значимостью. Была ли партия с ним? А была ли партия хоть с кем-нибудь?

— Наша партия,—ничуть не боясь своих слов, уверенно продолжал Супрунов, зубами заставляя вздрогивать свою папиросу, — коммунистическая партия, — повторил он так небрежно, как будто говорил о ничтожестве, — это осел. Что положишь в мешки, то и везет. Куда погонишь, туда идет. Она сейчас идет за Сталиным, спора нет, а ты думаешь, что она не пошла бы за Троцким, если б тогда чуть иначе стояли пешки на доске? Или ты считаешь, что это она, действительно, идет за Сталиным, а не «ее идут» за Сталиным?

— И... стало быть? — слегка приподнялся Любкин, готовый тут же рухнуть. — Стало быть... А кто ж «ее идет»? Кто мешки-то на осла кладет? — с внезапной силой выкрикнул он, приковываясь к холодным и твердым глазам Супрунова. — Ослом-то кто правит? Кто?

— Большевики! — совершенно спокойно ответил Супрунов и ткнул докуренную папиросу в недоеденный соус на тарелке. — И вот они-то, а совсем не партия, посылают тебя в Афганистан: завези-ка туда мешки и сдохни! Почему «сдохни»? Потому что они большевики. И ты сам — большевик. Ты сам всегда делал тоже самое. Ведь мы с тобой еще совсем недавно Варискина и Яхонтова убили. Забыл? А потому я тебе и говорю: беги!

Любкин опустился на стул. Он не только все понимал, но понимал с тем большей ясностью, что ни одно слово Супрунова не было для него новым. Каждое слово уже давно было в нем самом.

— Ты вот говоришь, — не меняя ни вида, ни позы, ни тона, размежеванно продолжал Супрунов, — что тебе невкусно есть, если ты не знаешь, как оно называется. Смешно мне это слышать, чтоб ты знал! «Называется!» — слегка фыркнул он. — Чорт вас знает, зачем это вам обязательно название нужно! — дернулся он плечом, не объясняя, о ком это о «вас» говорит он. — А чуть только я тебе какой-то дурацкий суперфляй назвал, так ты и попробовать захотел: вкусно-де!.. Так я тебе, если ты хочешь, и если тебе это непременно надо, сколько угодно суперфляев назову: «коммунизм», «советская власть», «социалистическое строительство»... мало тебе? Могу и еще: Маркс, Ленин, Сталин. Еще мало? Так я могу и еще суперфляй назвать: «коммунистическая партия». Самый что ни на есть суперфляйный суперфляй! Мы с тобой в 18-м году за коммунизм кровь проливали и умереть готовы были, а ведь коммунизма-то и нет! Не в СССР его нет, про СССР и говорить нечего, а вообще его нет! Вообще! Суперфляй для дураков есть, а коммунизма нет и быть не может, потому что борьба не за коммунизм идет, а за то — кто наверху? У кого вожжи в руках? — властно и даже грозно выпрямился Супрунов. — Только в вожжах дело, Ефрем, только во власти дело, а совсем не в Марксе-Ленине! Что тебе нужно: суперфляй или вожжи? Коммунист ты или большевик? Сможешь ты, ради вожжей, эту самую коммунистическую партию к стене поставить и сам ей пулью в затылок всадить?

— Я большевик! — уверенно и гордо сказал Любкин.

— Так на черта ж ты Любкина боишся? Что же ты про какую-то идиотскую измену талдычишь? — откровенно рассердился Супрунов, и Любкин почувствовал себя в чем-то виноватым. — Большевик, Ефрем, это прямая линия. Совсем прямая! Большевик — это если человек в себе, из себя и для себя. Только в себе и больше ни в ком. А главное, ни в чем. И все, что большевик делает, он из себя делает, а не из суперфляев. Полная свобода, совершенная свобода, от всего свободы: только в себе, только из себя и только для себя. Ничего другого: ни Бога, ни человека, ни закона. Ни одного суперфляя! А ты говоришь — «измена». Кому измена? Суперфляю?

— Та-а-ак! — очень длинно протянул Любин. — Пожалуй, оно и так: в себе, из себя и для себя. Свобода! Ото всего свободы! Но только...

Он прерывисто, немного судорожно, вздохнул (пожоже, как бы всхлипнул), обтер ладонью слегка опьяневшее лицо и докончил — не то с сомнением, не то с тоской в голосе:

— Но только, как его этой свободы достигнуть? Как его ото всего освободиться? Чтобы, действительно, уж без Бога, без человека и без закона быть?

Супрунов молчал. Любин сидел, грузно опустившись на стул всем своим захмелевшим телом. Просидел так с минуту и медленно, настойчиво, с усилием покрутил головой, как будто хотел что-то выжать из нее. А потом через силу сказал, и видно было, что ему трудно говорить это:

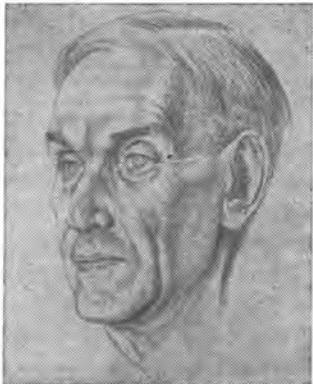
— Это дело такое... «Беги»-то... Его ой-ой как тонко продумать надо!

И поняв, что этим бессвязным ответом он высказал свое согласие, он живо встрепенулся.

— Но ведь опять же... — почти испуганным голосом добавил он. — Но ведь опять же получается — ненастоящее! «Измена» — суперфляй! Так! Согласен! Вполне! А «беги»-то — разве настоящее? А большевизм-то разве настоящее? А вдруг и большевизм — суперфляй?

И почти страстно добавил, вскидывая обе руки кверху:

— Так где же настоящее? Настоящее-то где же, Павлуша, скажи мне, сделай милость! В чем оно? ..



Борис Ширяев

Борис Николаевич Ширяев родился в 1889 году. Окончил Московский университет, участвовал в первой мировой и гражданской войне. Как белый офицер, был отправлен на 10 лет в Соловки. Позже работал в прессе, но беллетристику начал печатать только в зарубежье, куда попал в 1944 году. Издательство имени Чехова выпустило его книгу «Неугасимая лампада»; вышли так же книги: «Ди-пи в Италии», «Светильники Русской Земли», сборник рассказов «Я — человек русский». Работает над хроникальной повестью из шести частей, из которых напечатаны: «Последний барин», «Ванька Вьюга», «Овечья лужа» и «Кудеяров дуб» (отрывок из «Кудеярова дуба» помещен ниже). На итальянском языке вышел его «Обзор русской литературы за 1920—1940 гг.».

В ТЕ ДНИ

На дворе учхоза струдились в галдящую галочью стаю почти все его население, по крайней мере низший его слой. Высший — директор, бухгалтер и партторг заседали, затворившись в кабинете вместе с институтским начальством, подводы которого стояли нераспряженными под навесом хозяйственными, крепко сложенного еще расстрелянным Дединым амбара. На бричках и тачанках — крытые горы беспорядочно наваленных узлов, ящиков, чемоданов. Из иных торчали свиными ушами полы пиджаков и лениво свешивали рукава зимние пальто.

— В кучу не сбиваться! — размашисто выкрикнул вышедший на крылечко кабинета Середа. — Как раз по скоплению и ахнет! К стенам становитесь или под деревами маскируйтесь, как вам объясняли!

Кое-кто из баб торопливо перебежал к саду. Отрываться от кучи было страшнее, чем стоять в ней, хотя и на виду.

Шедший головным аппарат повис над самым двором и дал какой-то завывной перебой в реве мотора.

— Вот сейчас бросит! — взвизгнула Капитолинка, и вся толпа, давясь и спотыкаясь, метнулась под навес амбара, забила его

выкликами, причитаниями, всхлипом. Директорша так и не встала с земли, а прямо переползла под воз на четвереньках.

— С нами сила Господня! — мелко закрешила там она расправшую платье-капот полновесную грудь.

— В таких как раз завсегда и попадает, которые от своей дури лезут, — раскатился с крыльца хрип Середы. Сам он был спокоен и даже явно склонен к некоторому сарказму. — Овцы! Как есть овцы на пожаре! Никакого различия.

Но рокочущий вал уже перекатился через хутор к видному с него, как на ладони, городу.

Сначала по-одиночке, потом табунчиками вылезли из-под навеса прятавшиеся там и снова затолпились на дворе, вглядываясь в затуманенный зноем город.

Из сада вышел Евстигнейч, за ним вразброд остальные, латыш последним, с таким же, как и там, облезлым лицом.

Над правым, прилегающим к полотну железной дороги краем города вздыбился большой кудлатый столб черного дыма и рядом с ним два других поменьше. Они взметнулись к небу и расползлись в верхах, как гигантские грибы-опенки.

— Бросил! — увесисто объявил Середа с крыльца, и в ответ ему в городе ухнуло, а потом рвануло целой горстью сухих резких ударов.

В толпе закрешились. Босоногая девченка в одних трусиках, с коричневым от загара телом и лохматыми, нечесанными мутно-желтыми волосами, завыла и побежала к дому. За ней — две женщины, но на краю двора стали, потоптались на месте и снова вернулись к табунчику.

— Бьет метко, — засвидетельствовал с крыльца Середа, принявший на себя обязанности если не военного руководителя, то, во всяком случае, комментатора начавшейся битвы, — в нефтехранилище при станции ударили. Вишь, как густо черный дым пошел! Значит, нефть загорелась...

— Что теперь там на станции делается! Могу представить, — шепнул Мишка Брянцеву, — всю ночь шла погрузка, все пути составами забиты. Неразбериха была, что называется, на все сто. А теперь, надо полагать, еще процентов на двести повысилась. Перевыполнение плана!

Второй бомбовоз сбросил свой груз также над станцией, а остальные проплыли несколько дальше и раскатисто прогромыхали там.

Табунчик на дворе не расходился и не редел. Даже наоборот — загустел: из домов, подвалов, картофелехранилищ и силосных

ям выбирались те, кто там сначала прятался. Страх почти растворял. В головах всех собравшихся ясно оформилась одна и та же общая для всех мысль. Вслух ее высказал Евстигнеич.

— В нас бить не будут. Никакого ему нет расчета нашу навозную кучу бонбон ковырять, — как всегда, несколько иронически проговорил он, ни к кому в отдельности не обращаясь. — Знает, видно, куда следует ударить, в точности.

— С такой-то высоты и слепой попадет, — ответил ему Середа. — Не более трехсот метров. Можно сказать, в упор. Ничего не опасается, а наша артиллерия молчит.

— Какая там артиллерия — ни одной зенитки в городе нет, — отозвался теперь уж совсем громко Мишка, — а пехоты нагнали до черта. Все за последнее время мобилизованные еще в городе. Оба института, музей, клуб совторгслужащих — все ими забито. А винтовок нет. Сам видел: с палками на учение водили.

— Наверно и плант городской у него имеется, — продолжил свои соображения Евстигнеич.

— Спирёны, — взвизнула по привычке Капитолинка, но огляделась кругом и скисла.

Две стоявшие рядом с нею бабы отошли в сторонку. Капитолинка еще огляделась и скинула на шею свою красную косынку.

Начальство высыпало из конторы при первой же волне, но держалось особняком, группируясь под старой корявой грушей возле крыльца. Тихо переговаривались между собой. Полноватый, медлительный директор института был, несмотря на жару, в заношенной кожаной куртке со слежавшимися складками, что сейчас же отметил Евстигнеич.

— Кожушок-то на нем, на дилехторе, должно с девятнадцатого года. Тогда на такие у комиссаров мода была, — подтолкнул он локтем Брянцева. — Смотри слежался, будто утюгом по нем пройдено. Приберег, значит. Вот и пригодился. Правильно, — одобрил он.

Зав. учебной частью, читавший также в институте диамат, в шляпе и тяжелых роговых очках, придававших ему необычайное сходство с совой, весь такой же, как эта птица, серый и встопорщенный, прошел под навес к подводам и завозился около лошадей.

— Павел Павлович, — позвал он оттуда директора учхоза, — здесь, очевидно, упряжь не в порядке. Какие-то ремни болтаются. Пришлите, пожалуйста, конюха.

Сторожная молодая гнедая кобылка переступила с ноги на ногу и брезгливо лягнула его.

— А чорт бы тебя... с таким транспортом! — отскочил от нее Завуч.

— Акуратней с лошадьми надо бы, — наставительно сказал подошедший директор совхоза и сам перетянул ремни упряжки.
— Не привыкли? Привыкайте. Для будущего не вредно. А к коню сзаду не жмитесь.

От города донеслось равномерное цоканье, а потом разом, перебивая одна другую, застручило несколько равномерно отстукивающих машин.

Брянцев в первый раз за этот день ощутил страх. Этот равномерный, машинный, бездушно-неумолимый поступок пугал его еще на полях Галиции. Давно. Теперь он, отраженный памятью, снова пробежал оторопью по его спине и коленям.

— Пулеметы в самом городе бьют! — уверено объявил Середа и, словно удовлетворенный этим, пояснил: — Значит, кончено дело. Пиши в сводках новое направление «по стратегическим соображениям», — хрипнул он потише.

Начальство разом заспешило под навес. Там женщины уже громоздились на подводы, поверх наваленных на них тюков, и тянули к себе примолкнувших детей. Лица всех посерели.

Директор института первым распутал вожжи, тяжело плюхнулся на передок и выкатил из-под навеса, шаря правой рукой за бортом кожаной куртки.

— Деньги, что ль, щупает, — размыслил вслух Евстигнеич, — а может и крестится на путь предстоящий, хотя и партийный...

Завуч неумело задергал вожжами, подкрутил передок своей тележки и сцепился колесами с нагруженным горой возом худого, как жердь, страдающего язвой желудка, парторга Жукова. Жуков порывисто повернулся к нему, блеснув оскалом золотых зубов в провале безгубого, как у черепа, рта.

— Куда прешь, чорт очкастый? — злобно выкрикнул он, осаживая задравших головы коней.

— На Темнолесскую повел, — проводил глазами выехавшего со двора директора Евстигнеич, — значит, на Нальчик маршрут. Ну, что ж... С Богом!



Середа не ошибся. Большой областной город был занят немцами почти без боя, после сравнительно слабой бомбардировки с воздуха и атаки передового отряда легких танков.

Военное и партийное начальство даже накануне вечером лишь смутно знало о приближении немцев и точно об их движении

осведомлено не было. А передовая механизированная колонна наступавшей на Северный Кавказ армии генерала фон Клейста ночевала всего в тридцати километрах от города, в опустевшей казачьей станице, заселенной теперь семьями раскулаченных из Средней России. Телефонный провод оказался порванным то ли немецкой разведкой, то ли самим русским населением. Военное командование узнало о близости врага лишь на рассвете от прискакавших из занятого немцами села партизцев. Тридцатитысячный гарнизон состоял почти целиком из незадолго перед тем призванных старших возрастов — ближних колхозников, не только не обученных, но даже не вооруженных и не обмундированных. Их тотчас же подняли по тревоге и стали толпами выводить за город, на опушку некогда густой, а теперь сильно поредевшей Архиерейской рощи. Там наскоро рыли окопы. Офицеры надрывно матерились, расставляя огневые точки и перегоняя с места на место серых, обросших седой щетиной, мужиков.

В успех обороны не верил никто, от самого начальника гарнизона до одноногого пьяницы Володьки, в прошлом красного партизана, а теперь расклейщика афиш и административных объявлений. Он, наскоро опохмелившись, с восхода солнца шлепал на стены и телефонные столбы только что отпечатанные обращения к гражданам, требовавшие от них сохранения порядка и веры в победу. Шлепал и посмеивался уже созревшему в его кудлатой голове плану. Этот план был очень заманчивым и обещал полный успех: забраться в разгар паники в городскую аптеку и запастись там ведром-другим спирту. А то и побольше...

«Его там хватает», мечтательно улыбался Володька всплывшему над Архиерейской рощей солнцу.

Побеги с передовой начались тотчас же при появлении первых немецких бомбовозов. Мобилизованные колхозники залезали в кусты как бы по своей надобности, и там исчезали, уползая в гущу орешника. Командиры туда не заглядывали. Некогда, да и незачем — все равно все побегут!

Повальное бегство началось при появлении на горизонте первых танков.

— Танки, — сказал вполголоса смотревший в бинокль наблюдатель.

— Танки! — полным голосом повторили на командном пункте.

— Танки! — пронеслось волной по всей линии, а на флангах ее уже завопили:

— Танки!..

Это и было командой, которую исполнили все. Фронт не дрогнул, как это принято говорить, а уверенно, даже четко обернулся к лесу и растекся по гуще орешника.

Начальник гарнизона выругался для порядка и махнул своему шоферу рукой с биноклем.

В лесу бросали винтовки и торопливо срывали знаки различия. Кое-кто из партийцев засовывал в дупла и под гнилые пни пачки документов. Коренастый, очень юный лейтенант, с подетски оттопыренной, нетронутой еще бритвой губой, скинул совсем новенькую, ладно притянутую гимнастерку, простовато, тоже с детским сожалением, посмотрел на нее и бросил в кусты.

— Чорт с ней! В городе забегу к ребятам, найдут что-нибудь надеть. Барахло какое-нибудь, конечно... Чем рванее, тем лучше.

До города дошла лишь половина выведенных на передовую. Другую всосали в себя лес и поля с неубранной кукурузой. На улицах солдаты смешались с беспорядочно мечущимися кучками горожан, искающих укрытия от бомб с воздуха. Кое-где уже горело. От высиявшегося на главной улице дома, принадлежавшего раньше первому богачу в городе, а теперь занятого обкомом партии, отваливали одна за другой разнокалиберные автомашины, то легкие эмки главков, то густо залепленные людьми и узлами грузовики. Перед горсоветом сваливали с дорог бочки ассенизационного обоза и спорили до драк за места. Потерявший фуражку милиционер махал наганом и визгливо матерился.

Растрапанная женщина с сухим от худобы интеллигентным лицом, вся запорошенная известковой пылью, почти несла повисшую у нее на плече очень похожую на нее девочку-подростка. Одна нога девочки волочилась и тянула по мостовой алу ленту свежей крови.

— Ах ты, беда какая! В колено аль повыше? — подхватил подростка под другую руку пожилой солдат в латах серых штанах. Будто и знакомая? Я плотником при театре состоял... Будто и видел когда. Ну, вы, гражданка, не волнуйтесь, доведем ее до горздрава, там перевяжут. До больницы-то далеко. Наверное, в горздраве из докторов кто-нибудь есть. Вот дела-то какие... Страсть!

Пулеметного огня, открытого немцами вслед бегущим, в городской суетке почти никто не услыхал. Его заглушали хрюпы и гудки автомашин, сталкивавшихся с вырывавшимися из боковых улиц подводами, ругань шоферов и подводчиков.

Потом центральные улицы разом опустели. Лишь кое-где выскакивавшие из домов люди торопливо заволакивали во дворы валявшихся на улице раненых. Здесь их было немного, но перед вокзалом, у каменных столбов, на которых некогда гордо красовались двуглавые орлы, прямо на мостовой лежал целый ряд. Два врача — стариk в старорежимных золотых очках и другой, молодой, в одной майке, с обнаженными жилистыми руками, торопясь, обматывали бинтами раны, не смывая крови и прилипшей земли, — воды не было. Брезентовая сумка с красным крестом торчала углом из кучи выпавших на мостовую марлевых катышей.

От главной городской аптеки, петляя зигзагами по аллее бульвара, ковылял Володька. В каждой руке у него было по полному, поблескивавшему на солнце ведру.

— Не зевай! — орал он на обе стороны. — Успевай! Там его всего две бутыли, ведер на пять в каждой... С собой увезли сволочи! Пользуйся, кто успеет!

Из магазинов тоже что-то тащили: одни выволакивали ящики, другие сыпали сахар и муку в захваченные из дому мешки, а неудачники просто рассовывали по карманам, что под руку попадется.

— Сахару-то, сахару-то, прямо горой в «закрытом»! — кричала грудастая баба в окно полуподвала. — Нюська, Нюська, ты подушки вытряхни, а наволочки мне давай! Ну, чего стала? — заглянула она в окно, став на четвереньки.

От бывших Архиерейских прудов, по крутыму подъему, медленно и уверенно похрипывая, скребя мостовую гусеницей, выполз алый пятнистый, как саламандра, танк. Его башня была закрыта и сквозь прорезы виднелись чьи-то глаза. За ним, метрах в пятидесяти, полз другой с открытым люком, на борту которого сидел офицер в серозеленой куртке с серебряными жгутовыми погонами. Он курил и помахивал дымящейся в мундштуке сигаретой выглядывавшим из ворот девушки.



Тавричанин Демин, строивший хутор — теперь учебное хозяйство зооинститута, — был хотя и малограмотным, но дошлым. Широкие планы рождались в его чубатой, вихрастой голове — стригся он сам овечьими ножницами перед осколком мутного базарного зеркальца.

— В городу-то за это баловство пятиалтынный отдай, а нам зеркала и ладиколоны ни к чему.

Свою усадьбу он поставил на развилке дороги, шедшей от города на восток. От него к пригороду, сохранившему еще от суворовских времен название «форштадт», шла одна широкая дорога. К востоку же, в глубь хлебородной степной целины — две: одна к непролазным горным лесам Зеленчука, другая к долинам бурного Терека.

— И с одной и с другой стороны на базар подвоз пойдет, — рассуждал Демин, — меня ни одна подвода не минует. Не зевай только, хотя бы и при малой наличности. Назад, кто не расторговался, опять через меня. Значит, за полцены отдавать будут, податься некуда, как лещу в вентиле.

Через несколько минут после донесшейся из города пулеметной очереди примолкший и еще теснее сгрудившийся табунок на дворе учхоза услышал фырканье нескольких быстро приближавшихся автомашин.

— Авангард социализма на полном газе пошел, — прислушался Середа и, широко размахивая вихлястыми, как цепы, руками, почти бегом ринулся к развилку дороги. — Надо поглядеть, кто парадом командует.

Вслед за ним из дверей конторы выскочил директор учхоза и парторг, оба с того набитыми портфелями. Жена парторга протолкалась из табунчика локтями и побежала за ним к конюшне.

— Вася! Васенька! — заливчато причитала она на ходу тонким голосом. — Васенька, может и мне с тобой?

— А коров на кого оставишь? — злобно прокричала ей из толпы худая, иссохшая женщина, совавшая такую же иссохшую, вислую, с синими жилками грудь в писклявый сверток тряпья.
— Две у нее теперича: своя и дилекторова. Ей оставляет.

— Кладовщик, ключ давай! — кричал от амбара сам директор, в то время как парторг выводил из конюшни запряженную в тачанку пару.

— Под сало подкапывается. Там его с полцентнера набрано, — зашуршали вокруг румяного кладовщика, — не давай, не давай ключа!

Сам он, стоявший в первом ряду толпы, попятился и юркнул в гущу.

От амбара отлетел смачный мат, и вслед за ним зазвучали глухие удары.

— Камнем замок сшибает. Чего глядишь, кладовщик? Твоя обязанность, Евстигнейч! Ты амбару сторож! Чего смотрите?

— У него наган. Вот тебе и чего! — огрызнулся кладовщик. Тачанка мягко прошуршала по накатаному двору и скрылась за углом амбара.

— Обком в полном пленуме! — орал с края двора Середа. — Весь президиум налицо!

— Пойтить, посмотреть, — сам себе объявил Евстигнеич и вся толпа нестройно потянулась вслед за ним к развалке. Навстречу ей от города валили густые клубы пыли.

Теперь, вслед за автомашинами, шли подводы. Они двигались волной в несколько струй, катились и по дороге, и по неубранной жухлой кукурузе, обгоняли одна другую, сцеплялись упряжью и колесами. С возов падали мешки и узлы. Иногда с них же сваливались или сами спрыгивали люди, бежали рядом, давясь пылью и размахивая руками. На развалке волна разваливалась, растекалась на два русла и по обоим, один за другим, катились серые клубы пыли.

До хутора долетали отдельные выкрики и ругань. Запоздалые автомашины, отчаявшись распугать толпу подвод ревом сирен, сворачивали в обход по кукурузе и фыркали в ней, обматывая колеса бахромой сухих будыльев.

— Поспешают очень, а куда? Это самим не известно, — рассуждал вслух Евстигнеич. — Война теперь такая, что повсюду достает. Ничего положительного установить невозможно.

— Подперло под печеньку — тут тебе и вся установка! Хошь не хошь, а беги, — бросил ему в ответ Середа.

На дороге завиднелись пешие одиночки. Изредка с узлами и мешками за спиной, но больше без клади, в какой-то смешанной, полувоенной одежде: на плечах пиджак или распоясанная блузатолстовка, а под ней защитные полинялые штаны, обмотки, стоптанные брезентовые «танки». Редко кто в форме, с винтовкой. Такие больше в ладных гимнастерках, с темными квадратами от сорванных петлиц на воротниках.

— Вот они и главные силы идут, — рассмотрел в клубах пыли Середа быстро подвигавшуюся колону всадников. — Эскадрон войск НКВД во взводной колоне... и в порядке даже... справа по три идут...

Шедшая рысью плотная колона всадников разваливала на обе стороны толпу пешеходов, как лемех плуга рыхлую пашню. Эскадрон двигался без окриков, но даже запоздалые одиночные подводы, увидев его приближение, сами переваливали с дороги на комоватую степную залежь.

Мутный людской поток стал заметно редеть. Подводы на сморенных, с набитыми холками лошадях тащились теперь по-одиночке. На них сидели мелкие партийцы, часть которых Брянцев знал в лицо.

«Неудачники. И здесь в хвосте плетутся», — подумал он и, словно угадав его мысль, на нее ответил Евстигнеич:

— Я эфтих коней знаю. Они с ветеринарного пункта. Ихний лазаретный выпас в овраге, как от фурштата к нам итти. На таких конях далеко не уедешь. Значит, и здесь опять кому что достанется.

Солнце стояло еще высоко, но дорога уже опустела. Волна беженцев спала. Теперь и одинокие пешеходы двигались редкими, разрозненными группами, по три-четыре человека.

— Немного народа из городу-то ушло, — сделал свой вывод Евстигнеич, — какое-никакое, а у каждого свое добро есть. Куда от него итти? Ну, разве что петля на шее, тогда — ясно-понятно — все для своего спасения покинешь.

Последней по улегшейся пыли дороги протянулась короткая цепочка раненых.

— Один, два... шесть, семь... Семеро явно из лазарета плетутся, видите — перевязанные, — посчитал Миша, — а последний хромает.

Этот, шедший последним, завернул к хутору, проковылял волоча больную ногу по колючему буряну и, не дойдя до примолкшей толпы, сел прямо на землю.

— Пить кто-нибудь принесите... — махнул он рукой. — Смерть горло пересохло.

Две женщины тотчас побежали за водой. Остальные придвигнулись к раненому и окружили его плотным кольцом. Все молчали. Молчал и сидевший в буряне, размазывая по лицу пыль и пот рукавом накинутой на больничное белье шинели.

— С лазарета, мил-человек? — нарушил молчание Евстигнеич.
— Нога, значит, у тебя повреждена? — кивнул он бородкой на торчавшую из закоруздлого ботинка грязную марлю. — Трудновато тебе итти-то. Неужто и повозок вам не доставили? Лазарету, значит, как полагается...

Раненый безучастно и как будто даже бессмысленно, словно не поняв вопроса, уставился поверх головы старика и вдруг его изжелта бледное, по-больничному отекшее лицо перекосила судорога нестерпимой для него самого злобы.

— мать их в гроб, в переносицу! — бессмысленно выругался он и, привстав из буряна, набросился на Евстиг-

неича. Злоба душила его, и он выплевывал все новые и новые ругательства: — Повозки? Повозки, говоришь? Они под начальство, под политрукову свинью пошли... Вот куда! Няньки, сестры — все к чертям разбежались. Одна докторша-девченка на все три этажа осталась. Вот как их мать Защитников родины... — задыхался он сам клоочущей в горле ненавистью. Выхватил из бурьяна ком сухой земли и шваркнул его в стенку сарая. — Вот как... в черта... в гроб !..

Подбежавшая женщина сунула ему жестянную кружку и он, заливая водой отросшую бороду, давясь и хлюпая, жадно осушил ее до дна.

— Еще дай! — потянулся он к другой принесенной чашке. — Еще !.. Смерть, как пить хотца... С утра с самого... дьяволы... пропаду нет на них!

В городе снова глох и раскатисто ухнуло. Середа и Мишка отбежали от сарая на пригородок. Оттуда весь город был виден вплоть до отдельных домов и улиц. Стрельбы уже не было слышно, но густо клубилось несколько раскидистых дымовых кустов, а над ними ширил в стороны черные ветви высокий ствол густого черного дыма. Он рос на глазах.

— Самолетов не видно. Опять же бить ему теперь не к чему, раз город его, а ударил? — озадаченно произнес Середа. — И показывается будто на Гулиеву мельницу.

— Не ударил, а взорвана она! — выкрикнул Мишка, но его слов не рассыпал даже Середа. Их заглушил гул второго сильного взрыва. Рядом с первым густым столбом стал расти второй, несколько ближе к догоравшим уже нефтехранилищам.

— Так и есть! — стукнул себя в бедра сжатыми кулаками Мишка. — Выполнили все-таки задание партии: элеватор взорвали! — тряхнул он за плечо Середу. — Элеватор и мельницу — муку и зерно... Таково было задание.

— По радио, значит, «братья и сестры», — хрюпел, повернувшись к толпе Середа, — а в практическом применении этим самым братьям и сестрам без хлеба теперь сдыхать! Эх, сволочь!..

Ольга Анстей

Родилась и жила до войны в Киеве. Стихи пишет давно, но печататься стала только за рубежом. С 1946 года ее стихи печатались в журналах «Возрождение», «Опыты», «Границы», в «Новом журнале» и в других изданиях. В 1949 году, в Мюнхене, вышел сборник «Дверь в стене», в который вошло много ранних стихов.

Э Т О

«Что же мне делать, слепцу и пасынку?»
Мария Цветаева

Так-то вот у пасынков, у нас,
Подмастерьев рифменного цеха,
Для которых домом стал Парнас...

Людям нормы это — не помеха,
Это им удобный нивелир
Для пищеварения и смеха,

Это остро-пахнущий гарнir
К пресным дням. А нам, с чудным покроем,
Нам вот этим тмится пестрый мир!

Нам, растяпам — избранным — изгоям —
Нам нельзя! Войдя в заветный грот,
Рвем со слухом, зрением, покоем!

Душная повязка веки жжет,
Всё под грозовою пеленою,
Песенный пересыхает рот,

Дни, дела уходят стороною
Вдали, не попадая в объектив...
Мыслью пригвождаемы одною,

Всё и всем заранее простив,
Мы идем все истовей и тише,
Руки, как причастники, скрестив,

Как лунатики, по краю крыши,
Узкой тропкой в обреченный сад.
Уже, уже, обморочней выше —

И дороги нет назад.



К твоим прикрытым ставням,
К барабанной шаткой дверце
В паломничестве давнем
Стоптало туфли сердце.

Сама сижу, не двинусь:
Туда мне нет дороги.
Не подбегу, не кинусь —
Окаменеют ноги.

В разлуке леденею.
И встречу — не оттаю.
Сама пойти не смею,
А сердце посылаю.

Узнать, как спишь, чем дышишь,
Что думаешь, что куришь,
Какую строчку пишешь,
Кого в уста целуешь.

К дверям твоим заветным,
Когда огни потухли,
Посланцем незаметным
Стоптало сердце туфли.



Было утро первозданных теней.
Крик стрижей, вдали колокола.
На впервые содранном колене
Первая царапинка была.

И склоняясь, ходить меня учила
В этом утре шумно-золотом
Стойная провидица — Сивилла
С темной родинкой над чистым ртом.

В злых потемках щупаю дорогу.
Но, как каждый — скоро! знаю, жду —
К краю света — к страшному порогу
С дрожью и надеждою приду.

И внезапно будет все, как было,
Отряхнется накиль мертвых лет,
И седая, светлая Сивилла
Поведет в сереющий рассвет.



С отроческих истоков,
С первых робких азов,
От вздохов — полунамеков
Усиляясь во внятный зов,

Огромным разливом Нила
Затопляя жизнь и тетрадь —
Любовь всегда приходила
Такая, чтоб умирать.

Чтоб горько-соленой бороздкой
Слезы ко рту текли,
Чтоб губами касаться жесткой,
Пересохшей от мук земли.

Ощупью, как слепая,
Медленно, как рассвет,
Из глубины вскипая
Старым страданьям вслед,

Без духоты и срыва
Эта любовь пришла,
Такая, чтоб молчаливо
Смотреть на Божьи дела,

Чтобы вбирать, как ребенок,
Краски и звуки извне,
Чтоб улыбнуться спросонок
Зайчику на стене,

Чтоб синицам, спорхнувшим с веток,
Хлебца в окно покрошить.
Любовь пришла напоследок
Такая, чтоб жить. Жить!

ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА

Наслоились, застыли лавой
Города, морщинки, стихи...
Но не стихла боль. Боже правый!
Выдыхаются же духи,

Чай с годами теряет крепость,
Выцветают краски ковра!
Почему же такая нелепость,
Что попрежнему боль остра?

И предчувствие злое шепчет:
Видно, так до предела дней
Будет старая боль все крепче,
Концентрированней, сильней,

Как хранимой в углу комода
Под притертой пробкою иод,
Что свирепее год от года
Ранки щиплет и в ноздри бьет!

ВЕЧЕР — КНИГА МОЯ

(Из Рейнер Мария Рильке)

В парче пурпурной переплета
Мой вечер: книга он моя.
Ее застежек позолоту
Не спешно отгибаю я.

Читаю первую страницу,
В ней мир и радость нахожу;
Вторую тише я твержу,
А третья — третья мне уж снится.

БОГОРОДИЦА МЕТЕТ

Богородица Илье выговаривала:
— Ты бы, дед, хоть за собой прибраг!
Нужно же было так намусорить!
Ты что натворил в свой именинный день?
Небо все коробом, в колдобинах,
Тучу на тучу повалял, да и бросил так.
На-ка метлу, повымети.

Илья с похмелья супится,
Ничего не говорит, с-подо лба глядит.
Махнул рукой да прочь пошел:
Пошел громы в ящики складывать.

Заглянула в святцы Богородица —
Кого позвать, кто поближе всех?
Зовет братанов, двух лыцарей:
— Глеб и Бориско, ступайте сюда
Поубирать на небе, повымети!

Замотали чубами Борис и Глеб:
— Мы воины, Мати, мы латники!
Нам с секирой удобно и с палицей,
А с метлой неспособно управиться.

Послюнила пальчик Богородица,
Дальше по святцам заглядывает.
— Магдалина! — кличет, — будь помошница!
Возьми метлу да повымети.

— Госпоже! Я завтра именинница,
Оттого я, Госпоже, прикрасавилась:
В левую ручку кувшин с миром взяла,
Тот кувшинчик — алавастр называется!
В правую ручку взяла крашаночку,
Ту, что подала на Пасху кесарю...
Вот и обе руки мои заняты!

Тихонько вздохнула Богородица.
Никого не попросила, взяла метлу.
Белый тихий след пошел по небу.
Чисто небо метеет Пречистая.

Будет погода.



Б. Филиппов

Борис Андреевич Филиппов родился в Ставрополе в 1905 году. Окончил в Ленинграде Восточный институт и (вечерний) Институт Промышленного Строительства; много писал и издавал специальных статей и исследований. В литературе (с большими перерывами) — с 1924 года, когда вышла первая книжка стихов. Трижды подвергался арестам по обвинению в контрреволюционной деятельности и с 1936 по 1941 год отбывал заключение в Ухто-Печорском лагере НКВД. Война застала в Новгороде; далее идет обычная судьба «перемещенного лица». Издания: «Град невидимый», стихи (1944), повесть «Юность» (1944), сборник «Кресты и перекрестья» (1957), откуда заимствован приводимый ниже рассказ.

ДУХОВАЯ КАПЕЛЛА КУРТА ПЕРЦЕЛЯ

Если играть на засурдиненном Эс-кларнете, звук получается трогательно-детский, наивный и нахально-визгливый при этом. Он чрезвычайно подходит для сольной партии в попури из немецких детских народных песенок, исполняемых духовой капеллой Курта Пёрцеля. Курт знает это и никому не уступает кларнетной сольной партии. Когда он повизгивает на коротком кларнете с огромной грушей сурдины в раструбе инструмента какую-нибудь «Лорелею», — Карл Иодль аккомпанирует ему на баритоне, а старый Фриц Любке играет роль органного пункта, выдувая отчаянно-низкие хриплые ноты из своей начищенной до солнечного блеска геликон-тубы. Остальной оркестр гибко подигрывает им, а лысый хромой Ганс Герман так равнодушно выстукивает на большом барабане такт, так отчаянно бьет в тарелки, так сентиментально вызывает на треугольнике, что опившиеся дурным пивом посетители ресторана вскидывают плечами и, подняв палец, шепчут: «вундершён!» Сам Курт Пёрцель, повернувшись к оркестру спиной, кланяется публике своим визгливым инструментом, раскачивается на пританцовывающих волосатых ногах в коротких баварских кожаных штанах, вихляет задом, и всем своим телом дирижирует капеллой. Ка-

пелла большая, человек в тридцать, и все они немолоды, самому юному из музыкантов больше сорока, а у многих лысые черепа лишь по краям как бы заклеены двумя-тремя прядями седых волос. Весь оркестр — в баварских крестьянских костюмах — коротких кожаных штанах, засаленных, как подсказывает приличие, и вышитых, как подсказывает фантазия. Белые чистейшие накрахмаленные рубашки, заправленные в штаны, кожаные помочи с овальной, кожаной же, расшитой многоцветным узором соединительной бляхой на груди, черные пропотевшие около лент шляпы с высоченными белыми перьями...

Сидит на камне Лорелей
И чешет гребнем волоса...

Где я в последний раз видел эту Лорелею? Ах, да! Я видел ее в окне лучшей парикмахерской одного франконского городка. Стекло огромного окна горело на солнце кроваво-красными, фиолетовыми, синими и густыми зелеными тонами. На сиренево-зеленой скале оконного сказания сидела пышнотелая Лорелей и расчесывала золотую гриву волос. А над маленьким алым солнцем, наполовину окунувшимся уже в мутно-зеленую воду баллады, стоял в легком челноке коричнево-розовый юноша рыбак, зачарованный стеклянной песней немецкой сирены:

Рыбак себя не пожалеет —
Чарует русая коса...

Чем-то неуловимым Курт Пёрцель, сильно потраченный жизнью пятидесятилетний крепыш, напоминает, этого юного рыбака... А может быть, еще кого-то?

Как смешён Карл Иодль! Все зовут его фельдмаршалом, и Иодль не обижается. Он вообще мирного нрава, и обидеть его невозможно. У Иодля нет ни шеи, ни затылка. Круглая красная голова без единого волосика, с багровыми щеками и малиновыми жилками на мешках под маленькими блеклыми глазами какого-то неопределенного цвета, — эта голова насажена прямо на столь же круглый торс, из которого чуть выпущены толстые окорока коротышек-ног. Ни талии, ни спины, ни груди, ни живота: сплошное брюхо: фигура, как бы специально приспособленная для выдувания на барitone мощной звуковой волны, — и когда Иодль тянется брызжущими слюной губами к своему инструменту, вы чувствуете их неслиянную нераздельность: инструмент ли врастает в Карла, или Карл выростает, как нарост на баритоне? — Да не все ли равно!..

Ах, берегись, рыбак, ундины! —
Не избежать тебе пучины...

Фриц Любке очень стар. Он носит, однако, начерненные до цвета воронова крыла усы, какие носил сам кайзер Вильгельм, за которого сражался он под Варшавой и Псковом. Кряжистый и упругий, он уверенно расставил свои круглые сизые колени и, оперев на них свою геликон-тубу, весь свирепо пузырится, рявкая и хрюпая —

Но песнь светла и широка,
Прекрасна белая рука...

-Дзы-дрынъ-дрынн-бумм-бумм! — Ганс Герман мог бы без грима играть Смерть в каком-нибудь баварском масленичном балагане. Почему это так бывает, что ударники в оркестре всегда имеют такой тощий, безнадежный и постный вид? Безразлично глядят на свет Божий бесцветные пустые глаза. Запал глубоко и безрадостно беззубый рот. Впалая грудь и втянутый живот. Чуть кривоватые волосатые костиистые ноги — все в мелкой сетке сосудов и с крупными желваками набухших вен. Сплошная мнимая величина, квадратный корень из минус единицы...

Кого мне напоминают эти оркестранты? — Вспомнил, наконец: в глухой псковской деревне Н. стоял отряд СС. Командир —oberшарфюрер Курт Пёрцель — был достаточно добродушным баварцем, исполнительным, хорошим службистом. Он был ефрейтором еще в конце первой мировой войны, и часто щутил со своим писарем Фрицем Любке, земляком и даже односельчанином:

— Фриц, Фюрер также начал свою карьеру в чине ефрейтора, — на что Любке отвечал, закручивая свои вильгельмовские усы:

— Желаю и вам, господин oberшарфюрер, такой же карьеры!

Оба весело хохотали, а переводчик Карл Иодль прибавлял, подмигнув обоим и хлопнув себя по уемистому чреву, скжатому, как тисками, кожаным поясом с бляхой, изрекавшей «Верность — моя честь»:

— А не прикажет ли наш oberшарфюрер поставить — по этому случаю — бутылочку шнапса?

И шнапс чаще всего появлялся на столе.

О политике никто из них не говорил ничего или почти ничего. Надоело. Да и изверились. Все они побывали и под Ленин-

градом, и в боях за Кубанское предмостное укрепление. Только иногда Пёрцель задумчиво барабанил пальцами по окну, вполголоса мурлыкая Фрицу Любке:

— Богатая, хорошая земля... И бабы здесь хорошие, красивые, крепкие, веселые... Знаешь, Фриц, как зовут мою подружку? Ее имя совсем как твое: Любке... Она жена русскогоunter-офицера и очень хорошая женщина. Если бы не раса...--

И он настороженно замолкал. А Любке продолжал глядеть в маленькое окно избы с пузырчатыми стеклами, за которыми догорал закат. И необозимая равнина, перерезанная рекой в зеленеющих уже берегах, манила, звала, тревожила душу чем-то непривычным, незнаемым. И Любке цедил сквозь зубы:

— После окончания войны хорошо бы получить вот именно здесь обещанное поместье, переехать сюда со всей семьей, осесть в этой богатой дикой стране... А какая здесь ширь! Никаких гор, а земля-то хороша как!

Когда Пёрцель бывал дома, он любил возиться с трехлетним мальчиком своей подруги Любы. Мальчишка уже довольно хорошо лопотал по-немецки, и вся команда перекрестила его из Вовки в Петера:

— Так будет лучше... Петер, хочешь бонбон?

Баловали его все, да и вообще деревенским ребятишкам перепадала от тоскующих по дому и родным бабам солдат не малая доля сластей и вкусных вещей. А Пёрцель носился по избе с Петером на руках, носил его на шее, качал, подбрасывал, подпевая:

Сидит на камне Лорелей
И чешет гребнем волоса...

С Любой Курт жил душа в душу. Хозяйственная, положительная, рослая и полнотелая солдатка немного научилась говорить «по-германски», не признавая только никаких падежей и спряжений, а Пёрцель старательно заучивал по «шпрахфюреру» «русские слова и выражения, особенно солдату необходимые»:

— Любка, пойдем шляфен...

— Никс гут, Куртик, зо фри: камрады ин хауз зйтить могут...

Люба обстиривала, обшивала Курта, кормила его вкусными русскими блюдами, переваривая и пережаривая на свой лад скучное казенное довольствие — с некоторыми туземными добавлениями. И никто в деревне не осуждал ее, ибо многие и

очень многие бабы и девушки обзавелись уже немецкими камрадами и даже имели от них ребят или готовились стать матерями. Люба тоже уже несколько месяцев носила в себе маленького Вилли или Фрица.

Как-то, беспорядочно и безуспешно обстреливаемый немецкими зенитками, над деревней пролетел советский самолет, успевший сбросить что-то странное. Когда разбежавшиеся было в панике солдаты и мужики снова собрались на улице перед недавно восстановленной церковью, они, — сначала боязливо, затем осторожно, а потом всё смелее и смелее, — стали подходить к небольшому разбившемуся вдребезги ящику, и обнаружили целую пачку свиальныхников, пеленок и подгузничков с надписью на русском и немецком языках: «Русским бабам для их немецких ублюдков»...

Мужики и солдаты захохотали — кто и не очень весело, — а бабы пригорюнились и всплакнули. Понахмурился и Пёрцель: он не верил, что его Аннализе дождется его с войны с безгрешным лоном. Разве только скинет разок-другой...

— Ну, чего нахмурилась, — буркнул он Любке: — мужа, что ли, вспомнила?! — И уже враждебно посмотрел на нее: — Все вы, бабы, слабы на этот счет...

— Не тебе бы, Курт, меня попрекать...

— Ну, ладно...

Вечером за шнапсом собирались Пёрцель, Любке и Иодль. Все хмуро пили водку и отмахивались от Любы, предлагавшей гостям закуску.

— А они все-таки правы, эти русские свиньи-летчики... Мужчины воюют, а бабы забавляются. Кто с врагами, кто с пленными. Не дело это...

— А как без этого проживешь? Мы — солдаты, а не монахи, — подмигнул «фельдмаршал» Иодль.

Но веселая попойка так и не ладилась. Выручили вкусные любины кокорки, обильно заправленные салом, да и сама она, веселая, румяная, круглая. Как всегда бывает с веселыми и жизнерадостными русскими людьми, она для подъема настроения запела протяжную унылую русскую песню. Голос был у нее хриповатый, немного резкий, но верный. Затем, подойдя к раскричавшемуся Вовке-Петеру, она запела детскую песенку:

Пошла девка-семилетка
В сыр-древучий лес гулять...

Солдаты развеселились, подозвали бабу с малышом — и каждый сунул Бовке тюбик немецких конфет-колечек — эфемерных и с пронзительным химическим вкусом, но радостно-пестрых. А Курт Пёрцель, обхватив Любку пониже талии и подсадив Петера на колено, запел свою излюбленную Лорелею...

Недели через две толстый переводчик Иодль допрашивал мужика, обвинявшегося в сношениях с партизанами. Иодль очень плохо знал тот смешной польско-украинский жаргон, которым говорят галичане, искренне считающие его «литературным украинским языком». Для псковского же мужика, не мигая смотревшего на допрашивавшего толстяка, этот жаргон был абсолютно непонятен.

— Он упорно запирается... скрывает правду. Я заставлю его говорить, Ганс! А ну-ка, ударь его еще разок по ребрам!

И тощий, равнодушный Ганс Герман флегматично ударял мужика по бокам, бил без злобы, без ожесточения, — по службе и долгу солдата.

Вешали мужика в сумерки у церковных ворот, согнав всю деревню на показательную казнь. Вешали его Герман и валторнист опереточной труппы откуда-то из Верхней Баварии — синеглазый плотный мужчина, хорошо и ладно скроенный и достаточно интеллигентный. Он сильно интересовался Россией, читал в немецких переводах «Войну и мир» и романы Мережковского.

Район был объявлен партизанским, и отряду было поручено — для устрашения населения — произвести экзекуцию в нескольких селах и деревнях. Всё взрослое население в них было разделено на несколько категорий: трудоспособные отправлялись на оборонные работы в Германию, в особо-режимные оставочные лагеря; часть мужчин и всё нетрудоспособное население должно было быть сожжено вместе со своими домами; всё имущество и скот реквизировались, а дети до шестилетнего возраста отбирались и отправлялись «для сортировки» в Ригу... В число подлежащих примерной экзекуции деревень попала и деревня, где стоял отрядик обершарфюрера Пёрцеля.

Тяжело было Пёрцелю, ох, как тяжело! Но — приказ есть приказ! Его надо исполнять, ибо что было бы с великой армией и всем народом, всей его страной, если бы не исполнялись приказы, исходящие, в конечном счете, от самого фюрера?! Под конец Курт не выдержал и — под великим секретом — сообщил о предстоящем своей Любке:

— Беги. Только молчи, пожалуйста, — и он два раза обнял неподвижно остановившуюся с открытым ртом бабу, но так и не решился ее поцеловать. Вовке-Петеру он подарил шоколадку и несколько раз поцеловал его:

— И у меня в деревне растет такой малыш... Только на восемь месяцев старше...

Через четверть часа вся деревня знала о приказе. Кое-кто успел ускользнуть, но большинство, движимое алчностью к горбом нажитому добру, осталось...

Вначале нехотя, с отвращением, приступили солдаты к окружению деревни. Помогал отряд латышских эсэсовцев, мстивших псковским мужикам за своих родственников, угнанных в приполярье и Сибирь. По мере того, как загорались одна за другой избы — вместе с загнанными в них мужиками, подозрительными или нетрудоспособными, — росли ожесточение и какой-то азарт точного исполнения приказа. Выволакивали девок, часто своих вчерашних подруг, выхватывали парней и баб — под конвоем гнали их к грузовикам, а погрузив на пятитонки, везли к теплушкам, чтобы гнать их дальше на Запад. Многих же загоняли прикладами и штыками в горящие дома, били, стреляли и зверели всё больше и больше. И лишь хмурый Ганс Герман сделал вид, что ничего не замечает, когда у него из-под носа ушли какой-то статный парень со ссадиной на лбу и молодайка с девчонкой-двуухлеткой на руках.

Ушла ли Любка? Унесла ли она Петера? Пёрцель старался не думать об этом. Было как-то странно: так чувствуют себя после большой любовной неудачи...

Любке же, так странно напоминавший своим именем возлюбленную Курта, был страшен: он с раздувшимися ноздрями и с какими-то сладострастными огоньками в глазах носился от одной горящей избы к другой...

Потом грузили детей. Нет, Петера-Вовки среди них не было. А один из мальчуганов, маленький, щуплый, конопатый, рассказывал переводчику Иодлю, не слушавшему, да и не понимавшему мальчишку:

— Мамку отправили в Ерманию, баушку сожгли: она ведь работать уже не может...

Сидит на камне Лорелая
И чешет гребнем волоса...

Все посетители ресторана приподнялись со своих мест. Курт Пёрцель оставил свой кларнет. В его руках дирижерская палочка. Плыущие, подпрыгивающие, задорные звуки лендлера. Из оркестра выходят три пары: три немолодых баварки в крестьянских костюмах: красных мелкосборчатых с черной оторочкой юбках, раздувающихся клешем, в белых нитяных домо-дельных чулках и белых панталонах в несколько кружевных этажей, видных зрителям во время вихревого кружения; три баварца от пятидесяти до шестидесяти лет, не меньше. Они хлопают себя ладонями по коленам, по заду, по подошвам грубых башмаков. Они обнимают своих партнерш то спереди, то сбоку, то сзади, вертят их на вытянутых вперед руках, подскакивают к ним сбоку и лихо целуют в висок или лоб...

Ганс Герман уныло стучит в большой барабан. Он не так давно вернулся из русского плена. Страдал там, главным образом, из-за отсутствия известий из дома. И не нашел своей деревни. В соседней деревне ему сообщили, что от его деревни не уцелело ничего — она была начисто снесена налетом американцев. В живых осталась только, может быть, Траути, жена капитенармуса их части, еще томящегося где-то в Сибири. Но она уже родила двух негритят и работает на кухне у негров.

Рыбак себя не пожалеет —
Чарует русая коса...

В парикмахерской, где в окне пела русокудрая Лорелея, мастер, подстригавший меня, тоже был в русском плену. По моему акценту он мигом опознал во мне русского. И даже обрадовался:

— О, какая хорошая страна! Но не одни мы виноваты в этой войне.

— Конечно, не только немцы.

— Да, виноват — международный империализм. И наш, и советский, и капитал Америки, Англии...

Мне стало скучно.

...А оркестр опять заиграл детские песенки, но солировал уже баритон — толстый Иодль, выдувавший такие причудливые арабески, что все слушатели в восторге шептали: «Вундершён!» ...



B. Юрасов

Владимир Юрасов родился в 1914 году. Окончив в Ростове-на Дону девятилетку, работал электриком на ряде крупных строек; позже (1932—1934) — прорабом Северной Верфи в Ленинграде. Учился на литературном факультете Ленинградского университета. В ежовщину был арестован и осужден на 10 лет. С 1938 по 1941 г. сидел в Сегежлаге, в Карелии. В начале войны бежал из заключения. Будучи мобилизован в армию, служил в конце войны, в чине подполковника, в Штабе тыла 1-го Белорусского фронта, по окончании войны — в Советской Военной Администрации в Германии. В 1947 г. ушел на Запад. С

1951 г. живет в США. Сотрудничал в немецкой, французской и швейцарской прессе, печатается в ряде крупных американских журналов. Опубликовал роман «Враг народа», первую часть задуманной трилогии «По обе стороны» (отрывки из нее приводятся ниже). Издательство им. Чехова выпустило также его книгу солдатского фольклора «Василий Теркин после войны». В 1958 г. вышла книга В. Юрасова «Просветы» (изд-во ЦОПЭ).

ПО ОБЕ СТОРОНЫ

У входа на платформу стояла тысячная толпа, оттесняемая милиционерами. Все это должно было ринуться, как только подадут поезд. Федор стоял в нерешительности. Проходивший мимо железнодорожник посмотрел на него и раздраженно, как показалось Федору, заметил:

— Вам-то, товарищ майор, зачем лезть? Когда уляжется, тогда и проходите — офицерские места нумерованы!

Из боковой двери вокзального здания торопливо вышла группа милиционеров и железнодорожников. Они заняли проходы к соседней платформе.

Подошел запыхавшийся паровоз. Пассажиры высаживали из вагонов, старались пробраться ближе к выходам, где милиционеры и контролеры уже проверяли паспорта, пропуска, командировочные. Некоторых пассажиров задерживали и куда-то уводили. Москва!

Вскоре подали поезд. Вагоны брали с боя. Кого-то придавили, кто-то кричал, плакали дети, визжали женщины...

В офицерском отделении вагона было пусто. Электричества не было, горели свечи. Федору досталось место в двухместном купе. Он снянул сапоги и полез на верхнюю полку. Ни белья, ни матраца не было. Положил чемодан под голову, укрылся шинелью и стал думать, что будет делать дома. За окном бегали люди, просились в вагон, кондуктор однотонно говорил: «войинский». Крикнул женский голос: «Чтоб им пусто было, этим лейтенантам!».

Потом все смешалось: шум моторов самолета, лицо старого генерала, вокзальные толпы, милиционеры, лицо Сони, крики за окном... Отхода поезда Федор уже не слышал.

Проснулся он от боли в спине. Мерно стучали колеса. Светило. Внизу хралел, укрывшись с головой шинелью с интендантскими подполковниччьими погонами, какой-то толстяк.

За окном в сером утреннем свете плыли снежные, уходящие до горизонта поля. Пронесся сожженный полустанок, и снова низкое темное небо и мертвые поля.

Глядя на них, Федор чувствовал, что он дома. Чем-то бесконечно родным повеяло на него от этой безрадостной картины зимних полей.

Он закурил и подвинулся к окну. Метрах в ста от полотна шла проселочная дорога. Мимо проплыла, отчетливая на снегу, группа — лошадь, сани и фигура в полушибке. Казалось, лошадь и человек шли не вперед, а назад. Когда они остались позади, Федор все еще видел на фоне бескрайнего снежного поля клячонку с понурой головой и человека, глядящего на поезд.

Мелькали сожженные полустанки и станции, бабы, укутанные в огромные платки, с кувшинами в кошелках, вороны на дорогах, поля и снег без конца, без края.

Полковник ехал в Крым лечиться от «одышки», как он говорил. Был он веселый, плутоватый, сыпал анекдотами и все приговаривал: «а мы его осторожненько за ушко да на солнышко». О своих болезнях — «одышке» и какой-то «контузии» — говорил так, будто они доставляли ему удовольствие. Вещей с ним было много, Федор даже удивился, зачем они ему в санатории.

— Э, батенька, да ведь в Крыму ничего нет — ни мануфактуры, ни трикотажа, ни обуви! Я и подлечусь, и времени даром не потеряю, — и хитро подмигнул Федору.

К обеду он стал надоедать, и Федор обрадовался, когда услышал, как тот договаривался в коридоре с кем-то из пассажиров «сгнить вечерком пулечку».

Федор пытался собраться с мыслями о предстоящем. Все было неясно — даже представить Соню арестованной он не мог.

Взял со столика книгу — подполковник ее вынул из чехола еще утром. «Краткий курс истории ВКП(б)» — это было неожиданно и неподхоже на толстяка. Федор засмеялся.

Тот заметил снизу:

— Правильно, майор! Надо на зубок знать — без нее ходу нет, — и смеяясь, добавил: — везде вожу с собой, но дальше двадцатой страницы никак не осваивается.

Вскоре подполковник ушел в соседнее купе играть в преферанс. Федор достал Блока, но читать не хотелось, и он стал смотреть в окно.

Мягко проносились, отсчитывая расстояние, телеграфные столбы, бежали, то поднимаясь, то опускаясь и перекрециваясь, провода, косматый шар солнца, разрывая чащу леса, несся за деревьями и, казалось, хотел обогнать поезд и забежать вперед.

Кто-то без стука открыл дверь.

— Подайте безногому, товарищ офицер!

Федор оглянулся — с высоты пояса на него пристально смотрели светлые с усмешкой глаза. На безногом была вышвившая гимнастерка с орденами «Славы» 1-й степени, «Красной Звезды» и медалями «За оборону Москвы» и «За оборону Сталинграда». В руках — деревяшки для опоры.

Федор смотрел на калеку, тот на Федора, у обоих в глазах росло узнавание.

— Седых... Ты? — первым опомнился Федор. Усмешка пропала, глаза сузились, и стали колючими.

— Так точно, товарищ гвардии майор Панин, бывший гвардии сержант Седых, собственной персоной. Наше вам с кисточкой!

Федор спрыгнул с полки и молча протянул руку. Калека посмотрел на руку, потом на лицо, снова на руку и, осторожно поставив на пол деревяшку, пожал грязными и сильными пальцами руку Федора:

— Привет, товарищ майор, если не шутите.

— Боже мой, Седых! Митя! Да входи же! — Какой-то офицер остановился в проходе у двери. Федор втащил безногого в купе и захлопнул дверь. Волнуясь и теряясь, помог ему сесть. Стал угощать папиросами.

— Как же, Митя? А? Сколько лет, и вот привелось...

Седых ловко закурил от спички, пустил кверху дым и посмотрел опять уже с усмешкой на Федора.

Федор знал эту усмешку нагловатых светлых глаз. Вот так же они смотрели на Федора, когда он под бешеным огнем немцев на берегу Березины приказал сержанту Митьке Седых, самому отчаянному головорезу в дивизии, переплыть на другой берег и подавить немецкий пулемет, не позволявший приступить к наведению переправы. Приказ посыпал сержанта на смерть. С этой усмешечкой в глазах Седых скрипнул зубами и, повернувшись без обычного «есть», с гранатами за поясом скрылся в камышах. Перез двадцать минут пулемет замолчал. И когда с мостом было кончено и на немецкий берег прошли танки, Федор написал рапорт о подвиге Седых. Сержанта нашли санитары раненым в ноги и увезли в тыл. Больше о нем Федор никогда не слышал.

— Вот она «Слава» где! — Седых ткнул грязным пальцем в белую звезду, потом на обрубки ног. От него разило самогоном. Он пошарил глазами по груди Федора:

— А я думал, вам «Героя» тогда дали.

— Какое там «Героя», Митя... Ты, наверное, мне никогда не простишь этого.

Седых сильно затянулся дымом и, наклонившись вперед, отчего, казалось, вот-вот упадет, с лицом, налившимся кровью, прохрепел:

— Что там вспоминать, товарищ майор! «Сегодня ты, а завтра я!» — еще хорошо, что только ноги, а сколько корешков приземлилось на том свете! Сначала психовал, а потом ничего — попал в цвет! Стал ездить и торговать по маленькой — деньжата завелись. В госпитале боялся — бабы любить не будут, а вышло наоборот, ноги тут не причем. Плохо — война кончилась: ребятки к женам с фронта прикатили, но на наш век и вдовушек хватит. Хуже другое — «товарищи» спуску стали не давать. Раньше едешь с чувалом барабахла, чтоб загнать, где подороже, — никакая зараза не прискипается! Чуть мильтон сунется в инвалидный вагон, мы его — костылями! До полусмерти долбали! А на базаре — за версту обходили лягавые нас! Теперь — крышка: засыпался с барабашником, ну и жана — три-пять лет! Хоть бы ты «Ленина» имел. Ордена теперь не защита.

Федор достал из чемодана бутылку коньяку и закуску. Седых засмеялся мальчишеским ртом, полным белых зубов.

— Точно, товарищ майор: «боевые друзья встречаются вновь»! Ему заметно нравилось говорить с Федором независимо, как с равным. Федору же хотелось сделать для Седых что-нибудь

такое, чтобы тот понял, что ему стыдно за его ноги и за свое неискаленное тело.

Русский человек неловкость часто прячет в вине. Скоро последовала вторая бутылка, а потом, на станции, Федор купил бутылку самогона.

— Куда же ты едешь, Митя?

— Домой.

— А дом где?

— Да везде! Куда ни приеду, там и дом. Везде жены-вдовушки, везде бедному калеке ласка обеспечена. Спасибо товарищу Сталину за вдовушек! Если бы, товарищ майор, не лягавые — жить было бы можно; а так стали после войны прижимать инвалидов. Если раньше били милицию мы — теперь милиция нас бьет. Да как бьет! За старое отыгрываются. Бьют, бьют, а потом — под монастырь, в лагерь. Хоть я «Сибири не боюся, Сибирь ведь тоже русская земля», но обидно, товарищ майор, — они, заразы, всю войну отсиживались по бабам, а теперь опять наверху! Дали бы мне «максим» — всех мильтонов перестрелял бы!

— Как же тогда без них? — усмехнулся Федор.

— В натуре, советской власти без мильтонов нельзя, на мильтонах и держится. Но наше время вернется, опять будем бить лягавых, и уже не одних мильтонов... Во второй не обдурят! Теперь — ученые.

— А разве инвалидам не дают пособий, не устраивают на легкую работу?

— Как же, дают, дают, товарищ майор. Дадут, догонят и еще раз дадут. Вот недавно в Одессе собралась бражка на костылях, да так накостыляла лягавым, что внутренние войска вызвали.

— Как же это?

— Да так, великая революция инвалидов в городе Одессе! — рассмеялся совсем не пьяный Седых, — схватили корешков, ну, и тю-тю, в лагеря. Рано еще. Сейчас надо по маленькой. Вот собираю милостыню — офицеры дают, вдовушки жалеют, — каждый день пьян и нос в табаке. Может, и пристану к какой зазнобе-молочнице — «Хорошо тому живется, кто с молочницей живет...»

Поезд подошел к какой-то большой станции и, стучая буферами, остановился. Седых глянул в окно, опрокинул в рот остаток самогона и заторопился:

— Моя. Спасибо, товарищ майор, за угощенье, за приятную встречу.

Федор подумал, дать ли Седых денег, но побоялся обидеть. Когда тот опустился на пол, решился и спросил:

— Может, тебе, Митя, нужны... деньги? Пожалуйста... Не обижайся...

Опять засмеялись глаза Седых:

— Нет, товарищ майор, со своих не берем. Желаю счастливого пути, — и падая на деревяшки в руках, сильно понес туловище. Федор пошел за ним.

В коридоре у выхода толпились офицеры.

— Дорогу инвалиду, товарищи офицеры, — весело кричал Седых и ловко двигался между сапогами.

Федор дошел с обрубком сержанта к выходу с перрона. Остановились.

— Прощай, Митя. Прости меня...

— Бог простит, как говорили бабушки, товарищ майор, вы то при чем! — и засмеявшись глазами, добавил: — А я все же пару червонцев у вас возьму и выпью за вас со своей Нюрочкой.

Федор, торопясь, достал из кармана гимнастерки смятую красную бумажку и сунул в протянутую руку.

На берегу Рейна, против железнодорожного моста с перебитым костяком, на нагретых солнцем бетонных площадках у мертвых пакгаузов было людно: вязали немки, играли дети, дремали с газетами в руках мужчины.

Справка УИНРА в кармане была контрмаркой, и Федор, расстелив пальто, положив портфель под голову, скоро уснул. Справка была фальшивая, но спроси полицейский — она давала основание возражать, возмущаться, требовать...

Разбудил Федора гутаперчевый мячик. Солнце стояло низко, тень от развалин, похожая на верблюда, загибалась к реке. Мячик принадлежал веснушчатому мальчику, которого звала собравшаяся уходить мать. И хотя Федора не звал никто, он стал собираться тоже.

Вокзал, особенно покупка билета, вернули оглядку — а вдруг спросят пропуск? Командировочное? То же повторилось и при входе на перрон.

В вагонах все места были заняты, как будто поезд шел не из самого Кёльна, а проездом. Федор стал в проходе, оставляя справа и слева одинаковые расстояния к выходам. К отхо-

ду поезд набился совсем по-советски. Отъехали в темноте — электричества не было.

Духота. Заплаканные стекла. Приливы и отливы света от проплыавших за окнами фонарей. Гул пассажиров. Ныли ноги. Хотелось сесть на пол — слева в проходе три женщины пристроились на чемоданах, парочка справа — на мешке... «Приверят документы или только билеты? Вещи, говорят, проверяют: борьба со спекуляцией — совсем, как наши мешочники». Громче всех говорил мужской кашляющий голос:

— Четыре дня ходил! Все вещи за рюкзак картофеля предлагал! Так и еду ни с чем. Без картофелины! А дома дети! Все карточки съедены! У-у, эти бауэры! Немецкий народ называется! Ничего, придет время — мы с этим «народом» посчитаемся!

«Так зреет революционная ситуация», — подумал Федор. Вспомнил лицо генерала Серова: «Революционность масс прямо пропорциональна росту населения». «Им, серовым, нужда нужна: отчаявшемуся человеку во время подсунутый коммунизм — универсальный выход из всех бед: озлобленный, он полезет и на рожон. Русские рабочие в гражданскую также ездили и ходили по деревням. Коллективизация была замешана на этих дрожжах мести рабочих крестьянам. А в эту войну колхозники гнали из деревень городских — помните, мол, как мы плакали в коллективизацию...»

Впервые после Функе Федор снова думал обобщениями. Переход от личного к общему происходил в нем всякий раз, как только утихомиривалось личное. Устраивалось с личным, — вылезала неустроенность в большом. «Не потому ли в Советском Союзе людей держать в непрестанном напряжении личной неустроенности?»

В темноте не до условностей. Федор положил на пол пальто, сложив его горкой, и сел.

До Франкфурта-на Майне поезд шел без остановок. Стук колес, гул голосов, кашель усиливались, затихали, но для Федора все было одной шумовой нотой — усыпляющей. Разбудила перемена шума — как если бы в оркестре с хором вдруг включилось неожиданное соло: шла проверка билетов. Приняв ее спросонья за проверку документов, Федор нацелился было пробиваться в противоположную сторону — без плана, просто бежать от проверки — каждая грозила провалом, но на дальней скамье, у фонаря проводника кого-то стали громко будить:

«Билеты, ваш билет!» — и смеялись. Рядом, справа, женский голос сказал:

— Вань, а, Вань! Билеты перевиряют.

— Та ты их куды сковала? — ответил мужской голос.

Федор едва дождался фонаря проводника. Лица соседей оказались до того с вои, что понадобилось усилие, чтоб тут же не заговорить. Как он не узнал земляков при посадке! Открытие уменьшило остроту первой встречи с человеком в форме.

Вагон разбуженно шумел. Зашуршала бумага пакетов — немцы жуют всегда и повсюду. Соседи тоже полезли в мешок. Общее оживление позволило Федору заговорить с ними.

— Сосед, нет ли у вас спички? — спросил он по-русски.

Ему ответила переставшая шуршать бумага. Потом с легким металлическим щелчком зажглась зажигалка.

— Прошу.

Прикуривая, Федор дал разглядеть себя.

— Спасибо! — Раскуривая сигарету, выдержал паузу: — Вы не знаете, когда мы приедем в Миттенвальд?

— Завтра по обиде. — Лаконичность ответов исключала продолжение разговора.

— Спасибо.

Соседи стали есть, запахло чесноком. Земляки! Об этой встрече он думал все эти дни, не подозревая, что все случится так просто. Решил не путать их и ждать, пока не возьмет верх вагонное соседство. С этой минуты он слушал только их: шуршала бумага, двигался мешок, мужчина несколько раз кашлянул, чем-то занятый. Вдруг Федор услышал шепот женщины:

— Дай ему...

Не успел он понять, что это относилось к нему, как мужчина тронул за плечо:

— Прошу пидкripиться.

Почувствовав в руке ломоть хлеба с куском колбасы, Федор чуть не расплакался. Переглотнув, громче, чем надо, сказал:

— Спасибо...

«Дай ему...» — в этом было все, чего ему недоставало. Не жалость, а сострадание. Он держал в темноте кусок хлеба и думал, что только советская женщина вот так, по звуку голоса, могла все сразу понять. А может быть, они приняли его вопросы за прием попрошайки? Или, может быть, это — от эгоизма счастья, оттого, что они вдвоем, а он одинок? Как бы там ни

было, он твердо знал: «дай ему» останется на всю жизнь. И опять женщина догадалась:

— Пан до Миттенвальду иде, до лагерю?

— Да, в лагерь. — Хотелось сказать ей больше, но движение мужчины — «молчи, кто его знает?» — остановило.

Разговорились только утром, после того как немка слева спросила: «На каком это вы языке разговариваете?» — «Они на украинском, а я на русском». — «Интерессант! Это ваш родной язык?» — «Нет, я эстонец». С эстонцем украинец разговаривать жено разрешил и сам разговорился. И вышло: они из Западной Украины, из-под Львова, а он эстонский подданный. Существенным для Федора был рассказ о советских репатриационных миссиях, вылавливающих советских граждан. «Кого зловлять — вывозят на родину». По тому, как она произнесла «на родину», догадался, что «пан» — для маскировки и что сами они «с родины» и не хотят туда возвращаться, и что мужчина цензира — от страха перед репатриационными миссиями.

Встреча земляков не состоялась. Зато Федор усвоил понятия: «репатриационные офицеры», «на родину», «вылавливают», «вывозят...»

* * *

Подъезжая к Гармишу, Федор из окна вагона впервые в жизни увидел настоящие снежные горы. Но скала за окном скоро пошла вверх и все заслонила. Внизу, вдоль скалистой стены, бежала зеленовато-молочная речка. «Снег», — подумал Федор о цвете воды. Это тоже было впервые. Земля все уходила вверх — даже прижимаясь к стеклу, уже нельзя было увидеть неба.

Поезд шел между гор, и горы назывались Альпами. Главное для Федора было в слове — Альпы. То, что он видел Альпы, радовало необыкновенно — куда забрался! Присутствие пассажиров мешало, и он вышел на площадку. Поезд стал поворачивать, гудящая на одной ноте стена за окном сразу, рывком оборвалась, открывая пространство, долину, близкую цепь огромных гор. Одна гора стояла, несколько выйдя из ряда. Федор видел тесно взбегающие по ее кругому склону деревья (как пехота при штурме высоты), трещину с белой неподвижной лентой водопада, густую шерсть кустарника и вершину, облитую, как кулич, сахарным снегом.

Потом ощущение переменилось: вершины гор стали как бы поверхностью земли, а поезд уже шел внизу — по дну огромной котловины.

Восторг от того, что он — Федор Панин — видит географические Альпы, был первыми процентами от купленного «на все» займа Свободы. В Польше, в Германии Федор многое увидел впервые в жизни: города, замки, памятники, реки, но ему всегда казалось, что все это он видел раньше. Здесь было предельно ясно: в первый раз! Видимо, ни книги, ни картины, ни кино не могут передать ощущения гор...

В бледно-салатном небе нежно-розовые, живые облачка. Пока Федор разглядывал их, за снежными вершинами накапливались какие-то силы света — ярче, пока полнеба не заалело до самого верха, где незаметно, как на обожженной эмали, переходило оно в тот же зеленоватый цвет. Федор оглянулся — в противоположном окне облаков было больше, и все тяжелые, закатные. Ему вдруг почудилось, что в небе происходит нечто, чего люди не замечают и что подсмотрел только он...

Поезд повернул снова; далеко, у подножья гор показались белые с черным прямоугольники — не то деревня, не то городок. Федор бросался от двери к двери, стараясь запомнить, собрать сменяющиеся картины в одно целое. В мысли втолкнулось проявленное видом гор название книги Толстого «Люцерн». «Люцерн — это где-то в Швейцарии, по ту сторону хребта...» Альпийский ландшафт словно проявлял и его самого: тело стало ощутимым, легким, сильным, росло и ширилось чувство освобождения... Путешествие в страну неизвестности началось!

Вскоре за окнами замелькали плоские белые дома в коричневых полосах деревянных балконов. Подъехали к станции. На перроне толпились люди в зеленых охотничьих куртках, в шляпах с перьями; на некоторых были свитера в оленях и удивительно выглаженные натянутые брюки, заправленные в большие ботинки. Было много военных американцев. Федор, как и во Франкфурте, пытливо всматривался в этих рослых, розоволицых парней и снова радовался, что выбрал именно американскую зону. Вспомнив о спутниках-украинцах, вернулся в вагон. Там их не было. Подумал, что они вышли на перрон через другую площадку, но тут же заметил, что не было и вещей. «Сбежали, испугались», — обиженно подумал он, вспоминая женщину, «дай ему» и быстрый исподлобья взгляд мужчины, — мужская осторожность пересилила.

Федор вышел на перрон. Вокруг разговаривали, смеялись, но когда прислушался — не понял ни слова, хотя язык был несомненно немецкий. Из вокзального здания показалось двое зеленых полицейских с карабинами за плечами. Вид полицейских заставил насторожиться. Оглянулся, рядом стоял кондуктор.

— Скажите, пожалуйста, когда поезд отходит на Миттенвальд? — подошел к нему Федор.

— Через десять минут, — ответил тот, подозрительно, как показалось Федору, оглядывая его.

— О, тогда я успею еще закусить! — сказал Федор таким тоном, словно он отлично знал и Гармиш, и все, что было вокруг.

Он вернулся в вагон и выждав, пока мимо окон неторопливо прошагали полицейские, пошел по вагонам вперед, на ходу решая, сойти здесь или оставаться в поезде. В первом вагоне было пусто: две парочки и у самой двери группа зеленых баварцев с трубками. Решил остаться.

Поезд тронулся. Снова вокруг успокаивающее движение, отрывающее от земли с ее пропусками, полицейскими, случайностями. Стук колес, говор пассажиров, пыхтенье паровоза убаюкивали, разговаривали с Федором в разнообразных, сменяющихся по желанию ритмах — то четыре шестнадцатых, то одна, переходящая в четверть. За окном плыли горы, белые домики в вылезших сквозь стены стропилах, с камнями на плоских крышах. Недавнего восторга, однако, не было, все было словно уже знакомо. Долго рассматривал карту. Два миллиметра между точками — Гармиш и Миттенвальд — казались решающими. Южнее проходила граница, и это тревожило: граница для Федора означала погранполосу, пропуска, проверки. Успокаивала справка в кармане и то, что Кёльн был далеко — поди, прости!

К Миттенвальду подъехали в тумане. Городишко лежал в котловине. Земля за крышами домов уходила вверх, в туман. В серой сырости привокзальной площади пассажиры скоро растворяли, Федор остался один. Почему, собственно, он не сошел в Гармише — многолюдном и солнечном?

Из-за угла выплыла фигура в пелерине, с лицом Ницше под острой шляпой. Федор спросил о лагере...



H. Моршен

Николай Николаевич Моршен родился в 1917 году. Уехал из Советского Союза в 1943 году. Печатается в зарубежных изданиях с 1947 года. Вскоре выйдет из печати его сборник стихов «Тюленев».

ЗЕМЛЯКИ

Хороший выдался денек,
И небо голубое...
Давай присядем на пенек,
Поговорим с тобою.
Поговорим с тобой, земляк,
Давно ли ты оттуда?
Что в нашем городе и как,
Что хорошо, что худо?
Как город справился с войной,
На что он стал похожим?
Как обстоят дела с едой
И с выпивкою тоже?
Цела ли опера, вокзал,
Стоит ли крытый рынок?..
Когда-то ночь там проторчал
За парою ботинок.
Что наши парки? Как река?
Как площадь за забором?
Достроен, что ли, дом ЦК
Над снесенным собором?
На нашей улице жила
Одна девченка — помнишь?

Голубоглазая была...
Да нет, не там, где дом наш,
А там, где рос большой платан
За первым поворотом,
Напротив жил еще пацан,
Работавший сексотом!
Случайно, может, или как,
Слыхал, что стало с нею?
Ну, не томи, давай, земляк,
Рассказывай скорее!

ТЮЛЕНЬ

«Товарищи!»
Он опустил глаза,
Которых не удастся образумить.
«Кто за смертную казнь врагам народа, прошу
поднять руки!»

Все подняли. Он тоже поднял «за»,
Страяясь ни о чем не думать,

Но головокруженье превозмочь
И, отстранись, скорей забыть про это.
Аплодисменты! Значит можно прочь
Из коридоров университета.

На воздух. Сумерки. Земля
Апрелем пахнет. Дальше что? Постой-ка,
Теперь все просто: полтора рубля,
Стакан вина у неопрятной стойки.

И папиросу в зубы. И — в сады,
Туда, к реке, где ночь шуршит ветвями,
А звезды, отразившись от воды,
Проносятся, как эхо, над садами.

Где в темноте друг другу далеки.
Блуждают одиночки по аллеям,
И, как кладбищенские огоньки,
Их папиросы плавают и тлеют.

И здесь бродить, сперва томясь, потом
Уйдя в покой туманных размышлений
О постороннем, в частности, о том,
По детским книжкам памятном, тюлене,

Который проживает там, где лед
Намерз над ним сплошным пластом снаружи —
Тюлень сквозь лед отдушину пробьет
И дышит, черный нос с усами обнаружая.

Ночью, там, где улицы пустынны,
Гулок шаг мой, пусть он и не тверд.
Здания, как звери, горбят спины,
Хоть и не оскаливают морд.

Спит иль только притворилась спящей
Улица с торцовой мостовой,
Изогнувшись, как огромный ящер,
Кверху брюхом, книзу головой?

Эта ямка мне уже знакома:
Я весной упал здесь и, смеясь,
Обтирая с руки о стенку дома
Мартовскую тающую грязь.

Этот дом мне памятен не менее,
Потому что проживает в нем
Девушка, с которой в воскресенье
Целый день бродили мы вдвоем.

Только раз бывает небо звездно,
Только раз кружится голова...
Хорошо брести домой так поздно,
Бормоча случайные слова:

Идем под хмелем
И чушь мы мелем!
Пьяно вино
И сладко, но...

Но внезапно проторевшим взором
Я смотрю, как мчит во весь опор,
Каркая мотором, Черный Ворон,
Погасивший фары черный вор.

Улицы, проснувшись, присмирили,
Все теряют первобытный вид.
Что же будет... если... неужели
Он у ямки той затормозит?

Нет, он мчится дальше, исчезая
В уличку, где нету фонарей.
И бреду я дальше, напевая
«Человек проходит, как хозяин
Необъятной родины моей».

АСКОЛЬДОВА МОГИЛА

Где под луною
Камень белеет,
Пахнут землею
В парке аллеи.

В час полуночный
Слышится гулко
Звук одиночный
Из переулка:

Свист постового,
Грохот трамвая...
Смолкнет — и снова
Спит мостовая.

Над головою
Листья и гнезда,
И над листвою
Небо и звезды.

Что до могилы,
Рая и ада?
«Миленький... милый...
Не надо... не на...»

Как круги на воде, расплывается страх,
Заползает и в щели и в норы,
Словно сырость в подвалах, таится в углах,
Словно ртуть, проникает сквозь поры.

Дверь на крюк. Но тебе не заклясть свой испуг
Конурою, как норы, понурой:
Он порочен твой круг, твой магический круг,
Нереальной своей квадратурой.

За окном, где метель на хвосте, как змея,
Вьется кольцами в облаке пыли,
Возвращается ветер на круги своя
И с решетками автомобили.

Горизонт, опоясавший город вокруг,
Застывают стеною сплошною ...
Где-то на море тонет спасательный круг,
Пропитавшийся горькой водой ...

А вдали, где полгода (иль более) мрак,
Где слова, как медведи, косматы:
Воркута, Магадан, Колыма, Ухтпечлаг ...
Как терновый венец или Каина знак —
Круг полярный, последний, девятый.

Звезда на небе. Сколько слез и слов,
И сколько клятв, и сколько междометий,
Сердце и чувств! В течение столетий!
И сколько рифм, и сколько строк и строф!

Но и к умам ей путь открыт и прост:
Волхвы за нею шли благоговейно,
Шли мореходы... Даже и Эйнштейну
Не обойтись без неподвижных звезд.

Да, выбрать тему так, что навсегда б
Пленен был всякий — цезарь или раб,
Герой иль трус, отшельник иль безбожник,

Свой замысел на полотне ночном
Осуществить единственным пятном —
Какой бы здесь не отступил художник!

ПОСТУЛАТЫ БЕССМЕРТИЯ

1

... И развеялся в отдаленье
Флаг на линейном корабле,
Когда по щучьему велению
Исчезли люди на земле.

Еще крутился вал шарманки,
Дудя в какую-то трубу,
И попугай тащил из банки
Несбудущуюся судьбу.

И в подозрительном отеле,
Где ночевали, кто хотел,
Еще постели не успели
Изгладить отпечатки тел.

В дверях распахнутого храма
Сновала взвешанная пыль,
И выл из придорожной ямы
Свихнувшийся автомобиль.

Кресты и башенные шпили
Шли параллельно в эмпирей
И в бесконечности сходились
В равнобесцельности своей.

Бессмертия сон золотой.
Георгий Иванов.

Ты смотришь, как рушатся рощи,
Как никнут и вяннут цветы —
И сетуешь, мудрствуешь, ропщешь:
Бессмертия требуешь ты.

Ты требуешь дивного права —
Своей не кориться судьбе.
И вот уже ангел лукавый
Бессмертье дарует тебе.

• • • • •

Эпоху сменяет эпоха.
Среди оголенных равнин —
Ни слова, о друг мой, ни вздоха! —
И ты остаешься один.

А солнце гудит, свирепея,
Растет до планетных орбит,
Чудовищной силой своюю
Планеты оно пепелит.

Лишившись земли постоянства
И сил тяготенья ее,
Несется в пустое пространство
Бессмертное тело твое.

Давясь многократными тьмами,
Сгибаясь в неравной борьбе,
Слабеет о прожитом память,
И — что ж остается тебе?

Надежда? Надежда на что же?
На то ль, чтоб во тьме светолет
Хоть отблеск увидеть, похожий
На звезд забываемый свет?

Осенний жалуется норд,
Своей не веря жалобе,
А волны хлещут через борт
И мечутся по палубе.

Народ к бортам идет, сколзя.
Покрыты шлюпки пеной.
Но много брать с собой нельзя —
Берут лишь драгоценное.

Вот этот с кольцами идет,
Тот — с манускриптов пачкою,
Кто фотографии несет,
Кто носится с собачкою.

Что ж — с Богом! Через день-другой
Мотанья океанного
Швырнет их на берег прибой
И жизнь начнется заново.

• • • • • • • • •

Ко всем нахлынет смерть из тьмы,
Как те валы осенние,
И окунемся в вечность мы
Без шансов на спасение.

Шепнуть, что где-то есть прибой,
В порыве откровенности?
Но что захватишь ты с собой —
Какие драгоценности?

Глубокомысленную ложь
Да истины убогие?
Иль страх, что Божьим ты зовешь, —
Продукт физиологии?

К чему ж бессмертия прибой
Потомку человечьему?
Живи, и жизнь твоя с тобой,
Но воскресать в ней — нечему.

ЗАКАТЫ

1

— Повержен свет, и день убит,
Но жив последний миг:
Еще поет, еще звенит
Заката алый крик.

И небо надвое рассек
Последний солнца луч,
Багряным золотом зажег
Края лиловых туч;

Скользнул вперед, скользнул назад
На кровлях ледяных,
Резнул сосулек светлый ряд
И окровавил их;

Но, задрожав, упал и лег,
Сраженный на бегу, —
Упал и лег у наших ног,
Свернувшись в розовый комок
На голубом снегу.

2

И снова рядом, как когда-то,
В полуопарапочном серебре
Они стояли на бугре
Перед расплавленным закатом.

Они стояли молча, глядя,
Как, полыхая, гаснет день.
А к ним подкрадывалась тень —
Бесшумно, по-кошачьи, сзади.

3

Там, где неба оранжевые полосы,
Облака — как кипящая медь.
Но ничем не зажечь, не согреть
Монотонно-холодного голоса:

— Перестань же. Меня не разжалобить
Тем, что было когда-то давно.
Если чувство теряется, стало быть
Это было ему суждено.

Голос смолк. За полями, за хатами,
Где желтеет и рдеет листва,
Вьются галки, как эти слова,
Обожженные в уголь закатами.



Виктор Свен

Виктор Свен (литературный псевдоним) родился в 1897 году. По окончании гимназии, во время первой мировой войны, ушел добровольцем на фронт; в 1919—1920 гг. был в Добровольческой армии, затем — концлагерь, откуда был забран в Красную армию. Первые очерки и рассказы были напечатаны в 1915 году в «Смоленском Вестнике»; с 1923 года — разъездной корреспондент, очерклист. Заграницей с 1942 года. Печатался в разных русских зарубежных изданиях. Часть рассказов вышла отдельным сборником. В ближайшее время выходит его книга повестей и рассказов.

СЕЛИГЕР

1. ВЛАСЫЧ

Озеро, конечно, не Ладожское и не Байкал... Но я уже обжился на Селигере, я прямо-таки болел его берегами, поросшими древним лесом, его тихими заводями и множеством островов, среди которых были и такие маленькие, что просто назывались пятаками.

Для меня оно еще было дорого и тем, что вклинивалось в когда-то княжество Тверское и княжество Новгородское, и еще потому, что в стародавние времена по Селигеру пролегал путь на Варяги.

Да и дачка моя крохотная уже была обжитой и привычной. Вроде родным домом она мне стала, а когда бобыль Яков, живущий на даче моего брата, перебрался со своим хитрым котом ко мне, я почувствовал себя совсем хозяином.

И вот раз приходит ко мне брат и упрекает, что барское я дело затеял, ни к чему это. Разговор шел о том, что к своей дачной избушке я пристроил пристроечку и там уже второй год жил хороший жеребенок. И я мечтал о том времени, когда можно будет выехать верхом. У какого-то старьевщика я уже купил

седло, привел его в порядок, переменил подпруги, и стремена прямо-таки сияли.

Брат укоризненно смотрел на эту затею и пророчил: вот как узнает власть, что у меня растет конёк, прикажет его обобществить, отберет мой корреспондентский билет, а меня самого припишет конюхом в какой-либо колхоз. Я хлопал стройного конька по упругой шее и шептал:

— Не верь моему брату... Он так от злобы говорит, потому что у него только одна нога и что он сам не догадался завести животное... Правда, кот у него был, но и тот перешел к нам на жительство...

— Отберут твоего лошака, — каркал брат. — Вот как узнают, ей-Богу, отберут...

— До сих пор не отобрали...

— Отберут... Не отобрали, потому что не знали... Скажут: в колхозах кони падают, а тут у него вон какой гладкий да веселый... А чем, спросят, кормишь? Да и вообще откуда коня достал и, между прочим, насчет социального происхождения начнут ковыряться... Об этом тоже стоит подумать...

Я вытащил корреспондентский билет и дал понюхать жеребенку

— Нюхай, — говорю, — вот тебе охранная грамота. И не слушай брата: это он зря такие страсти выдумывает...

— Ой, — кипятился брат. — И там ты побывал, и там, многое видывал и... ничего-то ты, балда, не понял...

Так мы часто ссорились из-за конька, и раз говорю я брату: дескать, давай разыграем такую штуку, напишем сами на себя донос... не то чтобы в самом деле донос, а заявление, что вот, мол, в лесу, на законно построенной даче завели незаконного жеребенка...

Брат и написал. Сели в лодку, подняли парус, хорошую прогулку сделали и заодно письмо бросили. Для сельсовета. По воду конька.

И через несколько дней являются представители власти с милиционером, проверяют документы, приказывают открыть сарейчик... А представители власти были настоящие наши мужички, которых судьба толкнула в колхоз.

Тут жеребенок и сам на свет головову высунул и мягко заражал, вроде спрашивал, о чем такой разговор идет. Я выпустил жеребенка во дворик, и лица у мужиков посветлели.

— Эх, ты, Господи, — говорит один другому. — Смотри, Власыч, красота какая. Вот конь будет, Власыч... А?

А Власыч дрожащей рукой перебирает гривку коньку и слова сказать не может. Мне даже показалось, что Власыч забыл, для чего он здесь, и что жеребенок этот не ему принадлежит. Или, может быть, вспомнил, что и у него в хозяйстве когда-то такой был...

Равнодушен только сам участковый старший милиционер. Он важно допрашивал, как и от кого мы достали жеребенка, почему не зарегистрировали в сельсовете. И ехидной улыбкой отвечал на мои слова, что я хочу вырастить верхового коня. Это, говорит милиционер, кодексом не предусмотрено. По советскому закону все кони должны в колхозе быть. Амба!

— Позвольте, как амба?

— А это уж мы сами разберемся, — выносит решение милиционер. — А пока что, Власыч, забирай жеребка и тяни в колхоз... А вы жалуйтесь. Если областные партийные и земельные органы решат вернуть, то что ж... тогда отдадим... А пока что в колхоз до выяснения...

Мы стали уговаривать и просить. И уже сами жалели, что застали такую штуку. Ничего не помогает... Вот тут Власыч и вмешивается:

— Слыши, товарищ начальник... Ну чего мы заберем жеребка в колхоз? Вишь он какой ладный да складный... А у нас он до решения партийных областных организаций оклеет. Сам знаешь, кормов-то нетути... своих-то коней под живот подтягиваем в стойлах...

Спасибо Власычу: помог. Начальник взял с меня «сохранную расписку», в которой я обязался до решения вышестоящих организаций не делать никакой порчи жеребенку, иначе отвечу перед советскими законами по всей суровости.

Похлопотал и поездил я достаточно, но всё-таки удалось, уже перешагнув областные организации, дойти до наркомзема и получить бумажку на право содержания жеребенка. Закончилось всё это не скоро, закончилось к тому времени, когда коньку уже шел четвертый год.

И в честь того самого, так помогшего мне представителя власти, зарегистрировал я в сельсовете своего конька под кличкой Власыч и налоги платил всегда за год вперед, а квитанцию берег пуще паспорта.

То ли пригодилась моя уланская служба, то ли статьями такими вышел мой конек, но только стал он настоящим строевым и под седлом ходил как следует. Когда я появлялся на берегах,

ребятишки выпученными глазами, как на чудо, смотрели на моего Власыча, а старики подсовывались поближе и качали головами:

— Виши ты, какой он у тебя, — говорили. — Скажи, пожалуйста... Не спеши, дай хоть погладить конячку-то...

Вот так-то, передвигаясь да со стариками переговариваясь, узнавал я интересное. От них же я выведал, что в подвалах Николо-Рожковской церкви много осталось бумаг старых и книг брошенных.

Поехал я туда, пробрался в полузыпаный подвал и увидел ворохи рукописных книг и отдельных листов. Другую книгу возьмешь в руки, а она сыплется порохом и гибнет. Но домой я кое-что привез. Долгими вечерами под克莱ивал, выравнивал, подбирал. С отдельных листов, с половинок, которые уже нельзя было спасти — переписывал в свою тетрадь.

В особенности интересны были дневники священников, служивших в Николо-Рожковской церкви. Из отдельных записей я узнал, что священники были обязаны вести записи в специальной «погодовой книге» обо всем, случившемся на Селигере, обо всем, виденном и слышанном, о ремеслах, людях бывалых и жизни.

Мне удалось собрать и привести в порядок эти погодовые книги больше чем за сто лет. Некоторые сохранились полностью. У большинства истлели первые и последние страницы. О многих можно было судить только по отдельным сохранившимся листам.

Я сейчас не могу быть точным. Но совершенно отчетливо представляю пометки на некоторых дневниках: «Сею погодовую запись читал граф Толстой», или: «архимандрит Гермоген...». Иногда были и такие: «Почему сее записано по речам лесника, когда надлежало бы о сем же и самому отцу протоиерею на месте непосредственно полюбопытствовать».

Это были своеобразные летописи. Летописи, ведшиеся последовательно, без отбора событий. Рядом с длинными страницами о нашествии Наполеона, после простой точки, начиналось повествование о необыкновенной, диковинной рыбе, выловленной монастырскими служками. О такой рыбе не могли ничего сказать старики, и потому рыбина была повешена «на сухом древе на птиц поклевание».

Это было давнее прошлое. В дневниках я узнал такое, о чем забыли даже нынешние седые старики. В дневниках были не-понятные заметки, относящиеся к определенному месту или на Селигере, или вблизи от него. Такие заметки я выписывал, ездил

туда и сюда, расспрашивал стариков, что-то высчитывал, сопоставлял.

Таким образом полились очерки о жемчуге в северной части Селигера (Полоновский плес, речная жемчужница), о лечебном источнике, вылечивающем глазные болезни, о буром угле, до которого можно докопаться простой лопатой, о том, что на Селигер когда-то приезжали богатые и знатные люди, которым почему-то не помог воздух лучших курортов Европы... Ну и, конечно, много было написано об охоте, о местах нехоженых, пудовых щуках и полупудовых лещах. Потом об островах, к которым осенью, по пути домой, можно было пристать на часок и полную лодку нагрузить белыми грибами или, иначе, боровиками...

Вот, когда уже все такие очерки и письма пошли серией, примчался ко мне брат и еще издали завопил, схватившись за голову:

— Что ты наделал?.. И почему я тебя не утопил маленьким?..

Ну, а потом мы сидели на ступеньках и я искренне сожалел о содеянном. Не славу, а зло я сделал Селигеру, так я признавался брату, и он, недавно сокрушавшийся, что не утопил меня, тихо говорил:

— Перестань, Виктор... Это должно было случиться... Может быть несколько позже, но добрались бы и сюда...

— Нет, нет, — протестовал я, — это я предал Селигер... Я указал на него пальцем: вот он, смотрите, лежит у вас под боком, а вы его не видите... Вот тут исторический крест-камень, на котором древнеславянскими литерами высечено о замирении с Литвой... Вот тут Хочин-остров, с которого некогда Петр брал в свой первый флот матросов... Вот тут Кличен-остров, к которому подходили татары... Вот разрушающийся дом-дворец — имение графов Толстых, чьи потомки ныне обретаются в Америке... Вот он — волок, через который перетягивали лодки славяне, направлявшиеся к варягам... И жемчуг в Полоновке... И таинственный ключ-колодец с целебной водой...

Брат успокаивал меня, потому что жалел он и меня и Селигер...

А потом хлынули комиссии и подкомиссии. С целым вагоном сотрудников приехал знаменитый кремлевский профессор-врач.. фамилия такая короткая, не то Цыкин, не то Цейтлин, никак сейчас не вспоминается... Нет, вспомнил: профессор Лурье...

Приехали все эти медики и специалисты; меня нашли, потому что у них было официальное поручение от ТАССа... Я вроде проводником стал... Весь Селигер облетали, всюду побывали, по всем местам заповедным водил я их... Смотрели они на всё, и глаза открывали. Много бумаги исписали, целая лаборатория, созданная в Неприе, какие-то анализы производила...

И уехали. А через месяц, уже к осени, в «Известиях» двойным подвалом появилась интересная статья врача-профессора Лурье: «Селигер станет климатологическим курортом Советского Союза».

А потом приехали из «Туриста», и я подписал договор на книгу «Валдай-Селигер-Волга»...

2. ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Через зиму вернулся я на Селигер, к своей дачке... Не успел я оглядеться, а брат схватил меня за руку и потянул.

Мы сели в лодку. Уже сильно потрепанный парус поймал ветер и понес.

— Смотри!

Я уже и сам смотрел во все глаза и видел валяющихся по берегам дачников, нахлынувших из столиц. Я уже приметил, что пароход «Совет», раньше совершивший только прямой рейс от Осташкова к Северной пристани на Полоновском плесе — 110 верст! — теперь заходит в разные уголки, к разным деревушкам, высаживая полнотелых ответственных с их женами или подругами.

На полпути к нашим дачкам расположилась база туристов, сразу вырубив прекрасный участок прибрежного леса под волейбольные площадки. Крутой берег начал оползать в воду, а лес всё продолжали рубить и рубить, распевая «Широка страна»...

И до того тут присмотрелись места, что со следующего года началось строительство частных дач для вельмож разных типов и рангов. Шире всех размахнулся Алексей Толстой, — Толстой, не имевший никакого отношения к тем Толстым, чье имение гибло и разрушалось около Новых Елец, и в рекордный срок отстроил себе дачу-дворец, стоимостью в твердых ценах в сто тысяч рублей. Скромно, но до-

статочно уютно возвели свои домики Галина Уланова, В. И. Качалов и многие другие знатные имена Ленинграда и Москвы.

Но когда берега Селигера стали покрываться цепочкой дач — в одном месте работников НКВД, в другом — управления рабоче-крестьянской милиции, в третьем — ответственных партийных работников, тогда я прижался к брату и сам сказал:

— Знаешь... я прихожу к убеждению, что ты и в самом деле допустил ошибку, не утопив меня...

— Что уж там... я не жалею, что нашел тебя через пятнадцать лет... И надеюсь, что на наш век хватит тишины в нашем лесном уголке... К нам туда, даст Бог, не полезут...

Мне было тепло от этих слов, мне хотелось верить, но в себе я носил тяжесть вины перед Селигером. Ну да, ну поселись Алексей Толстой, Василий Иванович Качалов... Пусть! Но зачем...

А тут приехал ко мне из всесоюзного «Туриста» очень остроумно-веселый и бойкий К. Гусев, привез несколько измененный договор на книгу «Валдай-Селигер-Волга» со включением его как соавтора. В денежном исчислении договор приобрел большую полновесность и... как соавтора — К. Гусева.

Я прочитал договор и, этак ехидно ухмыльнувшись, задаю Гусеву вопрос, а что он будет делать? Он тоже улыбается и мило объясняет, что, понимаете, Селигером очень заинтересовался... ну, знаете, центральные органы и вообще кое-кто... А раз так, естественно, что и к составлению таких книг надо привлекать... проще, надо обеспечить партийную точку зрения...

— Ага, понимаю, — говорю я. — Партия сложилась?

— Вот, вот — быстро соглашается Гусев. — Совершенно верно... Ну, а насчет денег вы можете на меня положиться... У вас ведь уже есть один соавтор?

— Не только соавтор, — отвечаю, — но даже собрат, хотя он и безногий...

— Ну и прекрасно... Я буду третьим...

— А может быть, еще дадут кого-либо в соавторы на уже написанную книгу?

— Не беспокойтесь, всё согласовано в «Туристе»... Кстати, мы думаем выпустить книгу к осени... Скажите, она уже готова?

— Да, — отвечаю, — но только не написана та третья часть, которая падает на вашу соавторскую долю...

— Что вы! — мило смеется Гусев. — Я напишу только предисловие и беру на себя техническое наблюдение... Прекрасная бумага. Четкие клише. И гарантия за досрочное выполнение заказа...

На том и порешили. И Костя (уже мы его так звали) умчался в Москву, прислал оттуда аванс и предложение еще одно, весьма заманчивое...

И вдруг явился Костя растерянным и еще с порога закричал:

— Беда! Нужна коренная переделка...

— В предисловии?

— Нет — говорит. — Вообще...

— Раз так, Костя, о делах потом. Давайте позавтракаем...

— Никаких завтраков, — спорит соавтор. — Через четыре дня я должен вернуться назад...

Всё-таки позавтракали, а потом начали рассматривать рукопись и те места, которые показались подозрительными. Их было много. Страниц около семидесяти надо было переделывать. Одно место было такое: на фотографии колоритные старички среднерусской возвышенности собирались на околице деревушки, тянут коротенькие трубки, пускают дым и о чем-то своем крестьянским гуторят. Чуть вправо от них старый, обветшалый крест. Оказывается, крест портит книгу. И потом — почему старики? А где коммунисты и комсомольцы и почему нигде ни одного соответствующего портрета?

— Костя, — говорю я очень серьезно. — Ведь он сюда на дачу не приедет и какое вообще он имеет отношение к рыбакам...

— Ой, — стонет Костя. — До чего же трудно с беспартийной интеллигенцией. Да что вы меня убеждаете? Может я в этих делах потоньше вашего разбираюсь, что, и к чему и какое имеет отношение... Да этого же облит требует.

А потом мы дошли и до истории. Тут уж брат своей единственной ногой стучал так, как будто у него в этой ноге скопилась сила ног четырех гвардейцев. Не позволю, кричит, я сам историк, я знаю, что к чему...

Костя хватает себя за волосы и вопит:

— Замолчите... И летописцы ошибались, и все ваши историки тоже ошибались и многое не знали, потому что стародавние события правдиво могут быть раскрыты только в свете марксистско-ленинского и так далее учения, которое полно разработано това...

— Стой! — кричит брат. — А вы читали...

— Что? И читать не желаю... А вот в эту главу об историческом прошлом Селигера, на страницу 74, добавим несколько подходящих иозвучных эпохе слов, около этого креста-камня поставим комсомольцев с флагами...

— А на самом кресте-камне, поверх древнеславянской вязи, высеченной в XVI столетии, укажем: «Жить стало лучше...»

Костя подозрительно посмотрел на брата:

— Не, — говорит, — тут что-то очень сложное такое... Никто не поверит. Цитат не надо...

А дальше добрались до самого слова Селигер. Опять чуть драка не приключилась. Я успокаивал Костя, объяснял ему, что у брата такая нервность после того, как у него на фронте первой мировой войны ногу оторвало. Это событие, дескать, на него произвело невыгодное впечатление и отразилось на умственных... Тут я должен был быстро наклониться, потому что брат бросил в меня какой-то посудиной.

— Не верь ему, Костя, — кричит брат. — Он такой... Он еще в детстве подходил к нашей маленькой сестренке этакой лисицей и ласково шептал: «Юлинька! Покажи, ах, какие у тебя хорошеные пальчики». Юлинька моргала большими голубыми глазами, с удивлением протягивала руки и рассматривала свои ладошки... А ему, то-есть этому, больше ничего и не надо: он хватал конфетку из сестренкиной ладошки и исчезал в саду. А сад у нас был огромный. Пока его найдут, он мог съесть фунт шоколаду... На что, на что, а на это у него способности были замечательные...

В общем, пришлось вообще выкинуть объяснение слова Селигер. Нельзя было рассказывать, что это название идет от финнов: селига — белая рыба, плотва. Селигер — прилагательное от селиги.

— Позвольте, — пытаюсь я разрядить напряжение. — А что же тут такое? Финское, шведское, польское... Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Даже лучше... Даже сам Карл Ма...

— Чш... — шипит Костя. — У вас тут в лесу и в самом деле не сразу можно угадать, откуда ветер дует... Я вот вам прочитаю кусочек...

Костя отодвигается, как будто боится, что мы набросимся на него, вынимает из бокового кармана какую-то газету.

— Слушайте... «Оркестры вместо «Марсельезы» исполняли русский национальный гимн... Сердце, казалось, разорвется от чувства гордости быть русским»...

— Костя, — вскакивает брат. — Дай газету, у меня в самом деле сердце разрывается на части...

Костя долго упирается, говорит, что это напечатано в «Красной звезде»... Но дать не может: тут, объясняет, как бы не было опечатки. Видимо, кому-то за такие штучки попадет. И взяв с нас честное слово, что мы будем молчать, рассказывает, что это из мемуаров советского генштабиста А. Игнатьева, бывшего... Костя замолкает на мгновение и совсем потихоньку шепчет: «графа»...

Костя согласен передать нам эту газету, если мы поклянемся хранить всё втайне.

— Понимаете: граф...

— Да, — соглашаюсь я. — Это очень красиво и таинственно, страшно напоминает авантюрные романы Брешко-Брешковского; они начинались, примерно, так: «Граф мрачно подошел к столу, решительно взял пистолет, вскочил на гюнтера и помчался крупной рысью к вилле маркиза д'Обриньи...»

— Вы во всем хотите видеть смешное, — с грустью говорит Костя. — Да я вам не верю... Вы притворяетесь... А таких, как вы, полно, и я всегда при случае думаю: всё это родственники моему батьке... И вы ему родственник...

— Нет, Костя, — отвечает брат. — В нашем роду ни с какой стороны не было Гусевых...

— Да я не о фамилии говорю... Фамилия тут не при чем... Батька мой знаменитый слесарь, дед был слесарь еще получше... куда ни глянь — весь наш род кузнечно-слесарный... Это только ты у меня, так говорит мой батька, комсомолец и партийный член партии, кровопивец ты народный, чтоб тебя холера забрала... А когда маленько выпьет, по-другому начнет: «Брось ты, Костя, всё это дело. Иди в слесаря. Справедливая это работа, Костенька: огонь да железо — тут правда, и с такой правдой ты сам себе хозяин нестыдный»... Это батька насчет того подъезжал, что наша правильная фамилия Гусь, это уж я для благозвучия стал Гусевым. «Да ты знаешь ли, товарищ партийный, — это опять-таки так батька говорил, — какие такие Гуси были? Чай, слышал бывальщину о прадедке нашем Кузьме, о том, как подъезжал сосед к Турчанинову и начинал закидывать удоочку насчет прадедушки? А Турчанинов-то соседу от ворот поворот: «Да ты знаешь, какой-такой этот Гусь есть? За этого Гуся ты мне полцарства подкинь и то — откажусь»... Вишь, какие мы Гуси! А вот посмотрим, какие после тебя гусевые дети пойдут...

Костя криво усмехнулся и продолжал:

— И вот видите ли, чувствую я в одном месте слышнее, в другом приглушеннее вот эту самую разность... и мне хотелось бы знать, вот в том проклятом прошлом вот тот же самый граф Игнатьев, нынешний партийный товарищ и генштабист Красной армии, чувствовал ли он эту разность, такую тяжелую и непонятную оторванность от прошлого, какую ощущаю я, глядя в глаза моему батьке и всем таким батькам... Вот в центральном комитете комсомола я большая шишака, заведую отделом молодежи, тут и моральный облик, и спорт, и всё такое прочее... Пишу на эти темы статьи, докладываю обо всем этом на собраниях, доказываю, агитирую, цитирую и всегда чувствую: пока я говорю о молодости как молодости, всё в порядке... А как там пойдут выкладки насчет коммунистического воспитания, смотрю в глубину зала и вижу громадное, написанное, всем понятное слово: гусь! А после моего доклада выходят другие, отмечают, поддерживают, перечисляют достижения, а я... не могу смотреть и только думаю: «иши, ты, гусь!» И, знаете, это слово гусь мне прямо-таки покоя не дает: вот прочитал я отрывок партийного графа Игнатьева, уважаемого товарища, красного генштабиста, преданного партии и правительству, и думаю: «ну, и гусь же ты!» И, знаете, что мне кажется: я, конечно, гусь, чтоб тебя холера забрала, как говорит мой батька... но уж граф Игнатьев — уж это гусь, из гусей гусь!

А потом, когда пришло время уезжать Косте, мы его под паруском доставили к ближайшей станции. Сидя в лодке, он вдруг весело рассмеялся.

— Чего вы, Костя?

— Да вот вспомнилось, как это вы насчет Брешко-Брешковского...

— Какого Брешко-Брешковского?

— Ну, да это: «Граф мрачно подошел к столу, решительно взял пистолет, вскочил на гюнтера и помчался крупной рысью к вилле...»

Уехал Костя... И мы часто-часто вспоминали этого партийного комсомольца, сына знаменитого кузнечно-слесарных дел мастера, этого смешливого Костю, улыбкой прикрывавшего свою искреннюю боль от сознания, каким гусем он стал.

И между собой говорили, что тяжело человеку с большой душой. А когда, много позже, дошел до нас слух, что погиб

Костя, запутавшись в какой-то московской комсомольской оппозиции, подумали с горестью, что так оно и должно было случиться...

3. ДЯДЯ В КЕПКЕ

На Селигере такой обычай рыбачкий: кто выбрал себе место для уженья, вбивает в дно длинный шест, вроде заячного столба. И называется это т о ч к о й, строго оберегаемой неписанным законом. К чужой точке можно пристроиться и ловить рыбу. Но как только подъезжает хозяин, пришелец без слова сматывает удочки, потихоньку отчаливает и плывет, куда глаза глядят.

У меня с братом тоже были свои точки, места выверенные, окуневые. Становиться на точку надо затемно, в то время, когда солнце еще лениво потягивается за лесом. Удочки полагается закинуть к минуте, когда вдруг и неожиданно вырвутся и брызнут в разные стороны веселые, светлорозовые солнечные ручьи.

— Э, — говорит брат. — К нашей точке какой-то постоялец приткнулся...

Мы прямиком держим к нашему месту, а постоялец равнодушно посмотрел и даже не пошевельнулся.

— Эй, дядя, — кричит брат. — Это наша точка...

Дядя не оглянулся.

— А может он глухой? — с сомнением спрашиваю я, спускаю парусок и легонько подруливаю.

— Здравствуйте, — говорю, — слушаем, вы не глухой?

— Нету, — отвечает. — А почему спрашиваете?

Брат ехидно улыбается: потому, говорит, что вы нечаянно за чужую точку зацепились и не можете оторваться.

— За какую точку? — оглядывается дядя и даже рваную кепку стягивает, чтобы лучше видеть. — За точку?

Тут мы объясняем возможно язвительнее, что такое т о ч к а и почему не принято спорить с рыбаками. У других, говорим, характер беспокойный.

— Фу, — сердится он и с возмущением натягивает кепку, — какие у вас тут новости... Ну и чёрт с вами, — говорит и начинает стучать веслами и греметь каким-то ведром.

— Вы, — спрашивает брат, — надо полагать, приезжий?

— А в чем дело?

— А в том, что вот такого как погонишь с точки, так и начинает шлепать веслами погромче, да ночную посуду перекатывать в лодке, чтобы рыбу разогнать...

— Это не ночная посуда, это банка с червяками... — немножко потише хрипит дядя, отрывается от точки и плывет в сторону...

На воде время идет быстро, и в корме у нас хорошие окунь и несколько судаков. Брат не один раз уже поднимал крышку, заглядывал туда и пересчитывал улов. А потом начал вертеться в разные стороны и на часы поглядывать. Мне эти фокусы понятны, но я молчу.

— А что, — говорит брат. — Может к берегу подадимся?

Мне и самому хочется сесть у костра. Я люблю огонь, аромат ухи и запах только что поджаренной рыбы. Но я деланно зеваю и равнодушно тяну:

— Ну... нашел время... Самый клёв...

Брат тоже знает мои мысли:

— Да... ты прав...

И мы продолжаем возиться с удочками и червяками, но скоро я начинаю сожалеть, что повздорил с братом. И чем дальше, тем больше меня тянет к берегу, к костру...

— А что? — как бы советуюсь, обращаюсь к брату, — может быть поедем?

Брат в ужасе машет руками и трагически шепчет:

— Тише... выдумал такое... теперь самый клёв...

Мне неловко, что меня поймали на моей же хитрости. Молчу. Но долго не могу выдержать и уже прямо кричу:

— Давай поедем!

Брат презрительно оглядывает меня с головы до голых пяток и басит:

— А вот, когда будешь сидеть в своей собственной лодке, тогда можешь плыть в любом направлении... А пока что я хозяин. В колхозы, насколько мне известно, учителей еще не загоняют...

Я отворачиваюсь, пристально смотрю на поплавок и кумекаю, чем бы такое отомстить брату... Так, говорю себе, и начинаю развязывать рюкзак. Медленно вынимаю старую дедовскую стопку и вожусь с бутылкой русской горькой. Сначала рассматриваю ее на свет, потом внимательно читаю этикетку. Всем этим я настолько занят, что не замечаю косых взглядов брата. Потом наливаю себе стопку и...

— Ты что это там делаешь? — слышу ласковый голосок.

— А? — лениво спрашиваю, не поворачиваясь. — Да вот рюмашечку выпью... и дальше ловить буду...

— Вот ты это хорошо выдумал... Налей-ка и мне...

Я с удивлением оглядываюсь:

— Что-о? А ты заведи сам себе бутылку... будешь наливать, когда и сколько хочешь... Между прочим, водочку пока-что на колхозы не отпускают: продажа в индивидуальном порядке, совсем как при старом отвратительном режиме, а в конце месяца, когда трудящиеся без гроша денег, даже без очереди... Эту бутылочку, кстати, я покупал на собственные денежки...

Потом я начал пристально рассматривать старенькую серебряную стопочку. Отставив ее, разрезал сочный помидор и круто посолил. А когда опять забулькала бутылка, брат сделал глотательное движение и сердито крякнул.

Я еще долго возился около рюкзака. Потом незаметно пододвинулся к нахохлившемуся брату и легонько тронул его плечо:

— Держи, Павел...

— Что?

— Выпей дедовскую черепушечку...

— Гм... — сказал брат... — А ты?

Мы долго деликатничаем, отказываемся в пользу друг друга. Наконец, я заявляю:

— Ты мой старший брат... По праву, так сказать, первородства...

Брат облизывается, берет помидор:

— Ну, разве так... За твое здоровье!

Он выпивает, смачно закрывает глаза и вздыхает:

— Знаешь что? Едем к берегу...

Я начинаю спорить, доказывать, что сейчас самый лов.

— Ну, какой лов! Вон где солнце... Уже к полдню. Время такое, что и рыба отдыхает...

И как будто нам угрожает опасность, он торопливо собирает снасти, отвязывается от точки, а я вожусь с парусом...

Вот он и берег... Костер. Сковородка, котел, рыба... Всё очень быстро, и в скорости этой большое рыбакское искусство...

Надо хорошо знать, когда, сколько и как бросить соли, луку, лаврового листу. А самое главное, надо точно угадать, когда в бурлящую воду опустить рыбу. Тут уж часы не нужны. Опустил рыбу — смотри на глаз рыбий! Две или пять минут, не важно, а как только побелел глаз рыбий — прочь котел от костра, скорей

накрывают крышкой, сверху клади пиджак или одеяло... и через мгновение поползет такой тонкий аромат ухи, что даже трезвенник начинает вспоминать, что «веселые Руси есть пти»...

У нас одна стопочка. Она ходит в очередь... Мы не говорим, но мы переживаем счастье сидеть на берегу Селигера, у леса, не иметь ножей и вилок, забыть о салфетках и пальцами тянуть окуня со сковородки...

Бутылка уже перевалила за вторую половину, и мы видим, как тот дядя, с которым утром маленечко поцарапались, снялся со своего места и держит путь к берегу. Прямо к нашей лодке. И пристает рядом. Выйдя из лодки, он потягивается, чешет левую щеку и как будто задачу какую решает.

— Робинзон Крузо остановился в недоумении, заметив следы человека на необитаемом острове, — говорит брат и подбрасывает ветки в костер.

А дядя идет к нам, такой пожилой, но еще крепкий, в сандалиях на босу ногу, в штанах рваных, одно колено просвечивает, а кепка косо, козырьком на ухо, сидит.

— Здравствуйте, — говорит, и этак умильно поглядывает на сковородку с жареными окунями и на дедовскую черепушечку.

А у рыбаков, — я рыбаков каспийских, и волжских, и северодвинских, и байкальских, и камских знаю! — так уж принято: пришел человек к костру, не спрашивай, кто он, да откуда он? Про то святому Николе ведать надлежит. А подошел человек — человек гостем стал. И сколько у тебя хлеба есть, про то никому не интересно, может и самая чутинка у тебя, но обязан ломать этот хлеб и кусок прибившемуся протянуть. Не за спасибо, а так, по-божески и по-человечески...

И на Селигере то же... — Здравствуйте, отвечаю, и пододвигаюсь, хотя нас только двое, и места, значит, вволю. — Здравствуйте и садитесь...

Подошедший картуз с головы снял, сандалии развалившиеся отбросил в сторону и сел. И с таким шикарным бродяжническим видом руки протянул к огню, погреть вроде, хоть июль стоит и необходимости в том нет. А это просто для того, что вот, дескать, деликатность понимаю: пригласили, сел, а что дальше — меня то не касается.

Брат наливает стопку:

— Пейте...

Пьет.

— Закусывайте...

Закусывает.

И вторую пьет, и опять закусывает, и умело поднимает окуня пальцами и быстро-быстро обкусывает и, как принято в лесу и на свободе, пожаливает...

А тут и бутылке конец.

— Вот видишь, — гневается брат, — всегда у тебя это самое скупердяйство: что бы купить две бутылки... а то смотри сам: тут и человек подвернулся, а его — в насмешку что ли! — чаем угощать будем... Балда, право слово, балда...

Тут дядя встает: спасибо, говорит, за привет и встречу рыбачью, я, говорит, сейчас, на минутку... И идет к своей лодке. Ковыряется там. Потом возвращается и за спиной у него болтается замечательный рюкзак. Я смотрю на дядю и удивляюсь: при его штанах да кепке с сандалиями и такой рюкзак!

Дядя садится. — Чёрт его знает, говорит, вы вон сколько рыбы наловили, а у меня, скажи на-миłość, и клёва настоящего не было. Говорит всё это и развязывает рюкзак.

— Позвольте, — бормочет, — у меня тут баклашечка есть... под вашу закуску пройдет и она.

И ставит меж нами бутылку коньяку. А брат хлопает себя по коленкам:

— Хо-хо! Поручик в полной форме!

— Какой поручик?

Брат потирает руки, — у нас, говорит, в полку, как коньянк в три звездочки, так по чину поручиком называли.

Пришлось опять уху заваривать, а к жареной рыбе дядя еще что-то приносил, и хвастался, что вот теперь, как прикончим это, он выберет сам себе место и тогда лов будет другой.

А дальше время пошло очень быстро, и проснулись мы только в темноте...

И уже на следующее утро никак не могли вспомнить, с кем это вчера познакомились, даже друзьями стали и обещались друг к другу в гости ходить. Брат прямо сердился. Ты, говорит, помоложе, ты обязан все помнить. С кем это на берегу познакомились?

— С кем? С дачником...

— С да-ачником! Без тебя знаю, что не с колхозником. А с каким дачником? Ведь ты с ним обнимался...

— Я? Обнимался? Это ты сам ему на ухо какие-то секретные приметы шептал и о таинственных насадках рассказывал...

— Я? Секреты? — пугается брат, потому что свои рыболовные секреты берег даже от меня. — Ты не выдумываешь?

А потом опять пристает:

— Да ты вспоминай фамилию своего друга... что-то на «ович»...

— На «ович»? Каганович? Обредович? Пенькович...

— Сам ты пень-кovich! — сердится брат...

Так и не вспомнили фамилию своего нового знакомого. Несколько раз ставили парус и специально бегали по дачным местам и разглядывали дачников, всё хотели узнать дядю. И не могли найти среди гладко выбритых, в шляпах, в лакированных туфлях, нашего знакомца в разваливающихся сандалиях и с продранными штанами. А других примет у нас не было...

В какой-то праздничный день сидим мы на своей верандочке и вдруг вбегает дочка.

— Там вас какой-то дядя спрашивает...

— Колхозник? — спрашиваю я.

Ирочка делает страшные глаза.

— Что вы! Дядя элегантный... сигара... шикарная...

— Сигара шикарная?

— Ай! Шляпа шикарная и вообще... удивительно воспитанный: «Скажите, говорит, мадемуазель...»

— А где же он мадемуазель встретил? — спрашивает брат.

Ирочка обиженно поджимает губы:

— Это он так ко мне обратился...

— Хо-хо, — брат пригибается к столу и вертит головой. — Вот они где сказываются пережитки прошлого, разлагающее влияние среды и...

В это время открылась дверь и вошел... сказать, что появился товарищ — погрешить против истины; банальное слово господин здесь тоже было не совсем у места. И дело было, конечно, не в на самом деле шикарном костюме, а в чем-то другом, неуловимом и очень тонком, свойственном культурному человеку прошлого.

— Вот я и навестил вас... Мадемуазель... (тут следовал легкий поклон, и я с удивлением отметил грациозное движение девочки на чуждо ей слово)... Мадемуазель была настолько любезна, и я рад возобновить знакомство...

Тембр голоса, рисунок бровей и еще что-то в самом лице будили воспоминания, но память была бессильна. Это вызы-

вало легкую растерянность, недоумение, и, чтобы скрыть это, я воскликнул:

— О, да . . . чрезвычайно рад.. Позвольте познакомить: моя дочь, Ирочка . . . брат . . .

— Мадемуазель . . . А с вашим братом я знаком . . .

— ?!

— Неужели забыли недавнее? А для меня та встреча, помните, на озере, у точки, потом у костра вашего . . .

Вот это простое слово кoster сразу и всё востановило в памяти. Как будто вспыхнули сосновые ветки и осветили того, в разваливающихся сандалиях, в потрепанном плаще и в кепке, сдвинутой на ухо.

— Э, дядя! — против воли и совсем тихо произнес я, и тут же с сожалением увидел лакированные туфли и мягкую фетровую шляпу . . . — Простите, это невольно, так, знаете, вот . . .

— О, Бог с вами! Поверьте, что ваше восклицание мне очень и очень понятно . . .

— Ну и удивили, — оттягивая мочку правого уха, произнес брат. — Мы ведь вас столько раз пытались найти . . . именно по тем, дядиным, приметам. И безуспешно . . .

Гость пожал нам руки:

— По фамилии меня могли найти . . . Меня тут многие знают..

Брат опять взялся за ухо:

— Видите ли . . . после оказии с вашим рюкзаком мы . . . забыли вашу фамилию. Вспоминали . . . вспоминали . . . все возможные фамилии на «ович» перебрали и . . .

— До «Овсова» не дошли ? . . .

— Не дошли . . .

— И вот перед вами таинственный незнакомец?

— Да . . .

— Тогда — маску долой: Качалов, Василий Иванович . . .

Тут произошла короткая немая сцена, видимо, очень выразительная, потому что брат строго посмотрел на меня и сказал:

— Подбери немножко губу . . . наступят . . . Простите, Василий Иванович, он только во время отпуска выглядит таким простаком . . . Но у него это не хроническое . . .

Качалов расхохотался. Знаете, говорит, я еще тогда заметил ваши удивительные отношения. Мне кажется, что теперь это не часто можно встретить: теплота, преданность, детская любовь, прикрываемая легкой иронией, как бы завесой, отгораживающей вас самих от нашего сурового и нескладного времени . . .

— Да, да, это вы очень хорошо сказали, — вмешивается брат.
— Но его-то вы не особенно хвалите, а то он сам будет говорить о своих достоинствах и сомневающихся станет убеждать вашим авторитетом... Да еще при случае ваши же слова втиснет в очерк и потребует двойной гонорар: слова-то, дескать, какие — качаловские...

А потом брат поворачивается ко мне и с возмущением говорит:

— Откуда же ты выдумал фамилию на «ович»?

— Позволь, — начинаю и я отбиваться. — Ведь ты сам совсем недавно утверждал, что именно на «ович»?

— Тогда мне позвольте, — вмешивается Качалов, — тут уж я виноват: при случайных встречах, когда еще не знаешь, будет ли желание продолжить знакомство, я называю свою фамилию — Шверубович...

— Ага! — с торжеством кричу я. — Значит — «ович» существовал!

Брат надоедливо отмахивается:

— К чему такой шум? Ведь ты только что, и при свидетелях, утверждал, что это я говорил об «овиче»... Теперь ты это тянем к себе... Плагиат. Нехорошо.

Исчезнувшая во время разговора Ирочка вновь появилась на веранде и с любезностью дамы, умеющей вести дом, пригласила:

— Прошу к столу... чай со свежим малиновым вареньем... Очень вкусное...

Василий Иванович увидел в волосах девочки ромашку.

— Какая громадная... Удивительная...

Ирочка радостно улыбнулась, сняла ромашку и протянула Василию Ивановичу.

— Пожалуйста, возьмите...

— Это еще не большая ромашка. Вот вы только погодите, я вам подарю ромашку величиною в чайное блюдце... Хотите? Тут недалеко от нашей дачи такие растут... Нигде больше таких ромашек нет...

— Ромашка... — задумчиво произнес Качалов. — Знаете, Ирочка, Антон Павлович...

— Чехов?

— Да, Ирочка, Чехов... Антон Павлович очень любил ромашку...

Ирочка опустила голову и прошептала:

— Я... я тоже очень люблю ромашку. Она такая светлая...

Вот после этого свидания и завязалась та удивительная дружба, выросшая на любви к лесу, к воде, к свободе под чистым небом, где словам возвращался их непосредственный смысл и точность.

Качалов как будто бы забыл, что существует его же дача в Крыму. Он взял с нас слово, что мы будем извещать его, когда переселяемся на Селигер.

И каждый раз, бегая под парусом, он находил всё новое и новое в уже знакомых местах, заводях и островах. Даже самый дальний Полоновский плес — и тот уже мы успели несколько раз посетить.

Но самым любимым его местом была Терегоща. Это такое небольшое озеро, прямо-таки дикое, сплошь заросшее кувшинками и камышами. Терегоща соединялась с Селигером удивительно путанными протоками.

Эта Терегоща была особенно по душе Василию Ивановичу, потому что дачники сюда не попадали, и берега Терегощи, сплошь заросшие многосотлетними соснами, были нетронуты.

Пробраться в Терегощу могли только знающие все хитрые переплеты протоков. Без этого путались люди часами, застревали на перекатах и, наконец, одолев их, безнадежно останавливались среди жидких и вязких болот. Редко у кого появлялась охота волочить лодку по этому месиву, преодолевать те две-три версты, которыми отгораживалась Терегоща.

Мы же знали круги, повороты и попадали в Терегощу почти без труда. И если уж добирались, то в полной тишине и одиночестве проводили тут дня по четыре, сидя у костров.

Это озерко было окружено древним лесом. Ночами, в часы когда заря с зарей сходится, сидели мы у потухающего костра и вслушивались во всплески гигантской рыбины, в хриплое кряканье уток или в торопливо свистящий полет чирка.

Много мы таких ночных провели здесь.

И как-то так невольно всегда бывало, что часы, проведенные у костров, были заполнены рассказами Качалова о его интересной жизни. Всё такое яркое и удивительное.

Слушаешь, слушаешь, и не удержишься:

— Василий Иванович, неужели вы не записываете, не записали обо всем этом, что вот здесь нам рассказываете?

— Мемуары? — смеется. — Во-первых, мне еще далеко до восьмидесяти, во-вторых — время наше не мемуарное... неудобное время... Ну, вот там, скажем, есть чем помянуть Куприна... Помянуть-то есть чем, да сам Куприн — в белых эмигрантах...

Или — Бунин... Ведь вот о ком многое можно сказать... Нужное не только мне да вам, всей России нужное... Вот был граф Лев Толстой. Это апофеоз русской классики, идущей от Пушкина. Последние страницы этой классики — допишет Иван Бунин и ее закроет. Придет, видимо, должна придти новая классика. Какая она будет, что она даст и как утвердит свое новое, это другое дело, но та классика, величественного в своей простоте русского слова, завершится Буниным... Очень отчетливо предугадывал это и Антон Павлович Чехов, с сомнением относясь к декадентам и прочим революционерам в литературе. Вот если бы вы имели возможность достать журнал за 1914 год «Рampa и жизнь», там об этом записано. Я передам очень вольно, но смысл чеховских слов таков: в русской литературе эти все декаденты и им подобные ни к селу ни к городу и будущего у них нет. Имена их модны сегодня и пропадут завтра. А вот такие, как Горький, Бунин, Куприн останутся в истории русской культуры. А о самом Бунине Чехов, за несколько дней до своей смерти, вспомнил и просил передать ему, чтобы он писал и писал, что из него (Бунина) большой писатель выйдет. «Так и скажите Бунину от меня. Не забудьте», закончил Чехов, обращаясь к тем близким писателям и друзьям, которые провожали его за границу, откуда через короткое время вернулся в Москву гроб с прахом Антона Павловича... Вот это Бунин... Как о нем говорить... Да, за кого ни зацепишься — всё не то, не по времени... А о тех, о которых можно говорить, что о них скажешь? Они сами о себе уже всё рассказали... а опровергать их... стоит ли?

— Ну, вот, Горький. О нем...

— Что ж Горький? Кстати, у меня был друг, Л. А., так вот он тоже любил так сидеть и слушать. У вас, говорит, Василий Иванович, такая жизнь богатая... И слушал об этой богатой жизни... Слушать-то слушал, а потом возьми и напечтай воспоминания по... моим воспоминаниям... Да-с... Так вот поймал я Л. А. и говорю ему: «Знаете что, подождите: вот помру, тогда и пишите»... И что же вы думаете: держит слово и... ждет... И вы вот то же: если не скучно, слушайте... может быть что-либо в памяти останется, так потом... подождите малость... Мне уже пятьдесят пять лет...

— Василий Иванович, к чему такое? — запротестовали мы и смеяясь попробовали, а всё же немножко грустно стало. Потому что... уходит всё, с прошлым связанное, уходит, часто непонятое, яркое, нужное и замолчанное...

— Вот тогда и вспоминайте... если можно будет, — продолжал Качалов. — С мертвого не взыщут. — А что Горький?.. Ну, Горького вы знаете, знаете тем, каким он был до и каким стал после до... А за всеми справками можно обратиться к написанному о нем. И такой и сякой, прямо идеально замечательный. И друг тому и этому... и чуть ли не родной брат Чехову... Я вам говорил о словах Антона Павловича: Горький войдет в историю культуры России. Сейчас его приказано считать классиком, за его глубоко идейные произведения... И критики в один голос превозносят Горького именно за это... А Чехов имено это отбрасывал из творчества Горького и с сожалением улыбаясь, говорил, что в Горьком ценят не то, что надо... Но это между прочим... А вот когда пишут «Горький любил Чехова», это уж, извините, не только преувеличение, а прямая ложь. Горький не любил Чехова, хотя и был близок ему... А близок потому, что Антон Павлович верил в талант Горького и, человек святой души, до самозабвения деликатный, хоть и знал, что Горький его не любит, что криводушничает, а все же говорил: «Конечно же, знаю... знаю... но талант ему Богом большой дан... Жаль только, что Горький душой какой-то не русский... матерьялист и счетовод»... Почему же счетовод, спрашиваю. А Чехов посмотрел поверх пенснэ и отвечает: «Конечно же. Как же вы не угадываете?.. Вот я в последнее время занялся — знаете чем? Читаю биографии знаменитых писателей. Для чего? Чтобы, понимаете, знать, кто из писателей денежным человеком стал... И поверьте моему слову: будет Горький мильёнщиком. Станет мильёнщиком, конечно же станет, и все ему будет мало... Счетовод!»

Василий Иванович помолчал. Потом добавил:

— Вот вам и Горький... по Чехову... А уж потом, когда Антона Павловича не стало, я частенько вспоминал его слова и к тем словам добавлял свои наблюдения и слышанное о нем... Прав был Чехов. Большим коммерсантом стал Горький. Счетоводом был, все, каждую свою поставленную на театре пьесу в книжечку заносил и оценивал в рублях... А рубли-то в иностранных банках держал... И за свеженькими мильёнами в СССР вернулся... А что прогадал на этом... и счетовод, бывает, просчитывается... В какой-то советской пьеске герой говорит, что он «мордой столкнулся с жизнью...» Некрасиво звучит, но здорово: после такого столкновения кой-кто лезет в петлю или за пистолет хватается, а другой спокойно кладет парус под партийные ветры и во весь голос славит погоду...

Любил Василий Иванович Терегощу, но любил и просторы, широкую воду. Расстояния тут не акти-какие. Самый большой пароход «Совет», до революции принадлежавший Ниловой пустыни, совершил дальние рейсы от Осташкова до Полоновки и с заходами делал более ста верст. Но дело не в верстах. На Селигере были удивительные места, известные только охотникам и рыболовам, и куда дачники путей-дорог не знали. Вот в такие уголки мы привозили Качалова, и он по-детски радовался и искренне удивлялся:

— Чудеса... Чуть ли не центр России, а берега до сих пор нехоженные...

И попадая на эти берега, Василий Иванович, городской человек, вечный столичный житель, появлялся тут в удивительном костюме, вроде того, о котором я уже рассказывал.

Бывало, не удержишься:

— Василий Иванович, мы, можно сказать, дети природы, а штаны у нас целые.

Качалов передвигал с уха на ухо рваную кепку:

— Смешняки! У меня тоже были целые, да я их сам нарочно изодрал, чтобы солнышко голыми коленками поймать...

4. ПРОЩАНИЕ С ВЛАСЫЧЕМ

Вслед за славой на Селигер пришли два глиссера. Правда, один принадлежал НКВД, но другой можно было вызвать по телефону, уплатить 80 рублей за час и мчаться в любом направлении.

Глиссер делал до ста верст в час, ревел авиационным пропеллером, скользил, чуть касаясь воды, метеором проносился мимо пляжей, расцвеченных яркими купальными костюмами дам, привезенных ответственными партийными работниками.

Патефоны наигрывали фокстрот и танго; в балетных тапочках грациозно поворачивались и изгибались танцующие. Открывались бутылки... Тонкие сухарики «Деликатес» приятно хрустели на зубках, выглядывающих из-за ярко-карминных губ.

Темная синева озера и зелень делали Селигер праздничным и нарядным. И так не к месту здесь были оборванные колхозные детишки, прятавшиеся в кустах или в лесу. Их прогоняли. Около особо ответственных дач появились специальные патрули. Правда, они не имели никакой формы, но всем было понятно, что с

ними нельзя спорить. Мальчишки тоже не спорили. Но с упрямством голодных зверей они затаивались и выжидали, когда закончатся танцы и солнечные ванны. Как только нарядные и смеющиеся дамы со своими кавалерами садились в лодки и перебирались на соседний остров, колхозные ребяташки ползали по земле, выискивали корки, огрызки белого хлеба и всё это торопливо запихивали в карманы. Консервные банки тщательно вылизывались.

С этим еще можно было мириться. В конечном счете, мальчишek просто прогоняли. Получалось даже какое-то разнообразие.

Но вот когда к отдыхающим дамам и их партийным покровителям стали тенью подходить тощие деревенские бабы с грудными детьми и протягивать за милостыней грубую, в сухих мозолях ладонь, это уже мешало празднику. В местной курортно-колхозной газетке «Путь октября» сам ответственный редактор Алексей Алексеевич Полосухин написал душевную, прямотаки лирическую статью. «На берегах и островах нашего гостеприимного Селигера должен быть обеспечен отдых нашим дорогим гостям из Москвы и Ленинграда».

Я не хочу сказать, что дальнейшее произошло только потому, что дети и старухи колхозных и рыбакских поселков Селигера были лишены права просить милостыню у обитателей дачных поселков НКВД, обкомов или управления рабоче-крестьянской милиции. Дело было, конечно, не только в этом.

Во всяком случае «дорогие гости» очень скоро были избавлены от надоедливых голодных баб: на острове Хочин, — это тот самый остров, на котором разместилось семь рыбакских поселков! — совершенно неожиданно вспыхнуло какое-то заболевание, сразу уложившее в постели и взрослых и детей. Болезнь перекинулась на материк, и кем-то случайно сказанное слово «холера» в два дня очистило берега гостеприимного Селигера.

Обо всем этом я узнал из письма брата, и он утверждал, что никакой тут холеры нет, а просто сыпной, голодный тиф. Брат не был лекарем, но он оказался прав. То же самое подтвердили и врачи, приехавшие на Селигер.

Когда я вернулся к брату, то узнал, что на всей территории строжайший карантин: никого никуда отсюда не выпускают.

Брат мой был деятельным помощником-добровольцем у врачей, и они ему были искренне благодарны за то, что он принял на себя «управление» одним полевым госпиталем, куда были сложены больные рыбакского поселка. Каждый день сюда приезжал старенький врач-еврей, осматривал лежащих, оставлял лекарст-

ва, а брат кипятил воду, разносил чай, давал порошки, а иногда, ночью, вытаскивал за двери умерших.

Однажды вернулся на дачу брат и пожаловался. Очень устал, говорит, и что-то даже голова болит. Я встревожился и начал уговаривать брата отдохнуть, а он рассердился и балдой меня обругал. Ты бы, говорит, посмотрел на Левина, на этого стариичка-еврея, на доктора. Его никто сюда не тянул, он сам приехал на эпидемию, но еле ходит, а весь горит во имя этого селигерского рыбака. Я тебе скажу больше: у него где-то под Москвой осталась старушка, так ведь она на пенсионные деньги покупает медикаменты, где-то достает манную крупу и присыпает ему... а я из этой манной крупы варю больным кашицу... Ты не беспокойся... Я сейчас лягу, усну, а ты меня побуди на рассвете и утром подбросишь к острову...

На рассвете я стал будить брата. Он открыл непонимающие глаза и начал бормотать что-то такое странное, совсем несусальное. Я положил руку на его мокрый лоб, потом позвал Якова, бобыля, попросил посмотреть за братом, а сам поехал по островам. Я нашел этого стариичка-доктора. Я ему всё рассказал и Христом-Богом просил сесть в лодку и сейчас же ехать со мной.

— Я вас понимаю, — сказал Левин. — Он, конечно, заразился... Но сейчас я не могу поехать, потому что вот на этих островах я должен осмотреть сорок одного больного... Их там уже будет меньше: видимо, тридцать девять, так как двое были очень плохи... Но вы не беспокойтесь... у больных тифом есть день-другой льготный. Так что мы не опоздаем. А если хотите ускорить, то можете меня под парусами повозить... меня возит на веслах одна старуха, знаете, она слабая, и всё очень медленно, а я сам помощник плохой...

Старичок-доктор к вечеру осмотрел брата. Да, говорит, тиф... И знаете что: всё осложняется сердцем и вот вам мой совет: попытайтесь доставить его в какую-нибудь больницу... Вы сами видели, как и чем я располагаю, и поэтому...

Я поблагодарил врача, принял от него микстуру и порошки, дал наказ бобылю Якову и кинулся в район. Да, говорят, сочувствуем, но помочь ничем не можем: карантин. Я и там и там был: ничего не помогает. Правда, в одном месте намекнули, что ведь карантин это не блокада, не какая-нибудь цепь военная кругом, так себе, на дорогах проверяют, вы понимаете... Дескать, смотрите сами, чего вас учить...

С тем я и вернулся и направился к участковому старшему милиционеру. Он жил вдали от берега и я прискакал туда на Власыче. Старший встретил меня как знакомого, даже пригласил зайти выпить рюмку водки. Нет, говорю, не до этого, и всё ему выложил. Помогите, говорю, ведь один у меня брат остался, пусть и безногий. Уж я вам, говорю, вот как буду благодарен, уж я... — А я, отвечает старший, знаете, член партии и, дорогой товарищ, взяток не беру... — Ну и Бог с вами, не брали и не берите... А помогите... Ведь можете помочь?.. — Помочь, конечно, могу, отвечает. А знаете что: помогу, а вы мне, так сказать, продайте Власыча, то есть конька вашего... Вам он ни к чему, баловство, а мне по служебным делам вот каково хорошо будет...

Меня как кипятком обдало. Потом холодно стало, и я говорю: идем... Мы вышли во двор, Власыч повернул голову и весело так заржал мне навстречу. Я подошел к нему, погладил его крутую шею, поцеловал в губу и говорю:

— Вот, Власыч, твой новый хозяин... Берите...

— Нет, — отвечает старший. — Так это нельзя: всё надо оформить юридически. А то, — говорит, — ваш брат умрет, а вы начнете насчет конька бузотерить...

— Оформляйте...

Мы вернулись в избу, он написал расписку о покупке коня и о том, что я никаких претензий иметь не буду. А теперь, этак рассудительно заявляет, надо позвать понятых, чтобы которые в случае чего могли...

А понятые уже сами появились, стоят и рассматривают Власыча, чолку приглаживают, в зубы смотрят и совсем правильно определяют: «на шестой годок ему пошло...»

Старики очень хорошо знают, что такое понятые, но не хотят подписывать. Один просто так отнекивается, я говорит, неграмотный, а второй: «ну зачем тебе такой, ведь ты всех коней колхозных перепортил... ты бы себе, говорит, лисапеду купил». Начальник сердится, даже начинает кричать:

— Это не ваше дело... Подпишись, тебе говорят: я знаю, ты грамотный, и не имеешь законного права отказать быть понятым у представителя настоящей советской власти...

Ну, а дальше перевозили моего брата по лесу, без дорог, потом подошли к старому Полоновскому заказнику. Всю эту тяжелую дорогу тянул телегу с сеном и с братом Власыч. Тянул почти два дня без остановки и уже милиционер по-хозяйски начинал разговор о том, что надо дать коню ночевку на отдых...

И когда я положил брата в районную, далекую больницу, милиционер попрощался со мной и довольно любезно предупредил:

— Так что, дорогой товарищ, если ваш брат умрет, я за это не отвечаю, потому что...

— Понятно, — говорю. — Претензий не имеется...

Я подхожу к Власычу, последний раз целую его в мягкую, ласковую губу и жалуюсь:

— Власыч, не по моей доброй воле всё так стало...

А милиционер меня успокаивает:

— Не беспокойтесь, дорогой товарищ... Власыч будет в справности... собственный...

5. БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ

Историю с Власычем я рассказал Валентину Петровичу К. в Йрославле на Волге. Было это в уютном речном ресторанчике, приткнувшемся к пристани.

Потому ли, что всё это в самом деле было занято или почему другому, не знаю, но Валентин Петрович долго молчал после поставленной мною точки.

— Да, — наконец спросил он, — а вы не сказали главное: брат?...

— Выздоровел...

— Так говорите: Селигер...

— Вы послушайте, перебиваю, я хорошо знаю Бориса Николаевича Полевого и одного писателя, прославившегося романами из колхозной жизни. Борис Николаевич в те поры был заведующим литературным отделом газеты «Пролетарская правда», что в Калинине. Вот встречаю Полевого и с удивлением спрашиваю: «Что? Правду говорят, что вы уже в партию подались? Значит, говорю, и дружба врозь?» А он всё смеется, потирает руки: «Глупости... Я, кстати, уже редактор областного издательства»... И в общем — ничего. Поставлял ему очерки, потом это он ведь издал мои «Осенние новеллы»... Так вот, Борис Николаевич об этом колхозном писателе в минуты откровенности любил появляться: «Это он только так о колхозниках пишет, а на деле — он болен мужичками-единоличниками»... В этом месте всегда смеялись и Наташа Кавская, жена Полевого. смеялась и говорила: «Борис, брось!.. А вы поменьше слушайте его!»

— При чём здесь Борис Николаевич, колхозный писатель, Наташа Кавская? — спрашивает Валентин Петрович.

А при том, отвечаю, что и я вот болен Селигером, его ночами, проведенными у костров, тишиной лесной жизни валдайских людей, прямых потомков вольных дружин Великого Новгорода...

Валентин Петрович как-то вдруг затосковал, ненужно громко стукнул кулаком по столу и потребовал бутылку не то ликеру, не то коньяку, начинавшего тогда входить во славу под маркой «Белый медведь».

Кто кого провожал к поезду, сейчас не могу припомнить. Известно только одно: ему надо было ехать на север, мне на юг, а утром мы оба проснулись на пароходе, в отдельной каюте, долго смотрели друг на друга и видимо друг в друге заметили что-то смешное и расхохотались.

— Белый медведь? — спрашивает Валентин Петрович.

— Н-не... — отвечаю. — На Волге под таким названием парохода не значится...

— Да нет, я не об этом... Я об том «Белом медведе», помнишь... вчера...

— Позволь... позволь... А, вспомнил!.. Да, «Белый медведь»...

Валентин Петрович выглядывает в иллюминатор, поворачивается и радостно спрашивает:

— Слушайте... а вы можете с уверенностью сказать, что это Волга?

Я лезу к иллюминатору, высываю голову, раскрытым ртом ловлю свежий речной воздух и от счастья жмурусь. Потом открываю глаза, смотрю на тонкие черты Заволжья, сразу узнаю их и говорю:

— Гарантирую: Волга!

В это время с кормы доносится еле слышный музыкальный аккорд. Быстро растаяв, через некоторое время он опять возник, и Валентин Петрович почему-то пристально посмотрел на ногти своих пальцев. Я уже знал, о чем он думает, я вспомнил ту встречу в Средней Азии, когда я, взглянув на его руки, шутя сказал, что таким пальцам легко бегать по клaviшам рояля.

Я и сейчас ему напомнил о той, далекой первой встрече среди лесков, о степных рассказах и легендах о барине-генерале и купленной им жене-калмычке, о батырь-камне, о кумысе, легко и загадочно опьяняющем.

— Да, да... — полузакрыв глаза, шепчет он: — Аккорд... случайный аккорд... и вот я уже вижу... мне хочется видеть эту носовую, блестящую полированным деревом кают-компанию, перед сплошными окнами которой расстилается Волга... Вправо от дверей стоит пианино... Да... Она приближается к пианино, поднимает крышку и легкий батист рукава скользит по тонкой руке... Слегка склонившись, какие-то секунды стоит она задумавшись, потом садится и полузакрыв глаза играет, и маленькие клавиши легко и радостно подчиняются ее воле...

Потом он посмотрел на себя в зеркало, взглянул на меня и этаким братишкой, сквозь зубы, прошептал:

— А шшто, товарищи, побриться, шшшто-лиши...

Приведя себя в порядок, выпив по бутылке нарзану, мы направились к носовой кают-кампании. Вошли...

— А... товарищ К. И вы на этом пароходе?

Секретарь обкома спешил познакомить со своей женой:

— Артистка областного драматического театра...

К. уговорил секретаршу продолжить игру. Кокетничая, она предупредила, что консерватории не оканчивала.

Мы отошли в сторону, и К. прошептал:

— Мда... а как здорово эта областная бабища дала по морде моей фантазии... Легкий батист рукава скользит по тонкой руке... Мда...

Секретарша закончила играть, и ее муж, довольно улыбаясь, спросил:

— Ну, как?

К. сразу же зааплодировал и сказал:

— Здорово... знаете ли...

После обеда секретарь обкома начал приглашать принять участие в вечере самодеятельности. Люся тоже будет, успокаивал нас секретарь, и многие другие... В общем, проведем время культурненько...

Когда ушел секретарь, мы поднялись на верхнюю палубу, нашли помощника капитана и начали просить пристать к любой первой пристани и высадить нас. Оказалось, что этот пароход был скорый, прямого рейса и останавливался только у крупных пристаней. Я его сильно просил, познакомился с ним, показал ему свой документ... Старик пошел к капитану...

Приближаясь к какой-то пристани, пароход замедлил, сигналями вызвал шлюпку, и нас нахodu ссадили. В последний момент это заметил секретарь и очень огорчился. Что вы, говорит, куда вы... знаете, ведь Люся собиралась...

К. спросил:

— А сколько лет вашей Люсе?

Секретарь еще больше свесился с борта, оглянулся по сторонам и шепотом ответил:

— Тридцать два... а вообще сорок два...

— Аага, — обрадовался Валентин Петрович. — Я так и думал... Посоветуйте Люсе бросить музыку и заняться балетом... При ее областной комплекции это будет выглядеть прямо-таки изумительно...

Так мы освободились от парохода, на который занесла нас чистая случайность. У пристани, в маленькой деревушке на крутом берегу Волги, провели несколько часов, поджидая оказию попасть на станцию железной дороги. Потом, прощаясь, Валентин Петрович сказал:

— Знаете, я, кажется, заболел Селигером... Я приеду к вам... Можно?...



Г. А н д� е в

Г. Андреев (Геннадий Андреевич Хо-мяков) — после окончания средней школы, в 1926 году, начал работать в губернской газете. Тогда же напечатал несколько рассказов. Через год был арестован и осужден ОГПУ, по 58 статье, на 10 лет концлагеря. В 1942 году, в Крыму, попал в плен. Остался на Западе и в 1946 году, после почти двадцатилетнего перерыва, вновь занялся литературной работой. За эти годы напечатал много рассказов, очерков, статей в русской зарубежной прессе. Выпустил книгу очерков и рассказов «Горькие во-ды» (1954). «Соловецкие острова», напечатанные впервые в журнале «Границы» (№ 8, 1950 год), печатаются здесь с сокращениями.

СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА

1927 — 1929

... Море Белое, водная ширь,
Соловецкий былой монастырь.
Со всей русской бескрайней земли,
Нас на горе сюда привезли.

(Из соловецкой песни)

I

Я люблю соловецкую осень, когда желтеют листья кривых берез, короче становятся дни и долгие ночи плотнее окутывают наш угрюмый остров в густую, непроглядную темь. В эту пору иногда выпадают тихие, теплые дни, немного похожие на дни бабьего лета где-нибудь под Калугой или Воронежем: не дует нескончаемый ветер, не моросит надоевший дождь, а неяркое, меркнувшее солнце льет на камни, на море бледные, не жаркие, поздней и печальной лаской греющие лучи.

Хорошо в такой день итти по лесу, без дороги, без тропинки, пробираясь сквозь чащи кустарников, обходя разлапистые ели,

под которыми притаился синий сумрак. Ноги тонут в подушках из мха, скользят по камням, а вокруг неподвижная, безмолвная тишина. Птицы не гнездятся в соловецком лесу, их щебет не нарушает лесного молчания, и только когда дует ветер, скрипят вершины сосен и елей, гнутся белые березы, тревожно гудит лес. Но сейчас тихо в лесу и эта тишина увеличивает печаль осеннего увядания.

Хорошо в предвечернее время разыскать одно из бесчисленных соловецких озер, окаймленное большими валунами, покрытыми вековой темно-зеленою плесенью. Вода в озере не шелохнется, она застыла, как чёрное зеркало, а в него смотрятся застывшие на берегу высокие сосны. Непроглядны воды озера, но я сажусь на камень и долго, долго смотрю в черную гладь: мне все кажется, что в одном из этих, так похожих одно на другое озер, сквозь холодную воду непременно покажутся колокольни Китеж-града, спрятавшегося где-то тут, на дне...

Тоска, тоска... Я не знаю, почему нельзя прогнать ее, не знаю, откуда она у меня. Ведь не оттого же, что мне еще долго жить на этом острове, еще долго бродить по соловецкому лесу и тщетно смотреть в молчание зеркала его озер?

Тень под елью неподалеку притаилась, как живая. Она смотрит насупленно, строго, не сводя с меня глаз. За сосновой, в кустарнике, тоже притаились уродливые тени. Налево, в зарослях, что-то темнеет, будто вытянув вверх руки. Лес полон призраками, грозящими, усиливающими тоску и смятение в груди. Откуда они? Может, они пришли по моим следам и опять обступают меня, как и всюду?

Мы живем в странной, малоправдоподобной обстановке. Много людей вокруг: милых, хороших, добрых. Но приглядевшись, можно увидеть, что они словно не настоящие. Будто вынули из них что-то, без чего они не могут быть настоящими людьми. Так же, как не могу сделаться настоящим и я. Почему?

За ответом я прихожу сюда, на тихие молчаливые озера. Я смеюсь, но ничего не остается, кроме как обманываться, ожидая, что когда-нибудь откроются воды одного из озер, со дна его покажутся маковки церквей Китеж-града и звон их колоколов даст ответ. И я долго сижу на камне, пристально, до боли вглядываюсь в гладь воды, и иногда мне кажется, что я слышу глухой, откуда-то снизу идущий звон...

Неподвижна чёрная гладь, безмолвен лес. Еще больше стущаются между деревьями тени. Молчание, молчание. Темное, холодное, равнодушное ко всему живому.

Тогда, из этого непреоборимого молчания, возникает вопрос, который будто кто-то шепчет мне на ухо:

— А, может быть, те, что послали нас сюда, правы?..

Лоб покрывается капельками пота, сердце бьется сильнее. Я поспешил встать, иду, цепляясь за ветки кустарника, мимо сумрачных лесных теней. Торопясь, выбираюсь на дорогу, спустя несколько минут выхожу из леса, пересекаю поле, поднимаю голову. Передо мной, в смутной вечерней пелене встает мрачная, обомшелая стена Кремля, исполненным утюгом придавившая землю...

II

Соловки — это небольшой архипелаг в западной части Белого моря, из пяти островов: Большого Соловецкого, Анзера, двух Муксаломских и Заячьего. В юго-западной части Большого Соловецкого острова, главного в архипелаге, у излучины, образующей глубокую бухту, расположен соловецкий Кремль-монастырь один из старейших и славных монастырей России.

Массивная стена с круглыми по углам башнями сложена из валунов, поросших травой и мохом; кое-где по стене вытянулись свечами тонкие березки, прилипнув к земле, веками скопившейся между валунами. Верх стены выложен из кирпича, по нему идут узкие бойницы и отверстия для выливания кипящей смолы: Кремль в прошлом — и монастырь, и грозная крепость.

За стенами неправильным четырехугольником разместились двух и трехэтажные белые корпуса: службы, жилые помещения. А посреди двора высятся ровные, гладкие, без украшений, стены соборов. Преображенский собор, с плоскими крышами башен, похож на гигантский, чуть суженный к верху куб, несокрушимой тяжестью вросший в землю.

Шесть веков тому назад два старца, Зосима и Савватий, на утлом челне приплыли к острову и избрали его местом для поста и молитв. Они жили в лесу, в землянках, и никогда, верно, не думали, что там, где возносился к Богу шепот их смиренных молений, вырастут тяжкие, давящие землю, стены Кремля и соборов...

В первые дни по приезде в Соловки я попал на работу в соловецкий музей. Унылого вида человек в солдатской шинели, висевшей на нем, как на вешалке, в прошлом один из князей Голицыных, повел нас в Преображенский собор, превращенный в за-

поведник. Под руководством Голицына мы наводили в нем порядок: переносили изъеденные временем гробы с мощами, передвигали на другое место громоздкую колесницу для перевозки карбасов, оставленную в Соловках Петром Великим, носили в музей ржавые кольчуги, пищали, секиры.

В высоте собора гнездилась гулкая тишина, громко повторявшая наши голоса, стук упавшей на каменный пол секиры. Углы были плотно затянуты похожей на сгнивший шолк паутиной, на всем лежал толстый слой пыли. Пахло тлением и плесенью. Откуда-то сверху из неразличимой темноты свисало огромное резное паникалио — оно тускло мерцало тысячами хрустальных подвесков, сквозь покрывающую их пленку пыли. Тончайшая, легкая, но холодно-строгая резьба широкого покрова, золоченый иконостас, деревянные, тоже позолоченные, статуи архангелов с мечами, темные иконы с неясными ликами — казались мертвой театральной бутафорией, за ненадобностью брошенной в пустой сарай.

Я представил на минуту, как выглядел собор раньше, в дни праздничных служб. Тысячи огоньков свечей и лампад, дробясь и множась в золоте и драгоценных камнях окладов икон, заливали, наверно, собор ослепительным блеском. Торжественно гремел монастырский хор. Голубыми струйками плыл дымок благовонных курений, распространяя прянный, сладковатый запах. Благостно и проникновенно смотрели лики икон, а снаружи доносился гул колоколов.

Да, эти службы могли наполнять людей очищающим, возвышающим души молитвенным экстазом. Однаковым для всех: даже узники, томившиеся в монастырской тюрьме, могли испытать его. В южной стене собора есть иконы-ставни, за ними скрыты забранные решеткой пустые отверстия-окна: это окна в тайники, к которым, в стене, а потом под землей, сделан ход в монастырскую тюрьму Закованных в цепи заключенных приводили по этому ходу к окошечкам, чтобы они могли помолиться в соборе.

В кремлевской стене, над бывшими покоями настоятеля, размещен музей. В нем много новых экспонатов, изделий наших рук, как и во всяком советском музее: наше время мишурой дешевых достижений торопится прикрыть свой лик. Но есть тут и уголки, из которых смотрит далекое прошлое.

На Соловецком острове более двухсот озер. Многие из них монахи соединили каналами и сейчас с севера почти до Кремля можно проехать водой. От Перт-озера монахи проложили в

Кремль водопровод: прозрачная, чистая вода идет по деревянным трубам, выдолбленным из стволов деревьев. Муксалма соединена с Соловецким островом каменной дамбой, перекинутой через морской пролив. Позже я побываю на ней и буду удивляться: как могли тогда, когда о водолазах не было и помина, уложить на морском дне огромные валуны, скрепить их и вывести дорогу-дамбу, несокрушимую для морских бурь? А как могли, не зная подъемных кранов, триста лет назад поднимать на стены и башни Крамля стопудовые камни? Что за труд был затрачен здесь?

Столетия стоял монастырь молитвенником Руси, хозяином и стражем русского севера. Землянки Зосимы и Савватия сменились деревянными храмами и частоколом, невидным среди дремучего леса, — к ним плыли на челнах редкие богомольцы. Дерево сменил камень: над островом поднялись главы соборов, приземистые и неприступные крепостные стены Кремля. Лес расступился, его прорезали широкие, построенные на сотни лет дороги. И с острова, — не от землянок и бедных деревянных храмов, а от сурового камня, — монастырь простер над краем властную руку.

Монастырь имел откуп на соль по всему северу, все постоянные дворы в Прионежье содержал монастырь. На десятках тысячах десятин земли нынешней Карелии трудились тысячи монастырских крепостных, арестантов, вместе с давшими обет богомольцами. Не только доброхотными даяниями, дворянскими и купеческими вкладами укреплялся и богател монастырь: сермяжная, покрытая рубищем, в коросте, цынге, питаясь репой, Русь создавала мощь, славу и великолепие монастыря, зоркого и взыскательного форпоста империи.

Под южной стеной, в земле, сохранилась монастырская тюрьма: низкие каменные казематы, без окон; с прозеленевших скользких стен капает вода. В постоянной тьме, прикованные цепями к стенам, сидели тут узники, годами и десятками лет. Раскольники, сектанты, политические преступники — они умирали здесь безвестно, безымянно; иные, освободившиеся после двадцати, тридцати лет заключения, добровольно оставались в монастыре доживать свой век...

Темные камни стены древней кладки лежат прочно, нерушимо. Пушки, кольчуги, секиры, как и позолота иконостаса в соборе, как статуи строгих архангелов с мечами, покрыты пылью. Серая пыль прикрыла величие и блеск прошлого, скучно хранимого этими мертвыми, ненужными теперь вещами. И не понять, не узнать: какой камень был положен со смиренной молитвой и

какой — со стоном отчаяния? Какой полит горючей слезой и какой согрет горячей молитвой? И где началась, где прошла та трещинка, что расступилась теперь пропастью, превратившей этот остров только в место беспросветных мук?

В иконах старого письма, в толстых фолиантах рукописных монастырских книг, как и в монастырских строениях, заключено творчество и труд поколений. Да, монахи должны были носить под рясой кольчугу, на Сторожевой башне должны были стоять чернцы-дозорные с пищалями в руках. Но почему же не оградили они нас от новых бедствий? Почему их труд, их вера, их мука не принесли нам мира — и снова у нас такая же борьба, такая же мука? Когда и кем — ими, нами? — было утрачено что-то, без чего невозможен мир?

Из темного угла смотрит лик: старец, с длинной белой бородой. Сквозь поблекшие краски проступает скорбное утомленное лицо. О ком и о чем скорбит он? Его тонкие губы словно шелестят:

— Так было, так будет... Так было, так будет...

Я никогда больше не был в музее: прошлое тяжело, а на нас еще более тяжелый груз настоящего. Но я часто хожу на соловецкое кладбище, неподалеку от Кремля. Ограда кладбища полуразрушена, за могилками давно никто не ухаживает, чувствуется запустение, — его сторожит маленькая церковка, напоминающая наши скромные сельские храмы. Ряды холмиков с покосившимися крестами, небогатые памятники — на них еще можно прочитать иногда трогательные надписи. Вот тут лежит архангельский купец, тут холмогорская девица. А под безымянными старыми крестами лежит такая же безымянная, уходившаяся, отмучившаяся Русь, нашедшая здесь место своего вечного успокоения.

Белые березы над головой задумчиво клонят ветви, шуршат листвой в слабых порывах ветра. И ветер не хочет нарушать кладбищенского покоя, веющего неизбывной тоской. Успокоение, успокоение... Только здесь люди отрешились от страстей, мятежа, от горя и мук и нашли себе нерушимый покой. Кадят березы листвой, шепчут чуть слышно: так было, так будет...

В стороне от старых могил протянулись длинные свежие насыпи. Это новые, общие могилы заключенных. Каждый день везут сюда из Кремля трупы, бросают в яму, слегка засыпают землей, пока яма не будет полна. А на зиму роют совсем большие ямы: всю зиму в них свозят покойников, они лежат голые, синие, высокие, запорошенные снегом. В оттепели снег тает, в яму

стекает вода — трупы плавают в ней, как падаль. Весной ямы засыпают: никто не знает, кто нашел в них место своего успокоения, сколько успокоившихся здесь.

Сквозь листву берез видны хмурые тучи. Они низко плывут над землей, почти задевая за вершины деревьев, за маковку церкви. Тучи плотно закрыли небо, они заменяют его нам. И не пробить их холодной безучастности той скорби, тому немому призыву, что обращен к небу из всех этих старых и новых могил. И не разрешить нависшим над нами тучам тоски, что теснилась в тысячах успокоившихся здесь сердец.

Печально шелестят листья берез, и под их шелест текут в голове старые мысли, навевая еще большую печаль:

— Так, может быть, горе, страданье, несправедливость, кровь — непреложный закон, который никогда и ничем не изменить?

Сгущаются сумерки, я встаю с могильной плиты, бреду к развалившимся воротам. На темнеющем небе четко и чёрно вырисовываются грузные стены и башни монастыря.

В Кремле, у подножья Преображенского собора, лежит большая гранитная глыба. Надписей нет на ней, их стерло, наверное, время, но преданье гласит, что под нею лежит Кудеяр...

III

В кремлевских корпусах, там, где прежде жили монахи, теперь живем мы. В нашем корпусе три роты, по числу этажей; я живу в третьей, для административно-технического персонала. Мы, этот самый «персонал», пользуемся большой свободой и чем-то, похожим на привилегии: мы ходим на работу по отдельным пропускам и, словчившись, можем по ним даже выйти за Кремль гулять.

Длинный полутемный коридор делит роты на две равные половины, по десяти-двенадцати камер-келий в каждой. В камерах спят на отдельных топчанах: тоже привилегия, в общих ротах спят на нарах.

В нашей камере шесть человек. По стенам, вплотную один к другому, расставлены топчаны, в середине, к окну, приткнут колченогий стол. Две самодельных табуретки — вот и всё убранство камеры. Не скрашивает ее и вид из окна на Святое озеро, плещущееся почти у самой стены Кремля: когда смотришь в окно, первое, что бросается в глаза — на островке, посреди озера,

большой почерневший крест, словно символ нашей невеселой участи.

У нас подобрался хороший народ. Бывший присяжный поверенный Москвин — коротконогий, полный, с круглым брюшком, — очень веселый и, похоже, никогда не унывающий человек. Он любит поострить, пощутить, но шутит он беззлобно, так, что никто не обижается на его шутки, в том числе и наиболее частый объект адвокатского остроумия, сосед Москвина по койке — Андрей Петрович Стрешнев.

Стрешнев — наша камерная ходячая энциклопедия: за его спиной два факультета в отечественных университетах, Сорбонна, много лет жизни заграницей. Андрей Петрович может почти на каждый вопрос дать обстоятельный ответ. Но он никогда не ответит вам, как профану и невежде: он утонченно вежлив, Андрей Петрович! Всегда предупредительный и готовый помочь вам, он умеет сочетать свою предупредительность с большим достоинством и вы, вместе с благодарностью за помощь, будете только чувствовать к нему возросшее уважение. Но мне иногда смешно видеть, как он, в изорванном полушибке и заплатанных штанах, кланяясь встречному знакомому, неподражаемым жестом снимает рыжую, с дыркой наверху шляпу и учиово описывает ею в воздухе широкий круг.

Третий обитатель камеры — бывший меньшевик Каплин. Это тоже интеллигентный и очень аккуратный человек. Среднего роста, плотный, в застегнутой на все пуговицы черной форменной тужурке, — железнодорожной, почтовой или судейской? — он держится ровно, с достоинством, и его присутствие поддерживает солидный тон в нашей камере на достаточно высоком уровне.

У нас вообще некому нарушать ровного тона камеры: рядом с Каплиным обитает вологодский пасечник Лопатин, грамотный, начитанный крестьянин. Высокий лоб, ясные глаза со спокойным взглядом, небольшая бородка, коренастая фигура — Лопатин воплощение домовитости и какой-то непоколебимой уверенности. Ходит он не спеша, не громко и твердо ставя ноги, говорит тихо, но в приглушенном гудении его баса чувствуется что-то, что заставляет на веру принимать сказанное Лопатиным, как будто ничего неверного он сказать не может. Но ничего начётнического вы не услышите от Лопатина: кажется, что любую истину он поведает также просто, как иногда говорит: «А сегодня на обед треска».

О пятом обитателе камеры, Гусеве, худощавом пожилом человеке с невыразительным костиистым лицом, одетым во что-то, похожее на бабью кофту, много не приходится говорить: этого молчаливого человека мы почти не видим. Он приходит в камеру только спать: Гусев очень религиозен и всё свободное время проводит в шестой сторожевой роте, где живут священники, у знакомых священнослужителей. Утром, бесшумно одевшись, Гусев незаметно исчезает из камеры; одинаково незаметно он появляется вечером, так же бесшумно раздевается в уголке у своей койки и ложится спать, негромко пожелав нам спокойной ночи. Я никогда не слышал, чтобы Гусев чем-нибудь стукнул, загремел, споткнулся о табурет, вступил в общий разговор: он живет у нас, как кроткая и мало заметная тень.

Шестой в камере я, — но обо мне и речь молчит: я еще слишком молод, чтобы считать себя за равного другим.

Очень хорошие люди подобрались у нас. Иногда я думаю: а зачем они здесь? Зачем их оторвали от семей, привезли в Соловки, держат в лагере, если они вряд ли способны обидеть и мууху?

И на работе, среди других знакомых, я не вижу плохих людей. По крайней мере в первое время, с первого взгляда мне не попадаются плохие люди.

Вот Шевелев, мой начальник и наставник. Ему за пятьдесят. Широкоскулое темное лицо, изборожденное глубокими морщинами, умные, усталые глаза. Спокойные, неторопливые движения, — может быть слишком спокойные, они, как и его почти неподвижное лицо, иногда кажутся маской, зачем-то надетой им на себя. Шевелев тоже энциклопедия, по революционным делам: у него позади подпольщина, тюрьмы, ссылки. Он в прошлом активный революционный работник, эс-эр. Шевелев много помог мне на первых порах: вытащил с общих работ, устроил в канцелярию — я не знаю, почему он это сделал, но думаю, что с таким же участием он относится и к другим людям.

Рядом с моим столом стучит на машинке Вальцева, красивая блондинка с точеным профилем. На юге она познакомилась с иностранным консулом, они полюбили друг друга и решили пожениться. Консул поехал хлопотать о разрешении на женитьбу — в это время Вальцеву арестовали и отправили в Соловки. Она еще не оправилась от неожиданного удара: на лице у нее застыло выражение недоумения и обиды. Тихая, печальная, Вальцева никогда не взмолнется, не засмеется громко — жизнь в ней словно приостановилась и замерла.

К ней часто приходит подруга, Зотова, антипод Вальцевой. Толстая, краснощекая, с сияющими глазами и носом, как пуговка. От Зотовой на версту пышет здоровьем и жизнерадостностью. Анархистка, чуть ли не с начала революции сидящая по тюрьмам и ссылкам, казалось, должна была бы она на исхоженных этапах растерять свой пыл. Но нет: с приходом Зотовой наша скучная канцелярия наполняется шумом, смехом, движением; дурачесь, Зотова переворачивает на столах документы, по пути больно шлепает меня по спине увесистой бухгалтерской книгой, тормошит Вальцеву, стараясь ее развеселить. Зотову все любят и, вероятно, она всегда была и останется такой: в ее глазах светится бескорыстная и радостная душа, одно существование которой уже способно приносить людям утешение.

Иногда заходит маленькая австрийчика Мария, приехавшая в Соловки из Вены, по дороге задержавшаяся в Москве всего на две недели, проведенные ею в ГПУ. Мария лепечет на ломаном русском языке, забавно картавя и перевиная слова; она рябчливо резва, шутлива, но шутки ее не злы, а в хрупкой изящной фигурке Марии угадывается такая же хрупкая и нежная душа.

Приходит самый рассеянный человек в мире, профессор Незнамов. Случается, что он, надев пиджак, телогрейку, носки и тщательно зашнуровав ботинки, забывает, что не прибавил к своему костому брюки. Забыв и позавтракать, он садится за стол в часовенке, где живет и работает, и погружается в сложные вычисления. У него феноменальная память: в прошлом Незнамов был вхож в дворцовые круги и сейчас, когда профессор в ударе, он часами увлекательно рассказывает о жизни двора, с подробностями, которые вряд ли помнит другой. Рассказы Незнамова окрашены в мягкий, добродушный тон, он — воплощение добра и всепрощения.

А вот другой царедворец, библиотекарь последнего царя чех Немачик. Его расплывающееся лицо всегда улыбается, а кустики бровей и большие свисающие усы придают ему сходство с ухмыляющимся котом. Постукивая палкой по камням, Немачик ходит легко и быстро и любит подолгу балагурить с приятелями, довольно и съто поблескивая собеседнику в лицо зеленоватыми глазами.

В Кремле часто встречается высокий, представительный мужчина с холеною ассирийской бородой, в элегантной шляпе и загоричном пальто. Говорят, это руководитель масонской ложи в Ленинграде, а сидит он за переписку с Папой Римским и епископом Кентерберийским. У него подчеркнуто-европейский вид и

вкрадчивые манеры: когда вы говорите с ним, вам кажется, что он мягко, любезно, но настойчиво пробирается в вашу душу. Однако, глаза масона смотрят из-за стекол очков в массивной черепаховой оправе добродушно, улыбка не сходит с его розовых губ — и вы принимаете его настойчивость за безобидную человеческую слабость.

Впрочем, чудаковатые люди не редкость в Соловках. Вот Дронов: худое лицо с мелкими чертами, тонкий кривой нос, под ним топорщатся щетинистые усики. Рваный, грязный бушлат, рваные брюки: у Дронова дикий, запущенный вид. Дик и взгляд его острых, косых глаз, в них постоянный огонек жгучего беспокойства. Наверно, оно и гнало его по свету: Дронов знаком со всеми континентами, он знает джунгли Индии и Африки, пески Азии и Австралии, прерии Техаса. Из Техаса он и приехал в Соловки: будучи ковбоем, затосковал по России, приехал — и попал в неизвестную еще ему страну, в Соловки. Здесь он работает в питомнике, километров за десять от Кремля. Чтобы не носить на себе продукты, инструменты, он выпросил в сельхозе козла, обучил его, сделал ему маленькую тележку, упряжь и теперь козел исправно служит Дронову. Они неразлучны, их всегда видят вместе: неутомимого странствователя, ковбоя с диким взглядом косых глаз, и важного, бородатого козла. Но кому мешает козел Дронова?

Там, где нужны безусловно честные люди — на складах, в каптерках, при раздаче посылок, — работают священники. Один из выдающих нам посылки — отец Николай. Высокий, тонкий, с сухим, в лихорадочном румянце лицом, на котором из-под чёрной камилавки глядят живые, бегающие глаза, отец Николай непоседлив, быстр, подвижен и всегда весел. Он не прочь рассказать забавный анекдот, а иногда и послушать что-нибудь пикантное. Но ни тени недоумения, почему этот светский человек надел рясу, не возникает у вас: отец Николай так воздушно-светел, так легко-добр, что кажется воплощением безгрешной чистоты, которую ничто не может запятнать. Он и в Соловки приехал по своей доброте, потому, что не мог отказать в просьбе: его друзья, бывшие воспитанники царскосельского лицея, попросили его отслужить панихиду «по мученически убиенному Николаю II», — он отслужил и вместе с воспитанниками был за это отправлен в Соловки.

Не перечислишь всех: очень много хороших людей в Соловках. Разные, они первое время сливаются в моем восприятии в

одно целое, в одну почти неразличимую массу, в которой мелкие особенности и мелкие недостатки не играют роли. В прошлом монархисты, эс-эры, кадеты, социал-демократы, беспартийные, потеряв свои прежние политические привязанности, а часто и свое прежнее лицо, все мы сейчас — люди без ярлыков, обыкновенные, простые, отягощенные пережитым горем, разлукой с близкими, унизительностью заключения, а многие и безрадостны, в неволе, закатом своих дней Привыкли мы и к официальным версиям виновности каждого, мы не спрашиваем обычно, за что мы сидим, об этом узнаешь больше случайно, из оброненных двух-трех фраз, — мы относимся друг к другу прежде всего, как к людям, без всяких вывесок. И я недоумеваю: вокруг столько умных, культурных, ученых и хороших людей — так отчего же мы дышим смрадным воздухом? Почему мы не можем ощутить себя в полной мере людьми и жить по-человечески? И до каких пор мы будем повторять то, что делали наши неразумные предки? Ну, да, над нами начальство, нас охраняет конвой, над нами глумятся старосты и командиры рот — такие же заключенные, как и мы, только бывшие вчера чекистами или ворами, — но ведь нас несравненно больше, нам легко было бы разорвать сковывающую нас цепь. Почему мы не рвем ее? ..

В окно настойчиво стучит чайка. Эту безобразную птицу мы почему-то считаем красивой. А летящая над озером белая чайка — символ нашей грустной мечты о несбыточном. Как ошибаемся мы, глупые люди! — думаю я, наблюдая монастырское наследие, соловецких чаек. Монахи запрещали их трогать и они несли яйца посреди Кремля, тут же выводили тонконогих, безобразных, словно оципанных птенцов, путавшихся под ногами у богомольцев. Сейчас заключенные немного распугали чаек, они не кладут больше яиц во дворе, но попрежнему безбоязненно и нагло расходжаются они между нами, большие, как утки, с длинными хищно загнутыми клювами. Одна чайка повадилась прилетать к нам на окно: регулярно, три раза в день — утром, в обед и вечером, — она садится на подоконник и нетерпеливо заглядывает в комнату, ожидая подачки. Если окно закрыто, она бьет крыльями в стекла, стучит в них клювом — боясь, что сейчас посыпятся стекла, мы с проклятиями бросаем ей хлеб, засохшую кашу. Если ей мало, она недовольно клекочет и не улетит, пока мы не дадим ей достаточно пищи. С утра до вечера над Кремлем стоит отвратительный, тосклиwyй, выворачивающий душу клекот чаек, и я скоро начинаю ненавидеть эту хищную, прожорливую, на-глую птицу, наш символ мечты о счастьи...

Шевелев, мой патрон, живет в сводной роте, за Кремлем. Как начальник, он имеет маленькую отдельную каморку. Я иногда захожу к нему. Он ухитряется доставать водку, пиво. Сейчас он сидит на койке у стола, красный, с блуждающими глазами. Наливая мне стакан пива, Шевелев говорит, едва ворочая пьяным языком:

— Пей, пока я здесь. Скоро уеду, у меня зимой кончается срок. А тебе долис придется сидеть, потому что ты не понимаешь, чем пахнет наше время. Ты не с той стороны смотришь, чудак, и не видишь, что жизнь — одна! Поймешь — будет поздно. Мы все хорошие, да не в этом дело — сейчас никому верить нельзя. Себе не верь, понимаешь? Никому не верь! — твердит Шевелев.

Я протестующе смотрю на него, но не нахожу, что возразить...

Днем, в неурочное время, я иду в управление писать письмо. В канцелярии сидит Вальцева и плачет.

— Что случилось, Лидия Петровна? — спрашиваю я, подходя к ней. Она роняет голову на руки и плачет еще сильнее. Растрепавшиеся волосы густыми прядями дрожат на ее плечах.

Я бегу за водой, приношу полный стакан, расплескивая, неумело успокаиваю Вальцеву:

— Что вы, Лидия Петровна, о чем так, успокойтесь. Вылейте воды. Ну, что могло случиться, не плачьте...

Подняв голову, она показывает на открытую дверь в кабинет Шевелева, и, всхлипывая, прерывисто говорит:

— Он вызвал меня на работу.. Позвал в кабинет и набросился на меня. Я вырвалась, крикнула, что побегу в коридор, закричу... Тогда он ушел. Подлый сексот!..

Раза два я встречал у Шевелева высокую интересную женщину, бывшую владелицу большого имения в Тульской губернии. Шевелев жил с ней. Зачем же он обидел Вальцеву? Не мог же он не знать, какое горе причинит ей, еще не забывшей своей любви. Но больнее отзовались последние два слова: было известно, что благополучие Шевелева зиждется на его слишком лояльных отношениях с главным соловецким властелином, начальником Соловков чекистом Эйхманом. Я старался не верить этому. Лишнее напоминание заставило с горечью вспомнить наставление патрона: не верь людям...

Изящная австрийчка Мария приехала в СССР, ни слова не зная по-русски. В Бутырках и в этапе, в обществе проституток и воровок, ее научили некоторым словам, выдав их за рус-

ское приветствие В Соловках сердобольная старостижа женского барака сжалилась над Марией и направила ее, минуя карантин, в одну из лучших камер. В этой камере жили: огненно-рыжая Клара Ридель, за бесшабашный характер прозванная дьяволом в юбке, Алиса Кротова, бывшая любовница бывшего японского посла, и Римма Протасова — та самая Протасова, которая в Соловках, среди холодных беломорских вод, основала орден любви, некогда процветавший на одном из островов солнечного Эгейского моря. Орден просуществовал недолго: о нем узнало начальство и на Протасову было начато дело. Начальник Санчасти, получив дело для врачебного заключения, наложил на нем краткую резолюцию: «Против природы не попрешь». Дело было прекращено...

Войдя в свое новое жилье, Мария с порога покрыла его обитательниц отборной бранью. Глаза женщин округлились, как уличные фонари, они изумленно смотрели на австриячку. Смузяясь и краснея, думая, что она плохо произнесла приветствие, Мария старательно повторила площадную ругань. Женщины упали в подушки, сотрясаясь в хохоте.

Рыжая Клара знала немецкий язык — она быстро объяснилась с Марией и подружилась. Дьявол в юбке и не подумала сказать, что за слова считает Мария русским приветствием: Клара постаралась еще расширить малый запас слов Марии в этой же области. И Мария долго ошеломляла встречных забористой бранью, звучавшей в ее губках святотатством и утвердившей за веселой австриячкой репутацию легкомысленного, ветреного, не строгого по части нравственности существа.

Царедворец Немачик в свободное время, которого у него подозрительно много, кропает скабрезные вирши. В них нет ни красоты, ни значительности: вирши Немачика неуклюжи и порнографичны. Но они многим по вкусу — Немачек считается поэтом. В особенности он в фаворе у чекистов. Скоро он поедет в Москву, работать в ОГПУ.

О масоне с холеной бородой нет двух мнений: корреспондент Папы Римского и епископа Кентерберийского состоит в секретных сотрудниках ИСО — Инспекционно-Следственного Отдела, нашего лагерного ГПУ

Скоро из нашей камеры уйдет аккуратный, интеллигентный человек, Каплин: он переселится в первую, лучшую роту, где живут среднего ранга начальники из заключенных. Он долго, не заметно, как крот, рыл яму своему начальнику: в конце концов

того сняли на общие работы, а Каплина поставили на его место...

Большой и малый разврат, доносы, сплетни, подсживание друг друга и слежка одного за другим, мелочная и жестокая борьба за место даже под хмурым соловецким небом липкими неразрывными генетами опутывают нас. Хорошие люди утратили что-то и вот они уже по щею увязли в грязи мелких страстишек и не в силах перебороть себя, встать на ноги, выпрямиться во весь рост. Ночами окружающее кажется дикой свистопляской, сплетенным хаосом, в котором невозможно найти какую-то верную, необходимую нить.

Четвертый полк ОДОН — Отдельной Дивизии Особого Назначения ОГПУ (впрочем, у нас всё особое и даже Соловки не Соловки, а «СЛОН»: Соловецкий лагерь особого назначения. Но кажется мне, что мы совсем не особая, а лишь малая часть общего), охраняющий лагерь, насчитывает всего около четырехсот человек. Нас в Соловках — десять тысяч. Разве четыреста человек держат нас? Разве преграда — узкая полоса моря и то, что в порту дежурят быстроходные катера «Часовой» и «Чекист»?

Трупный запах стоит над Кремлем. Он душит, как кощмар, и всё чаще в зловонной тишине бесконных ночей встает один и тот же мучительный вопрос:

— Куда мы стремимся? Русь, куда ты летишь?

Нет ответа, смрадное молчание окружает нас...

Грязь не может запятнать ни Стрешнева, ни Незнамова, ни Вальцову и Лопатина, ни многих других. Но мы не можем переступить обтекающих нас со всех сторон грязных ручьев, не можем вздохнуть полной грудью, не можем разорвать тенет.

Добрейший Андрей Петрович предупредителен и внимателен, как всегда. Он подолгу стоит у окна и молча смотрит на Святое озеро, с чётко вырисовывающимся посреди чёрным крестом. Или часами лежит на койке, подложив под голову руки и уставясь взглядом в потолок. О чём он думает? Может быть о том же, о чём и я?

К нему бесполезно обращаться за ответом. Он не откажет, он постараётся ответить. Начав издалека, он добросовестно вспомнит, что говорил в свое время Платон или Аристотель, Кант или Гегель, назовет еще пяток или десяток уж совсем неведомых мне имен, я лишний раз подивлюсь учености Андрея Петровича, но так и не услышу чего-то главного, из чего возник бы ответ.

Профессора Незнамова я застаю с тем же беспорядком в костюме, хотя пиджак его застегнут, а на шее повязан измятый

грязный галстук. Пригласив сесть, он тоже садится напротив и опускает седую нечесаную голову на руки.

— Одна буря смяла нас всех и никто не скажет, когда это кончится, — не глядя на меня, глухо говорит Незнамов, как бы сам с собой. — Мы еще долго будем блуждать в потемках, пока не улягутся страсти, не успокоится взбаламученное море и из него не возникнет что-то новое. Но что — кто скажет? Может, мы уже не увидим его...

Иногда я гуляю по савватиевской дороге с Иннокентием Серафимовичем Кожевниковым. Это высокий, грузный человек, старый большевик, в прошлом друг Ленина, Троцкого, командарм 13 в гражданскую войну. Со стороны, когда он проходит мимо Кремля твердым крупным шагом, в длинной кавалерийской шинели, высоко подняв голову в круглой меховой шапочке, мне кажется, что за ним такой же твердой поступью идут стройные ряды полков.

— Раньше говорили, что тюрьма или закаляет, или разворачивает людей, — задумчиво говорит Кожевников, идя на полшага впереди меня. — Для нашего времени это не верно. Тогда тюрьма была исключением, теперь везде тюрьма. Сейчас люди не закаляются и не разворачиваются, а обнажаются. Это — время всеобщего обнажения: мы сорвали все покровы, выбили из под ног все опоры, а новых не изобрели. А без них нельзя: человеку не на что опереться, не во что верить, нечем ни поддержать, ни сдержать себя. Да и зачем сдерживать, если это — как конец света?

— У нас тут только сгусток того, что на воле. Там не всегда заметишь, а тут все совсем раздеты, потому и вся мерзость наружу прет, — еще тише продолжает Кожевников. — Ленин, может, ошибся, но нынешней мелкотравчатой дряни совсем верить нельзя, они сами только мерзостью живут. Если бы Ленин был жив, я не сидел бы тут, а эти подлецы будут меня в Соловках до смерти держать. А ты знаешь, что такое Кожевников? Солнце в небе одно, так и Кожевников на земле один.

Я с изумлением слушаю полутора Кожевникова, смотрю на него: лицо важно-спокойно, а в глазах светится странный огонек.

Летом 1929 года Кожевников, окончательно сойдя с ума, напишет манифест, в котором об'явит себя «соловецким королем Иннокентием Первым» и дарует всем заключенным свободу. Написав манифест, он скроется в лесу, вскоре будет пойман и с тех пор исчезнет с соловецкого горизонта...

В обеденный перерыв и вечером я исподволь присматриваюсь к Лопатину. Всё, что он делает — обедает, моет посуду, штопает носки или читает, свесив усы в раскрытую книгу, — он делает неторопливо, спокойно, без хлопот и суетливости. Он мало разговорчив, говорит больше об обыденном и, наверно, никакие сомнения не мучают его. К нему тоже бесполезно обращаться за ответом: он вряд ли поймет и только улыбнется — ясной, спокойной и ободрительной улыбкой. Но не в ней ли и есть ответ? ..

ГV

С того дня, как я вышел из ворот тюрьмы, одна мысль не оставляет меня: надо бежать. Невозможно примириться с тем, что впереди десять долгих, бездеятельных, вычеркнутых из жизни лет. Невозможно примириться и с гнетущей соловецкой обстановкой. Я думал о побеге, когда шёл по вечерним улицам Ленинграда, настороженно поглядывая на обнаженные сабли шедших сбоку конвоиров, думал о нем в арестантском вагоне, не перестаю думать сейчас. Я продолжаю работать, жить, как все, но я живу двойной жизнью: вторая проходит затаенно внутри, в исступленных мечтах о побеге.

С проклятых людьми Соловков, окруженных морем, за всю историю лагеря не убежал ни один человек. В этом году восемнадцать отважных молодцов, разоружив на Муксальме конвой, уплыли на карбасе на Летний берег. Несколько дней мы жили в тревоге за их судьбу. Она скоро выяснилась: все восемнадцать были убиты в перестрелке с настигшей их на берегу охраной.

По прямой только сорок километров отделяют нас от материка. С Муксальмы и Анзера еще меньше: там всего четырнадцатикилометровый пролив отделяет острова от большой земли. Но одному эти километры не преодолеть. Смешно думать, что можно найти товарища для побега среди окружающих меня Стрешнева, Незнамова, Шевелева или Каплина. В этом деле попутчиком не может быть даже Лопатин.

Но в Соловках много людей, на нашей камере свет не сошелся клином. В одном этапе со мной прибыло несколько студентов. Посмотрев на их лица и в упорные глаза, не трудно догадаться, о чем они думают. Не трудно найти с ними и общий язык.

Мы сидим на берегу моря: московский студент Синицин, студент из Ростова Петров и я. Огромный валун закрывает нас от

ветра; по свинцовому морю катятся барашки волн; под ногами гудит прибой.

— То, что мы очутились в Соловках, не должно нас обескураживать, — говорит Синицын. — Надо продолжать дело здесь. Я намечаю такой план: небольшими группами мы организуем молодежь. От степени организации и её широты будет зависеть, что мы можем сделать. У нас есть единицы в Анзере, на Муксалмье, в Савватиево: если мы будем везде иметь по двадцать-тридцать человек — для отделений достаточно. Здесь, в Кремле, нужно больше. Опираться мы можем только на молодежь: из старых, в решительную минуту, примкнут не многие. Если же ничего не получится из этого дела, одновременно подготовим другой план, побега небольшой группой. Для этого надо связаться сейчас с нашими товарищами на воле. В будущем году, осенней ночью, они должны будут с Летнего берега добраться до Муксалмы и увезти нас. Наше исчезновение останется незамеченным: лодки на Муксалмье будут в целости, подумают, что мы ушли в лес. Погони не будет. Ваше мнение?

Голос Синицына категоричен и тверд. Короткие рубящие жесты и волевой взгляд выдают в нем прирожденного вожака.

Пока он говорит, я думаю об оставшихся на воле. Это такая же безусая неопытная молодежь, как и мы. Занятые работой, учебением, связанные безденежьем, отсутствием руководителей, да и, быть может, отсутствием воли к революционной работе, не организованные — как справятся они с трудной и опасной задачей, которую хочет возложить на них Синицын? И сумеет ли он отсюда вдохнуть в них волю к действию?.. Я отгоняю ненужные мысли: если продолжать так думать, то всё окажется неосуществимым и невозможным. Желаемое достигается, если все силы, как бы ни были они безрассудно истрачены, одной волей направлены на одну цель.

Петров перебивает мои мысли:

— Химеры, Синицын! — досадливо восклицает он. — Прости меня, но ты увлекаешься, так нельзя. Ты как будто не видишь, что делается вокруг. Ты посмотри — старые испытанные борцы сидят смирно, или молчат или работают в ИСО. Как же мы можем надеяться на создание организации? И во имя чего? Чем воодушевим мы, зажжем людей в таком ералаше? Я не согласен: надо думать только о побеге, самим, без помощи с той стороны.

Синицын недоуменно смотрит на Петрова. Минуту слышен только гул прибоя, да отвратительный клекот вьющихся над нами соловецких воронов — белокрылых чаек.

— Не надо распускаться, Петров. Нужно работать. Без организации ничего не получится; подумай после, ты согласишься со мной. Не нужно только раскисать: работать, работать, тогда у нас появится и уверенность, — настойчиво повторяет Синицын.

— Мы потом еще поговорим, а сейчас — ты согласен? — спрашивает Синицын меня. Я утвердительно киваю головой.

— В таком случае нужно связаться с анархистами, это единственно надежные люди. Они скоро освобождаются, мы отправим с ними письма. Поговори с Зотовой, ты знаком с ней...

Я знаю, что хохотушка Зотова не откажет в важной просьбе, как бы ни была она опасна. Зотова только по виду просто жизнерадостная женщина: она — отчаянная голова, каких немного в Соловках. Но у меня не поворачивается язык просить Зотову, подвергать её новому риску: она ведь уже столько исходила этапов, тюрем, ссылок! По моей просьбе Зотова знакомит меня с другим анархистом, Меховым.

Сутулый, с тяжелым квадратным лицом, Мехов слушает молча, серьезный, сосредоточенный. Он согласен передать письма, он только не уверен, что его освободят. Если не освободят, а отправят в Сибирь, в ссылку, как часто делают с отсидевшими срок в Соловках, то он не сможет скоро отправить письма: надо будет ждать надежную оказию. Но у нас нет другого выхода.

Простишись с Меховым, я долго смотрю ему вслед: так быстро, без лишних слов, мы договорились с ним! Он знает Соловки, он почти три года пробыл здесь, — почему он не подумал, что наша просьба — предательство, провокация, как подумал бы почти каждый другой соловчанин? Во имя чего взялся он отвезти наши письма, совсем незнакомых ему людей? Что движет этим сосредоточенным сутулым человеком, какая вера — во что, в кого? И почему такие люди встречаются так редко?.. Уважение к Мехову, а с ним будто и уколы зависти — или укоры совести по своему собственному адресу? — шевелятся во мне...

Во внеурочное время Вальцева, поминутно оглядываясь на дверь, около которой дежурю я, отстукивает на машинке письма на кусках белого полотна. Вечером Синицын подписывает их, а на другой день я передаю письма Мехову. Он прячет их в подкладку пальто.

У меня почему-то остается копия одного письма. Не зная, что с ней делать, я кладу её под чуть отпоровшуюся подкладку шапки и прочно забываю о ней...

Поздней осенью Мехова увозят на материк. А еще через несколько дней ко мне приходит Петров и говорит, что сегодня утром арестован Синицын.

Мы стоим в коридоре, у грязного окна, почти не пропускающего света; в полутьме я вижу угольки глаз Петрова, пытливо смотрящие на меня.

— Кто мог его выдать?

Я недоуменно пожимаю плечами и смущаюсь: Петров смотрит так пристально, что мне кажется, будто он подозревает меня. От сознания этого я теряюсь, краснею и чувствую себя перед Петровым, как провинившийся школьник. Проклятое время, проклятые Соловки, в которых никому нельзя верить!..

— Может, кто из других групп? Ты знаешь кого из них? — В целях конспирации Синицын создавал другие группы втайне от всех — его мог выдать кто-нибудь из этих новых групп.

— Нет, никого не знаю, — качает головой Петров. — Теперь надо готовиться, каждый день могут арестовать и нас. Вряд ли Синицын выдержит допросы...

Мы расстаемся по старому, как друзья, но я чувствую, что Петров уходит с тяжелым сердцем, в котором, может быть, лежит не только тревога за Синицына и за будущее, а и недоверие ко мне. А у меня тяжесть тревоги увеличивается от сознания, что мне нечем рассеять его сомнения.

Но проходят дни, недели, нас не трогают, всё остается по-прежнему. Спустя месяц мы узнаем, что Синицын отправлен в штрафной изолятор, на Секирную гору. Это страшный изолятор, при одном упоминании о нем у заключенных ползут мураски по спине: оттуда обычно не возвращаются. Не возвратился и Синицын: зимой мы узнали, что он умер в изоляторе.

Чувство утраты верного товарища, не выдавшего ни нас, ни других и может быть только из-за этого погибшего, снова сближает меня с Петровым. У того же окна, понурив головы, мы вспоминаем осенний разговор. На склонах Петрова играют желваки, он то сжимает, то разжимает кулаки.

— Так не может продолжаться, — говорит он. — Мы должны выбраться. Выберемся — будем продолжать.

— Надо ждать весны.

— Зачем? Можно и зимой. Я говорился еще с несколькими ребятами, мы, может, сделаем что-нибудь. Подожди еще недели две...

Через две недели Петров зовет меня гулять. Для прогулки неподходящее время: свирепый ветер сбивает с ног, бросает в

лицо пригоршни колючего снега. Старчески скрипят голые деревья в скверике среди Кремля. Зайдя в ворота Преображенского собора, Петров оглядывается по сторонам и под вой ветра говорит мне в ухо:

— На Песьей Луде, при входе в порт, есть лодки. Там живут только два монаха, охраны нет. Поздно вечером мы пойдем туда, возьмем лодку и протащим её по снегу в море. Доберемся до воды и уплывем. Нас четверо — будешь пятым?

Я соображаю, что только отчаяние могло родить такой план: пятерым не протащить тяжелого карбаса по глубокому снегу восьмь-десять километров, до воды. Наклонившись к уху Петрова, я кричу:

— Это безумие, Петров! Ничего не выйдет, вы только погубите себя!

Петров отшатывается, испытующе смотрит.

— Почему? — Я торопливо объясняю, но вижу, что он не хочет слушать, он, наверно, уже сжился со своим планом и не может отказаться от него.

— Так ты не хочешь? Не пойдешь с нами?

Трудно сказать категорическое «нет», трудно отказаться, когда вот тут, перед тобой, какой-то шанс на свободу, хотя бы и пересчур призрачный. Минуту я колеблюсь, мелькает мысль: а, была не была! — но я останавливаю себя:

— Нет. И вам не советую. Подумай, Петров, подожди... — Он поворачивается и быстро уходит, даже не прощаюсь...

Через несколько дней, прия в управление на работу, я узнаю: задержали четырех беглецов. Ночью они взяли на Песьей Луде лодку, потащили её от острова, но, увязая в глубоком снегу, скоро выбились из сил. Они сумели пройти всего километра три. Утром их заметили с берега, выслали охрану, привели обратно и посадили в изолятор.

Петров и три его товарища просидели до весны. Весной их выпустили, почему-то не наказав даже карцером. Петров по-прежнему живет в Кремле, но со мной избегает встречаться. Я с ним так и не встретился больше ни разу и не мог расспросить ни о побеге, ни о следствии. Причина может быть вот в чем: по лагерю ползет упорный слух, что Петров теперь — секретный сотрудник ИСО. Позже этот слух подтвердится фактами...

Поняв, почему Петров избегает меня, я чувствую, что во мне образуется легкий холодок, пустота, которую нечем заполнить. Вспоминая Синицына, осенний разговор, Петрова, я думаю: так гибнут несгибаемые и ломаются сомневающиеся. Судьба пока

избавила меня и от той и от другой участи, но что оставила она мне? И что осталось от моей мечты о побеге? Не прав ли был Шевелев, говоривший, что мне еще долго, очень долго придется сидеть? ..

Летом я получил письмо, в котором, условным шифром, сообщалось, что одна из наших групп на воле давно разбрелась и больше не существует. Может быть, такие же письма пришли и в адрес умершего Синицына. Во всяком случае я убедился в том, что анархист Мехов, странный человек с сосредоточенным лицом, честно выполнил свое обещание. Где, в какой тюрьме, в каком месте российских просторов окончил свои дни этот рыцарь исчезнувшего и непонятного теперь образа? ..

V

В роту добавляют новых людей: в Соловки прибывает этап за этапом. В Кремле становится теснее. К нам в камеру поместили еще трех человек, поставив им топчаны посередине. Около меня, почти вплотную к моему топчану, расположился светловолосый поляк из-под Минска, бывший офицер императорской армии, участник набегов Булак-Булаховича, Болеслав Сливинский.

Плечистый, с выпуклой грудью и огромными кулаками, Сливинский обладает здоровьем и силой, которым каждый может позавидовать. У него жирное лицо с грубыми чертами, с лохматыми бровями, а из-под них надменно и вызывающе смотрят серые глаза, кажущиеся мне стальными. Сливинский груб: за едой он громко чавкает, а его басистый самоуверенный голос и раскатистый хохот звучат в нашей камере почти непристойно, открытым вызовом её прежней тишине и чуть чопорному тону. Пожалуй, Сливинский хамоват, но его бесцеремонная сила импонирует мне. Не потому ли, признаться, что мне уже порядком надоели и розовая неопределенность милого Андрея Петровича и беззлобие острот Моквина и излишнее спокойствие Лопатина?

По вечерам Сливинский рассказывает о боях, в которых он участвовал, о чернооких паненках, за которыми ухаживал на стоянках в Польше, о жизни и схватках с большевиками в отрядах Булак-Булаховича. Я готов слушать его часами: меня одинаково возбуждают и рисуемые Сливинским образы обольщенных им польских красавиц и полные удали боевые эпизоды. Всё это — жизнь, так не похожая на наше прозябанье под скучным соловецким небом! Постепенно у меня складывается

представление о Сливинском, как о смелом, сильном человеке, пусть немного грубым, по-житейски не очень морально стойким, зато отважном и непримиримом к большевизму.

Гуляя со Сливинским за Кремлем, я с уважением смотрю на впечатительную фигуру моего приятеля, уверенно, с высоко поднятой головой идущего рядом. На его силу можно положиться... Незабываемое никогда подмывает меня обратиться к нему. Я думаю так: Стрешнев, Лопатин не товарищи, мои сверстники молоды и неопытны, как и я сам, но вот рядом сильный и смелый человек, прошедший через многие испытания. И однажды я не выдерживаю:

— Болеслав Станиславович!

Сливинский поворачивает голову, я встречаю его прямой и надменный взгляд.

— А как вы... относитесь... к побегу? — поперхнувшись под этим взглядом и невольно сбавив тон спрашиваю я.

Сливинский поднял брови, ничего не ответив. Но лицо его проявило живой интерес, в глазах промелькнуло любопытство. Это придало мне бодрости.

— Нам сидеть еще по девять лет. Подумайте, девять лет! — то-ропливо восклицаю я. — Ведь это целая вечность! Неужели вы, после войны, партизанщины, после кипучей жизни согласитесь с такой участью?

Сливинский оглядывается по сторонам:

— Только тише, не так громко, — просит он. В его голосе я слышу сочувственные нотки.

— Бежать отсюда трудно, говорят, что невозможно, но я уверен, что если приложить все свои силы — можно добиться успеха! Нужно только всю свою волю направить на одно — тогда мы преодолеем все препятствия!

— Да, я согласен с вами, — медленно говорит Сливинский.
— Не может быть, чтобы из Соловков нельзя было бежать. Но надо хорошо подумать. Двоим бежать нельзя, нужны товарищи...

— Найдем! — откликаюсь я. Сливинский глядит на меня, кажется, что в углах его мясистых губ мелькает усмешка.

— Хорошо. Подумаем. Не надо только торопиться. Надо очень тщательно подготовить дело, наметить план. Я предложу вот что: с этого дня мы будем искать пути побега, людей и изредка, на прогулках, обмениваться мнением. А пока прекратим об этом: вы ведь знаете, как много здесь сексотов, нас могут подслушать...

Путь от леса до Кремля я прошел, если не танцуя по земле, то танцуя в душе. Этот разговор положил рубеж: до него была только тьма, после него из тьмы снова засверкала надежда. Я словно уже совершил побег...

Вечером я лежу на койке. Сливинский, лежа через проход на своей койке, неожиданно, дурачась, протягивает руку и щекочет меня. Я взмахиваю рукой и сбиваю со стены на пол свою шапку, висящую над моей головой еще с весны. Смеясь, Сливинский нагибается за ней, но тотчас же перестает смеяться. Я поворачиваю голову, смотрю: Сливинский вытягивает из-под отполовившейся подкладки какой-то белый лоскут. Мгновенно я вспоминаю Синицына, Мехова, наши письма и хватаю руки Сливинского, пытаясь дотянуться до шапки. Раскатисто захохотав, он одной рукой без труда валит меня на койку, другой встряхивает лоскут за кончик и читает письмо.

— Отдайте! — хриплю я, пытаясь вырваться, но он крепко держит меня. Прочитав письмо, Сливинский протягивает его мне и опять начинает щекотать меня, как будто ничего не произошло. Увернувшись от его руки, я встал и вышел в коридор.

В этот же вечер я сжег письмо. А спустя двое суток я проснулся во второй половине ночи: кто-то тряс меня за плечо. Открыв глаза, я увидел командира роты, за ним человека в форме ОГПУ, а у двери красноармейца с винтовкой. Человек в форме предложил мне встать и, не одеваясь, предъявить вещи для осмотра.

Обыск продолжался три часа: человек в форме просмотрел каждый шов моей одежды, щели между досками топчана, стену, пол около моего места. Мою шапку он взял с собой. А когда уже посветлело, когда чайки снова подняли над Кремлем отвратительный гомон, два красноармейца с винтовками отвели меня в следственный изолятор...

VI

Продолговатая комната с бельми стенами, окно забрано снаружи железным щитом. Свет еле просачивается сверху, в отверстие между окном и щитом, затянутое частой сеткой. У стен две койки: одну занимаю я, другую странное существо, отрекомендовавшееся Васькой.

Утром под'ем, завтрак, после которого можно до обеда лежать на койке, ходить, волоча ноги, от окна к двери и обратно. В двенадцать обед; потом опять лежи или ходи до шести, до ужина.

Съев ужин, можешь ложится спать, если ты еще можешь спать, или опять ходить, сидеть. Так вчера, сегодня, завтра и кто знает, сколько еще дней?

Я вспоминаю ДПЗ, одиночку, когда также нескончаемо тянулись дни, накапливая в груди неразрешимую тяжесть. День за днем, день за днем — от окна к двери и обратно: скоро на полу обозначилась узкая дорожка от бесчисленных шагов, стерших с асфальта грязь.

Особенно тягостно в тюрьме вечером, после ужина: днем почему-то еще можно дремать, сидя или лежа на койке и прислушиваясь к доносящимся со двора или из коридора звукам. Через них ты словно приобщаешься к жизни. Но вечером, когда узкая полоска неба над щитом окрашивается в розоватый, призывающе манящий цвет, когда тюрьма погружается в полную тишину и в коридоре только изредка раздается привычное звяканье замков и ключей у камер, из которых выводят людей на допрос или на расстрел, беспокойство в груди растет, ширится, превращаясь в огненную, палящую тело боль. Её можно утишить только так: надо быстро, торопясь, не шагами, а короткими прыжками метаться от окна к двери и обратно, или обегать камеру вокруг, больно задевая за острый угол железного стола или коленками за железо койки. Бегать надо час, два, пока во всем теле, от маковки до пяток, не останется ни одного ощущения, кроме усталости. Тогда можно лечь на койку и попытаться задремать.

Тогда меня мучило одиночество. Любой человек только своим присутствием помог бы мне переносить заключение. Теперь меня не пугает одиночество: год я пробыл в Соловках, никогда не оставаясь один. В камере, на работе, в Кремле меня постоянно окружали люди, и сейчас я был бы нескованно рад, если бы мог остаться один. Мне неприятно, что в камере шевелится еще одно двуногое, маленького роста, с сонными глазками на блинообразном лице.

На лбу у Васьки глубокая полукруглая вмятина, как от удара лошадиным копытом — от этого полуплещивая васькина голова кажется мягкой. Васька сам не знает, сколько ему лет: пятнадцать, шестнадцать? Смутно помнит он и свое прошлое: асфальтовые котлы, служившие ему местом ночлега, собачьи ящики вагонов, в которых он путешествовал по стране, кражи, пьянство, детские дома и побеги из них — всё это повторялось так часто и было так похоже одно на другое, что он уже не помнит ни дорог, ни городов, где всё это происходило с ним.

Меня совсем не интересует ни Васька, ни его бессвязные, похожие на беспомощное лопотанье, рассказы. Что они могут прибавить к уже узнанному мною за это время? Впрочем, я также, наверно, был бы недоволен, если бы вместо Васьки в камере был бы какой-нибудь другой человек: мне неприятны сейчас вообще люди, я чувствую неодолимое отвращение к человеческой речи. Мне очень хочется быть одному. Если бы мне предложили поехать на необитаемый остров или куда-нибудь в сибирскую тайгу и жить там в полном одиночестве, я согласился бы, не раздумывая.

Ни о чем не хочется думать. Вероятно, меня ждет та же Секирка, на которой погиб Синицын. Не все ли равно? Нервы припустились так, что, кажется, я не могу даже ощущать боли.

Но ведь и это уже было... Больше года назад, в одиночке ДПЗ*), накопившийся в груди огонь так жег тело, что я уже не чувствовал боли. Сломав железную пуговицу от кальсон, я наточил её об асфальт пола и, чтобы вызвать ощущение боли, чтобы отвлечь внимание от неугасимого огня в груди, стал царапать острой, с зазубринами, пуговицей по руке, у сгиба локтя. Боли не было. Я царапал сильнее, давя пуговицей на синюю нитку вены. Показались капли крови, а боли не было. Уже с любопытством, смотря на свою руку, как со стороны, я резал и кромсал кожу: казалось, было съято, как разрывается ткань, но боли я не ощущал. Текла кровь, чуть покалывало: было похоже, что кто-то тупым ножом слегка царапает мою руку.

Сейчас в таком же одеревянении если не тело, то мозг. Он будто завернут в вату. Я не хочу ни о чем думать. Не думаю я и о Сливинском: не всё ли равно, он или кто другой? Не одинаково ли, если все мы — негодные, жалкие тряпки? Не Сливинский, так другой точно также мог убить не меня, но больше — луч надежды, сверкнувший было из сплошной тьмы...

Васька возится в углу, между стенкой и печкой. Попыхтев немного, он зовет меня. Я вижу в его руке кирпич, а в углу дыру в соседнюю камеру. Кто-то ловко проделал эту дыру, искусно приладив кирпич так, что трудно заметить, что его можно вынуть.

— Веселей будет, ухмыляется Васька, жестом приглашая взглянуть.

В соседней камере сидит шпана. Собравшись на нарах в кружок, они играют в карты. Картежная игра запрещена в

*) Дом Предварительного Заключения: следственная тюрьма ОГПУ в Ленинграде, на Шпалерной.

Соловках, но воры не смотрят на запрещение. Да и сейчас ночь, а ночью в этом изоляторе можно повеситься, убить человека, часами стучать в дверь — всё равно до утра никто не придет на ваш стук. Здесь всё же не так, как в тюрьме: выйдя днем в уборную, можно переброситься парой слов с надзирателем, тоже заключенным, можно на минутку заглянуть в волчок другой камеры — здесь свободнее, чем в тюрьме. И эта дыра — в тюрьме она была бы невозможна... Я отхожу от дыры: мне противно смотреть на таких же человекоподобных, как я сам...

Через пять дней надзиратель вызывает в коридор. Там ждет красноармеец. Показав винтовкой на выходную дверь, он коротко говорит:

— Пошли...

Мы выходим в пустой по вечернему двор Кремля. Я понимаю, что мы идем в ИСО, на допрос. «Надо бы приготовиться», — мелькает в голове мысль, но тотчас же пропадает: всё равно.

В низкой комнате за столом сидит худощавый человек с коротко остриженными черными волосами. В его впалых щеках свет настольной лампы прочертил две глубокие морщины. Он кивает мне головой и жестом костлявой руки приглашает садиться напротив.

Опустив глаза на лист бумаги, он тусклым безразличным голосом задает мне стереотипные вопросы: фамилия, имя и отчество, возраст, статья, срок. Перо сухо поскрипывает, буквы и цифры ровно ложатся на белом листе.

Когда я называю город, где родился, костлявая рука чуть медлит и, словно подумав, перестает писать. Она нерешительно откладывает ручку в сторону. Человек приподымает голову и молча смотрит на меня глубоко запавшими глазами.

Белые костлявые ладони неподвижно лежат на синем сукне стола. Человек продолжает молча смотреть на меня.

— У вас был брат, Сергей? — вдруг тем же тусклым голосом спрашивает он. Я утвердительно киваю головой. После минутного молчания он снова спрашивает:

— Вы знаете, где Сергей?

Мне нет надобности скрывать, где брат: ГПУ это известно.

— Он был в белой армии и эмигрировал с ней. Сейчас живет во Франции.

Худощавый человек опускает голову, убирает со стола руки и зябко передергивает плечами.

— Да, я знаю, он был у белых, — задумчиво, словно самому себе, говорит он.

Я как будто просыпаюсь: он знает моего брата? Откуда, почему?

Не поднимая головы, следователь закуривает, медленно пододвигает ко мне коробку папирос, спички и встает. Выйдя из-за стола, он начинает ходить по комнате, из угла в угол, по диагонали. У него тонкая стройная фигура, склоненная сейчас голова немного горбит её.

Я курю и искоса слежу за худощавым человеком. Недоумение не оставляет меня: почему он знает моего брата? Кто он, этот человек? На нем длинная защитного цвета гимнастерка, синие галифе, сапоги — так одеваются работники ГПУ. Но на воротнике следы споротых петлиц: он безусловно заключенный. Почему он прервал допрос, почему молчит и ходит, не глядя на меня? У него застывшее, неподвижное лицо... Почти не отрывая от пола ног, человек медленно ходит из угла в угол, погруженный в непонятное для меня раздумье. Проходит минута, две, три, пять, — кажется, он забыл обо мне.

Я кашляю, как бы поперхнувшись дылом. Человек останавливается, поворачивается и пристально смотрит, словно только теперь увидев меня. Подойдя ближе, он опирается на стол длинными костлявыми пальцами и тихо говорит:

— Я Ростовцев. Вы помните такую фамилию?

Ростовцев... Низкая комната, стол с лампой, худощавый человек вдруг уплыли куда-то в сторону. Вместо них возник наш сонный город, захолустная улица, дом с палисадником, в котором росли акации и кусты сирени. Ранним летом, когда цвели акации и сирень, после теплого дождя, в открытые окна дом наполнялся кружасшим голову ароматом цветов. А три-четыре улицы дальше, неподалеку от железнодорожной станции был другой дом, тоже весь в зелени — в нем жили Ростовцевы. Отец, мать, сын Николай, одноклассник и неразлучный друг Сергея, и тоненькая гимназисточка Нина, красавица с длинными косами. За ней ухаживал брат, она считалась его невестой. Помнится я, тогда совсем малыш, абсолютно ничего не понимавший в сложных человеческих делах, не раз служил брату почтальоном и носил его записочки Нине. Николая я помню плохо, я мало видел его, но неужели тот краснощекий крепыш — вот этот худощавый человек с провалившимися глазами и втянутыми щеками?

Я вспомнил, как в семье у нас говорили, что Николай пошёл работать в ЧеKa... Положив потухшую папиросу в пепельницу я смотрю, как, из угла в угол, заложив руки за спину, Ростовцев продолжает ходить по комнате.

— А где Нина? — прерывая тягостное молчание спрашиваю я. Ростовцев останавливается.

— Она умерла. Вернее, её расстреляли. Она уехала на юг, поступила к белым сестрой милосердия и искала Сергея. Потом попалась красным и её расстреляли... — опять бесцветно, словно не мне, а самому себе, говорит Ростовцев, проходит за стол и садится на свое место.

Снова тянутся минуты вязкого молчания. Я закуриваю вторую папиросу. Ростовцев поднимает глаза: они кажутся близорукими, беспомощными — будто он снял очки, через которые прежде смотрели другие глаза. Рот его кривится в бессмысленной улыбке.

— Ерунда, глупость, — почти шепчет он. — Сергей во Франции, я в Соловках, а Нину расстреляли. Зачем это, к чему? И вы еще — зачем вы? — недоумевая, спрашивает Ростовцев. Я не отвечаю: я вижу, что он спрашивает не меня, а кого-то еще, может быть самого себя. Я чувствую себя очень необычно, немногоТревожно и неловко: у меня смутное ощущение, что этого худощавого человека, составленного словно из одних прямых изломанных линий, что-то мучит, такое, что переживать можно только наедине... Ростовцев долго раскуриивает папиросу, предварительно тщательно размяв её пальцами.

Желтоватый свет из-под абажура мертво падает на чернильницу, белый, только чуть сверху исписанный лист, пепельницу, коробку папирос, спички. Они лежат, строго и скучно разделяя нас. В душной накуренной комнате время остановилось, а тишина кажется густой, тяжелой, она давит. Я размяк немного, отяжелели веки. Не сплю ли я? Может, всё это — сон?

Ростовцев смотрит мимо меня пустыми близорукими глазами. Так смотрят полуслепые.

— Не это страшно, — словно вздохнув, проговорил Ростовцев. — Я иногда думаю, что страшно то, что всё можно понять, объяснить, а сделать ничего нельзя, — тем же тусклым голосом продолжает он. — Изменить ничего нельзя, — повторяет, будто разъясняя, Ростовцев, и вдруг торопливо и с надеждой спрашивает: — Вы понимаете меня?

— Да, понимаю, — стряхивая с себя оцепенение отвечаю я.
— Но, почему нельзя? Если понимаете вы, другие, почему нельзя? Если мы, вместе... — Слова точно застrevают в горле, их почему-то надо вытягивать, как из тины.

— Ерунда! — резко и громко вскрикивает Ростовцев и вскаивает из-за стола. Он опять ходит по комнате, но уже быстро, торопливо, неровными шагами.

— Вы ничего не поняли! — кричит Ростовцев. — Это — как машина — огромная, мертвая, бездушная... Её кто-то, — да мы же сами! — вскрикивает он, перебивая себя, — мы сами пустили её, а теперь никто не может остановить! Мы все части её видим, всё понимаем, можем объяснить, а сделать ничего не можем... Она крутит нас, ломает нам кости, а мы только следим за ней, подливаем ей масла и никто не знает, как её остановить!

Крик Ростовцева и его нервная беготня действует на меня отрезвляюще. Мне кажется, что я овладел собой.

— Потому она и работает, что вы подливаете масла. А если бы...

— Глупости! — злобно кричит Ростовцев и, круто повернувшись, останавливается около меня. Его пальцы железными прутьями стискивают мое плечо. — Вы ничего не поняли! — раздельно и резко отчеканивает он. — Это всё равно, вы или я, на одной или на другой стороне: это ничего не меняет! Мы только пища для машины, поняли? — он отпускает мое плечо и опять ходит по комнате. — Если бы, если бы, — передразнивая, бормочет он. — Нам с Сергеем было по девятнадцати лет, Ниине восемнадцать, когда мы попали в омут, а вам — вам ведь тоже восемнадцать? — спрашивает Ростовцев. Я подтверждаю — ма-хнув рукой, он садится за стол и опускает голову.

— Ну, вот, ну, вот, — уже устало, обмякнув, бормочет он. — А зачем это? Зачем мне, вам, нам всем? К чему этот омут? — Он сидит сгорбившись, постарев, с полузакрытыми тонкими веками глазами.

— Но что же тогда делать? — тревожно спрашиваю я. Ростовцев открывает глаза, смотрит пусто и холодно.

— Этого я не знаю. Этого никто не знает, — снова изменившись, холодным тоном говорит он. Минуту он молчит, потом говорит еще более отчужденным, почти враждебным тоном, будто зачеркивая всё сказанное перед этим:

— Идите спать, уже поздно. Завтра я вас вызову, мы составим протокол допроса. Ваше дело тоже чепуха, но постарайтесь больше в такие дела не ввязываться. Вы с Синицыным работали? Он погиб, погибнете и вы — это ничего не может изменить. Сидите и ждите. И не спрашивайте меня больше ни о чем...

Надзоратель впускает меня в камеру. Под потолком тускло горит лампочка. Уже далеко за полночь. Я чувствую себя очень

усталым, разбитым, хочется сейчас же лечь и уснуть... Васька спит, натянув одеяло на голову. Но едва шаги надзирателя заливают в конце коридора, Васька сбрасывает одеяло, соскакивает с койки, бежит к печке и поспешно вытаскивает из дыры кирпич.

— Иди сюда! — шепчет он. — Смотри!

Что еще там? Я нехотя иду, наклоняюсь к плешивой голове Васьки. Он прилип к отверстию и возбужденно сопит.

В соседней камере не спят. Урки сидят на нарах и настороженно, выжидающе смотрят в проход по середине. В проходе между нарами стоит худой, среднего роста, почти чёрный лицом бакинский вор Магерам — я его уже знаю по рассказам Васьки. Лицом к нему стоит тоже худощавый стройный парень, лет двадцати, белолицый, с челкой приглаженных ко лбу волос и щеголовато одетый: в светлую шёлковую рубашку, перехваченную кавказским наборным ремешком, и широкие плисовые брюки, заправленные в лакированные сапоги.

— Это Степка Подбор, знаменитый жулик, — шепчет Васька.

— Его вечером привели. Он, должно, заигрался когда, Магерам с него получать хочет.

Магерам нацелился на Степку хищным горбатым носом, глаза его жадно блестят.

— Плати! — угрожающе шипит он. Подбор оглянулся: вокруг только нахмуренные ожидающие лица, сочувствующих в камере нет — урки на стороне Магерама.

В моем медленно работающем сознании появляется мысль, что у соседей готовится что-то скверное: по неписанным воровским законам в таких случаях должник всецело во власти кредитора, он не имеет права даже сопротивляться, под страхом смерти. Если он будет сопротивляться, с ним могут расправиться сообща, все сидящие в камере урки, ждущие расправы.

— Плати! — настойчивее шипит Магерам и делает шаг вперед. Подбор вздрагивает, поводит плечами, лицо его стягивает судорога, похожая на гримасу растерянности. Испуга не видно у него на лице: на нем только тоска, обреченность. Так, наверно, смотрит больной волчонок, попавший в стаю матерых голодных волков, чувствующий, что они сейчас набросятся на него и разорвут в клочья.

— Ну? — повторяет Магерам.

— Эх! — вскрикнул, словно охнув, Подбор. Он выпрямился, расстегнул ремень, пуговицы, ловко, одним движением, снял рубашку и остался по пояс голым. Попятившись к двери, Подбор

прислонился к ней спиной, крестом раскинул руки, брезгливо посмотрел на Магерама и коротко бросил:

— Получай!..

Горбоносое лицо Магерама растянулось в беззвучной гримасе смеха. В его руке блеснул нож. По кошачьи изогнувшись, он неслышно, крадучись подходил к Подбору. Широкая грудь Степки поднималась и опускалась ровно и спокойно. На темной двери отчетливо белело прекрасно развитое человеческое тело, с тутими выпуклыми валиками и подушечками мышц.

— Ас! — лязнув зубами, Магерам махнул рукой — раз, два, — и отскочил. Руки Подбора дрогнули, растопыренные пальцы сжались в кулаки. На груди у него и на животе, наискось от плеч к бокам, крестом протянулись длинные полосы. — из них капельками брызнула кровь.

— А, а! — вскрикивал Магерам, то подскакивая к Степке, то снова отбегая назад. При каждом подскоке онолосовал ножом грудь, руки, живот Степки, не нанося глубоких ран. Подбор вздрагивал, сжимал и разжимал кулаки, по его лицу пробегали гримасы боли.

Должно быть от вида и запаха крови Магерам остервенел. С выпученными глазами, с торжествующе и злобно искаженным лицом он прыгал около Подбора, приседал, заглядывая снизу в лицо своей жертвы, отскакивал назад, метался в проходе. Перехватив нож, он зажал его в пальцах так, что из них высывался только короткий кончик, — подскакивая к Степке он быстро, как будто клевал, всовывал этот кончик ему между ребер, всё еще лязгая зубами и судорожно выдыхая: а, а, а!..

— А, гад малахольный! — бессильно стонал рядом со мной Васька, дрожа и словно порываясь куда-то бежать. — Что он делает, а? Ведь зарежет, зарежет, паскуда! — Урки сидели на нарах, не двигаясь с места, внимательно и угрюмо следя за расправой.

Магерам, отскочив от Степки, остановился. Тяжело дыша, он смотрел на Подбора, напряженный, напруженный. Руки Степки обвисли, голова свешивалась, кровь сплошь заливала его грудь, живот, брюки. Он тоже тяжело дышал, всхрипывая, но еще пытался приподнимать руки в прежнее положение и иногда упрямо взмывал головой с растрепанными волосами, липущими к мокрому от пота лбу.

— А! — вскрикнул опять Магерам и, подскочив к Степке, ударил его ножом в глаз. Васька что-то закричал, схватил мою руку и зачем-то тянул её в дыру. Подбор отшатнулся от двери и рухнул на пол...

Отцепившись от возбужденно всхлипывающего и что-то нынешне внятное бормочущего Васьки, я добрел до своей койки и лег, не раздеваясь. Вспомнил, что не снял сапог. Не вставая и не дотрагиваясь до них руками, я ногами кое-как стянул сапоги, столкнул их на пол. И плотно, с головой, закутался в толстое шерстяное одеяло...

Через три дня меня выпустили из изолятора, определив на старое место, в прежнюю роту и камеру...

VII

Опять падает снег, скоро снова наступит соловецкая ночь. Сначала зима кажется ненастоящей: всюду лежит снег, озера покрыты льдом, но еще идут пароходы, привозят с материка газеты, письма, посылки, новых людей — жизнь еще не замерла, не остановилась совсем. Но всё дальше и дальше в море протягиваются закрайки льда, за ними с берега уже не видно воды, и в узком канале во льду пароход пробирается всё с большим и большим трудом. В ноябре пароход гудит в последний раз, в последний раз в этом году мы получаем письма, газеты, — на полгода Соловки остаются отрезанным от всего света. Следующие письма и новости мы получим только через полгода, будущим летом.

Глухая, темная ночь окружает Соловки. Темная и в прямом смысле: до одиннадцати-двенадцати часов в помещениях горит свет, потом до двух как будто брезжит серенький день, в два снова начинаются сумерки. Солнце показывается изредка, где-то над горизонтом, и не решается подняться выше.

Море не замерзает сплошь: километров на десять от островов тянется нагроможденный в осенние бури торосами лед а дальше идет каша-мелкий битый лед, шуга. Специальная команда заключенных-поморов на окованных железом карбасах делает за зиму два-три рейса на материк: сорок километров они пробираются по льду и в шуге десять-двенадцать дней. Но они возят только служебную почту...

Метет пурга, заунывно воет ветер в трубах, в проводах — мрак, ночь. Где-то живут люди, — или кажется, что живут? — ездят в поездах, на лошадях, в трамваях, приходят домой, в тепло, в свет, в семью, и нет у них этой неизбывной, тягучей, иссушающей тоски, похожей на тоску в долгую изнурительную бессонницу. Край света, отрезанный от всего мира, и мы не по

своей охоте и неизвестно зачем сидим на этом краю, охраняемые льдом, морем, метелями, тьмой...

Два удовольствия есть у нас в долгую ночь. Одно из них — баня. В Соловках, в Кремле, отличные монастырские бани, с парными, угождающими самым завзятым любителям париться. Два раза в месяц, дождавшись своей очереди, мы с радостью устремляемся в баню, предчувствуя пир для тела. Сбросив одежду, мы сбрасываем с себя что-то, делающее нас заключенными, и превращаемся просто в людей, таких, как все. Пожилые, бородатые люди становятся в бане детьми: они возбужденно гогочут, яростно нахлестывают себя и друзей березовыми вениками, звонко шлепают товарищей по спинам и радуются, как маленькие. На полчаса, час, можно забыть, что ты моешься в Соловках, и вообразить себя в бане родного города...

Второе удовольствие тоже уводит в мираж, в иной мир. Это удовольствие для души: соловецкий театр.

Небольшая соловецкая труппа из заключенных сделала бы честь любому провинциальному городу. Бывшая монастырская трапезная переделана в театр: скромно убранная сцена, уютный зал, фойе. По субботам и воскресеньям дают платные спектакли, еще один, два раза в неделю — бесплатные, для общих рот.

В театре те же ротные командиры и старосты, повелевающие нами — в серых бушлатах и шинелях, с черными воротниками и нашивками на рукавах; те же соловецкие боги, вольнонаемное начальство, в руке которого наша жизнь и смерть; друзья, знакомые, но в нем, незаметно для глаза, царит совсем другая атмосфера, в которой тоже растворяется облепившая душу оболочка заключения.

Уже то, что ты внизу, в кассе, самостоятельно покупаешь билет, таит в себе некую крупицу освобождения. Наверху, на лестнице, при входе в фойе, у тебя отрывают кусочек билета — точно также, как и во всех театрах мира. В фойе люди прогуливаются, сидят у стен, из зала доносятся звуки оркестра: ты можешь почувствовать себя совсем не так, как в роте. Среди мужчин ходят, разговаривают женщины: это единственное место в Соловках, где ты запросто, свободно, ничего не опасаясь, можешь поговорить с женщиной. Если ты встретишься с женщиной на дороге, в Кремле, и перебросишься с ней десятком слов, на виду у всех, это может быть сочтено нелегальным свиданием, за которое и тебя и женщину посадят в карцер или в штрафной изолятор. А в театре ты можешь свободно говорить с женщиной...

Дребезжит звонок, умолк оркестр, гаснет свет. Распахивается занавес, открывается другой мир. И вот тут, если всё свое внимание сосредоточить на сцене, если вжиться в пьесу так, чтобы почувствовать себя одним из её действующих лиц — ты можешь забыть и о Соловках, и о том, что ты заключенный. Пока открыта сцена, ты будешь ощущать себя полноценным, настоящим человеком, живущим по своему велению и разуму. Это ощущение можно продлить и в антракте — надо только замкнуться, ни с кем ни о чём не говорить, стараться ничего не видеть, чтобы не разрушить созданного в душе хрупкого очарования инобытия. А когда кончится спектакль, надо также замкнуто, молча, бережно нести в себе пережитое, — так, как несут нежный блекнувший от прикосновения руки цветок...

Кончился спектакль, выходим из театра. Внизу, во дворе, старостиха, как наседка, хлопочет около женщин, строит их в две шеренги и ведет за Кремль, в женский барак. Ежась от холодного ветра, люди разбегаются по ротам, быстро пустеет двор.

Не хочется идти в роту: там сейчас топот на лестнице, резкое звяканье медных монастырских жбанов, в которых мы носим кипяток. Я иду дальше во двор, к скверу перед Преображенским собором, где когда-то с Петровым мы разговаривали о побеге.

Воет ветер, мотает из стороны в сторону электрический фонарь у входа в собор, тень от абажура фонаря дико прыгает по стене. Снег летит длинными белыми полосами, похожими на уродливые мазки. Выше, над деревьями, черный провал, пустота. В ней, высоко, видна одна красная звездочка и оттуда же, сверху, слышно бешеное трепетанье гигантских крыльев: это треплется по ветру, на шпиле собора, красный флаг.

У меня есть знакомый, поэт. Среди его стихов, в которых переплелись тоска, отчаяние, боль, я нашел такие строчки:

Звени, соловецкая выюга,
Белилами межь купола,
Твой саван, затянутой тую,
Звезды проколола игла.

Прочитав их, я спросил поэта:

— Это что, оправдание?

Поэт испугано посмотрел на меня, отвернулся и капризным тоном, в котором звучало: «оставьте меня в покое!», сказал:

— Я не знаю, не знаю! Я сам ничего не знаю! .

Воет ветер в проводах и деревьях, как в мачтах и оснастке корабля. Трепещет в вышине, спрятанный в ночном мраке, флаг, а совсем наверху горит одинокая звездочка. И кажется мне, что мы на каком-то большом корабле, он плывет во тьме, сквозь ветер, снег, бурю — куда-то в неизвестное никому...

VIII

Медленно ползут дни: нудная, никому ненужная и никому не приносящая пользы работа в канцелярии, надоевшие разговоры, книги, прочитанные еще на воле, изредка театр и сон. Жизнь проходит где-то стороной, мы не участвуем в ней. Метели, лед, шуга крепче стен и решеток отгородили нас от мира и здесь, на островах, мы варимся в собственном соку. Впрочем, Ростовцев ведь так и советовал: сидеть, только сидеть, не высовывая носа за пределы приказанного тебе. Но долго ли можно терпеть этот приказ?..

Я просыпаюсь среди ночи: в коридоре топот, голоса. Обыск? Снова арест?

Открывается дверь, вспыхивает яркий свет, заставляющий жмурить глаза. В дверях ротный:

— Встать! Чьи фамилии прочитаю — собрать вещи и через полчаса быть на коридоре! — Он читает: Стрешнев, Лопатин, Гусев и я.

Что случилось? — Встревоженно переглядываясь, мы торопливо одеваемся, собираем вещи. За год жизни здесь откуда-то набралось много ненужных, неизвестно как прижившихся вещей: на пол летят пустые коробки, банки, тряпки — всё, могущее обременить в дороге баражло. Но какая дорога ждет нас?

Надев пальто и взяв вещи, выходим из камеры. В коридоре уже толпится десятка два людей, одетых, нагруженных чемоданами, корзинами, свертками мешками. У кого встревоженные, у кого растерянные, недоумевающие лица: никто не знает, зачем собирают нас.

Ротный суетится, бегает по камерам, торопит не успевших собраться; остающиеся, полуодетые, выглядывают из камер, выходит в коридор: они встревожены не меньше, чем мы.

Проверив людей по списку, ротный приказывает выходить. На дворе ночь, в свете редких фонарей видим: через двор, к воротам, тянутся такие же группы.

У ворот собралась большая толпа, в стороне стоит конвой. Толкаясь, задевая друг друга мешками и чемоданами, мы выстраиваемся, конвоиры оцепляют нас. Начальник конвоя и староста пересчитывают партию: больше двухсот человек. Староста и командиры рот выходят из кольца конвоя, раздается сакральная, много раз слышанная команда:

— Взять вещи! Шаг вправо, шаг влево считаю побегом, буду применять оружие без предупреждения! Шагом-арш!

Тронулись первые ряды, за ними мы. Выходим из Кремля. Куда?

Над толпой легким гулом-жужжанием бьется этот вопрос, я слышу его то впереди, то позади. Десятки предположений, одно нелепее другого, носятся по рядам, но никто не знает определенно, куда нас ведут. Сбоку раздается негромкий панический выкрик:

— Братцы! На расстрел ведут! — он бьет по напряженным нервам, хотя в голове сейчас же проносится: «Глупости! Не похоже, не может быть. Да и почему, за что?.. Но мы уже многое видели и знаем, что во многих положениях не приходится спрашивать, почему, за что... Встревоженно гудят голоса.

— Прекратить разговоры!

Гул обрывается, только изредка кто-нибудь перешептывается с соседом. Поворачиваем налево, выходим на Савватиевскую дорогу: она ведет во второе отделение, где находятся лесозаготовки и штрафной изолятор. Не на Секирку ли нас ведут — в изолятор в церкви «Усекновения главы Иоанна Крестителя» — Секирной, перекрещенной заключенными по её нынешнему назначению в «Секирку»? Но почему? А, опять «почему»! Пора отвыкнуть задавать этот глупый вопрос!..

Тихая, чуткая ночь. Легкий мороз; разогретые ходьбой, мы не замечаем его. По сторонам широкой дороги чернеет лес, сливаясь с таким же черным, без единой звездочки, низким небом. От снега на дороге и по бокам ее кажется не так темно: похоже, что мы идем в длинном едва освещенном туннеле. Сышен только шорох шагов, да иногда кашель или громкий вздох.

Проходит час, другой. Направо дорога в Исаково, в центр лесозаготовок — мы минуем её. Дорога на Секирную — мимо. Кто-то облегченно вздыхает. Савватиево — мы идем дальше, уже по узкой, похожей на проселочную, дороге. Куда ведут нас?.. И только тогда, когда по часам полагается быть утру, мы останавливаемся перед тремя бараками, где-то в сердце соловецкого леса... .

Небольшой, но высокий барак, сложенный из жердей. Внутри темнее, чем на дворе: мы ныряем в барак, как в черную дыру. «Летучая мышь», над дверью, почти не светит. Привыкнув к темноте, видим трехэтажные нары, с обеих сторон. В проходе между ними чувствуем ногами толстый слой жидкой грязи.

Люди забираются на нары группами: знакомые, сослуживцы. Гусев, Лопатин, Стрешнев и я устраиваемся тоже вместе, на средних нарах. Бросив в изголовье вещи, садимся на краю нар и пыхтим махоркой. Понемногу выясняется, что новые обитатели барака — канцелярские и хозяйственные работники, вчера заполнившие бесчисленные соловецкие учреждения, все — «контрреволюционеры». Становится ясен смысл нашего изгнания из Кремля: очевидно, начальство решило нас, «контриков», послать в лес, на тяжелую физическую работу.

Лопатин сокрушенно вздыхает:

— А у меня в столе лежит бумага, которую обязательно сегодня утром надо отправить.

Стрешнев добродушно смеется:

— Вы неисправимы, мой друг. Кто теперь думает о работе, которую мы делали вчера? Её сделают за нас другие. Нам предстоит более важная работа: пилить лес.

— О, Господи! — вздыхает Гусев. — Что-то будет?

Из этого барака наша камера с отдельными койками, баня и театр будут нам сниться, как недосягаемая мечта... Впрочем, скоро нам ничего не будет сниться...

— Строиться! — раздается громкий, как щелканье бича, крик. Толпясь в узких дверях, мы выходим во двор. Позади слышны истошные вопли:

— Живо! Вылетай пулей! — и шлепанье, похожее на удары палкой.

Еще не день, но уже видно. Напротив приземистый барак в нем кухня и помещение для обслуживающего персонала. Слева барак охраны и десятников. А перед нашим бараком небольшой сруб из бревен, с широкими щелями, покрытый толстыми плахами. Это карцер: в него сажают на ночь провинившихся.

Перед строем начальник пункта, десятники, с самодельными метрами в руках, в стороне толпятся надзиратели с винтовками. Десятники отсчитывают себе людей и под конвоем надзирателей уводят их на работу. К нам тоже подходит десятник, я вглядываюсь в его будто знакомое лицо, вспоминаю: это бакинский вор, Магерам...

IX

В четыре часа утра в бараке раздаются вопли дневальных:

— Вставать! Вставать! Вставать!

Чувствуя в каждой клетке тела усталость, мы раздираем слипающиеся веки. Кто раздевался — натягивает непросохшую одежду, спавшие одетыми с огорчением видят, что одежда, которую они надеялись просушить за ночь теплом своего тела, всё еще влажна. В темноте люди соскаивают с нар, гремят котелками и мисками, сталкиваясь в проходе и в дверях, бегут на кухню за завтраком. Некоторые выбегают из барака, берут в пригоршни снег, трут им лицо, размазывая по щекам грязь. Наскоро проглотив кашу и кипяток, мы выходим строиться.

Ночь, но уже начинается развод. Он тянется долго, около часа: пока начальник подсчитает людей, пока придет надзор, десятники по спискам проверят своих людей, мы стоим и мерзнем. Влажная одежда твердеет, становится жестянкой. Наконец, мы разбиваемся на партии, получаем топоры и пилы и строим по два бредем на работу.

По сторонам узкой лесной дороги спят опущенные снегом сосны, ели. Они смотрят на нас отчужденно, враждебно: мы для них непрошенные пришельцы. Мы бредем, опустив головы, не замечая ни враждебности леса, ни его неподвижной скованной морозом и сном красоты...

Мы валим толстые деревья, обрубаем сучья, распиливаем кряжи на более короткие, сносим их в кучи. Никто из нас никогда не занимался таким тяжелым физическим трудом, никто не был лесорубом и не пил леса: мы не умеем ни пилить, ни носить тяжести. Мы задыхаемся, сделав полсотни взмахов пилой; не рассчитав ветра или наклона дерева, мы не можем его свалить: пила заедает в резе, мы ломаем пилы. Портим мы и ценную пахучую древесину: деревья расщепляются у нас вдоль и вместо прекрасного строевого леса мы даем лес, годный только на дрова. Срезанные деревья, падая, повисают у нас на соседних и мы выбиваемся из сил, стараясь повалить их, — это удается не всегда. Мы режем соседние деревья — они повисают на следующих. Нагородив длинный забор из полусваленных деревьев, висящих одно на другом, мы безнадежно смотрим на него и готовы опустить руки, послать к чёрту бессмысленную нечеловеческую работу, но среди нас бегает Магерам. Замахиваясь палкой-метром, он кричит:

— Кубики! Кубики давай, контра! — В отчаянии можно убить Магерама, но невдалеке, у костра, сидят два конвоира с заряженными винтовками в руках.

Скоро замерзшая одежда оттаивает и снова становится мокрой от снега и от пота. Мы снимаем пальто, полушибки, работаем в одних пиджаках и рубашках. От нас валит пар, одежда мокра до нитки, её можно выжимать. По дороге домой она опять замерзнет, чтобы оттаять в бараке.

Вечером, часов в шесть, когда становится совсем темно, Магерам принимает нашу работу. С криком бегает он от одной кучи бревен к другой, бьет метром подвернувшихся под руку людей — вконец измученные люди никак не реагируют на его удары. Мы не делаем за день и половины нормы; сколько мы сделали и как начальство подсчитывает нашу выработку, нас не интересует. У нас только одно желание: добраться до барака и лечь спать.

По дороге кажется, что, придя на пункт, ты не сделаешь больше ни шагу. Но надо еще получить хлеб, обед: после двенадцати часов в лесу зверский голод перебивает усталость, заставляет идти на кухню. После обеда надо отстоять еще проверку. Начальник снова долго подсчитывает нас, мы опять мерзнем, одежда снова становится железной, она жжет немеющее тело. Сверху, с черного неба, равнодушно смотрят большие, лучистые, бриллиантовые звезды. И только часов в девять мы валимся на нары и засыпаем, не замечая ни мокрого липнущего к телу белья, ни дурманящего смрада от скученных в бараке двухсот человек, ни укусов клопов и вшей. В четыре часа утра начинается повторение вчерашнего...

В нашей тройке — Стрешнев, Лопатин и я. Как и следовало ожидать, и тут Лопатин оказывается самым спокойным и практичным: не проходит трех-четырех дней, как он уже осваивается с техникой работы и начинает чувствовать себя, повидимому, так, как если бы был настоящим лесорубом. Прежде чем приступить к делу, он хозяйственно оглядывает дерево, терпеливо показывает, на какую сторону надо его валить, обясняет, как лучше пилить. У Андрея Петровича, несмотря на его деликатность, часто срываются проклятия и другие крепкие слова, я от него не отстаю — Лопатин только помалкивает и деловито прищеливается к деревьям.

Самое трудное, это носить. Кряжи в два метра длиной, толщиной сантиметров в двадцать, надо носить одному. Только чторезанный, такой кряж точно налит свинцом, одному его из

снега не поднять. Когда Стрешнев и Лопатин первый раз подняли мне на плечо кряж, я упал под ним: не ожидая такой тяжести, я не приготовился к ней и мои колени подогнулись сами. Встав, я напряг все силы: я не упал в другой раз, но у меня потемнело в глазах и сперло дыхание. Шатаясь, я шел, медленно вытаскивая из снега ноги, расчитывая каждый шаг. Сбросив кряж в кучу, я с трудом перевел дыхание; в ушах стоял громкий шум, всё тело тряслось.

Четырех-пятиметровые бревна мы носим втроем: под комель встает Лопатин, посередине Стрешнев, я несу вершину. Задыхаясь под тяжестью, пригибающей нас к земле, мы слышим позади обнадеживающий голос Лопатина:

— Ничего, ничего, донесем. Вы потихонку, потихонку, ребята. Не сгибайте ног, держите их прямыми. А бревно пусть лежит на середине плеча, так легче... — Сбросив бревно, мы не можем перевести дух, розогнуть спину, а Лопатин улыбается смущенно и говорит:

— Ну, вот, и донесли. Это только кажется, что страшно, а ничего, донесем. Надо только дышать научиться ровнее.

Иногда Андрей Петрович и я приходим в бешенство: мы пилим с ним, как сумасшедшие, быстро и бестолково, стараясь словно не перепилить, а перегрызть дерево пилой. Лопатин подходит к нам:

— Зачем вы так? — укоризненно спрашивает он. — Вы полегче, ровней. Надо силы свои беречь, куда так торопиться.

Глядя, как Лопатин не спеша, но всегда в дело, не попусту тюкает топором, я злюсь и недоумеваю: как он может так, всегда ровно, спокойно, без злости? Неужели его ничего не может вывести из терпенья?..

Палка Магерама почему-то еще не касалась спин нашей тройки, но других Магерам бьют нещадно. Он бегает среди работающих, сверкает хищными глазами на темном лице, и кричит:

— Кубики, гады! Давай жми, контра, не то на пеньки поставлю!

Мы знаем, что это такое, поставить на пеньки. Поругавшегося с десятником или плохо работающего заключенного заставляют раздеться и в одном белье, босиком, ставят на пень, на виду у конвоя. Конвой сидит у костра, а заключенный мерзнет, стоя на ледяном ветру. Иногда замерзают совсем: весной, когда сходит снег, в соловецком лесу оказывается не мало трупов — замерзших, застреленных конвоем или убитых десятниками заключенных. Мы отлично сознаем, что мы здесь — в полной влас-

ти десятника и надзора, сопротивляться им бесполезно. Если они не убьют вас сами, они могут сделать иначе: пожалуются, и тогда по приказу начальника пункта вас посадят в сруб у барака, тоже в одном белье. Неизвестно, что хуже: несколько часов на пне или ночь в срубе...

К вечеру тело деревянеет, хотя и болит каждый мускул. Без острой режущей боли невозможно разогнуть спину, повернуть шею. Голова, как в тумане. А надо еще три километра идти на пункт, мимо уснувших богато убранных снегом сосен и елей...

Только по воскресеньям мы немного приходим в себя. В этот день можно спать до восьми. Позавтракав и отстояв проверку, мы снова спим до обеда. После обеда многие опять заваливаются спать; другие разговаривают, сушат у печки одежду, слоняются по бараку. Тело будто бы немного отдохнуло, оттаивает и заторможенное сознание.

Сидя рядом с Андреем Петровичем на краю нар, я вглядываюсь в лица соседей. Они осунулись, похудели. Мороз и ветер выдубили кожу — обросшие, грязные лица кажутся одинаково темными, одичавшими. Одежда на многих висит ключьями.

— Это похоже на ад, — говорю я. — Нехватает только жары и адского пламени. А люди как раз из царства теней.

— Нет, это только чистилище, — поправляет Стрешнев. Он сидит по восточному, подогнув ноги и утомленно прислонившись спиной к стойке нар.

— Да, чистилище. Ад — это всегда, вечно. А чистилище — временно. Каким бы долгим оно никазалось, оно всё равно пройдет.

— А если нет? Если мы останемся здесь? По-моему, совсем не трудная штука, сыграть здесь в ящик.

Стрешнев отрицательно качает головой:

— Не думаю. Мы сами не знаем, до чего мы выносливы и крепки. Смотрите: казалось бы, все мы должны были переболеть, схватить воспаление легких, простудиться. Нет, никто не болеет: живуч человек.

— Чему вы это приписываете?

Стрешнев улыбается:

— Бывало я, дома, выйду в сырую погоду без галоши — обязательно простужусь. Насморк, горло болит, жар начинается — чуть не ложись и умриай. А тут я сплю в мокром белье, двенадцать часов торчу на морозе, живу в свинарнике — и ничего мне не делается!

— Что ж, организм приспосабливается, что ли?

— Вероятно... Да, мы и не представляем, что такое человек... — задумчиво говорит Стрешнев. Закрыв глаза, он откидывает голову к стойке нар и долго сидит молча.

В глубине нар слышен стон Гусева. Он спал всю ночь и теперь спит с утра. Неподалеку от него стоит котелок с обедом, накрытый хлебом. Гусев сильно сдал: как-то слишком заметно высох, похудел; ходит он, согнувшись крючком, с бессильно повисшими руками. Иногда он даже не ест: дотащившись до барака, он валится на нары и часами лежит без движения. Мы приносим ему хлеб, обед, — они остаются нетронутыми.

Еще я заметил в нем: раньше он всегда был кроток и невиден — теперь его будто бы съедает какая-то болезнь, пропивающая на его лице ожесточением, поневоле обращающим на себя внимание. В нем появилось что-то от исступления, злобного и жестокого, думается мне.

Повернувшись, вижу, как он медленно приподнимается и садится, опираясь на нары высохшими руками. В полуслучае я сначала не вижу его глаз, потом различаю две воспаленные точки. Лохматые брови, растрепанная борода, острые скулы и эти две точки придают Гусеву жуткий вид: он похож на смотрящего мертвеца.

— Вот обед, — говорю я, чтобы что-нибудь сказать, и придвигаю к нему котелок. Гусев упирается в меня воспаленным взглядом и громко шепчет:

— Сон, сон я видел страшный. Который уже раз, всё один и тот же. Будто руки я на себя наложил... Ох, страшно, сынок! Ведь это грех несусветный, Господи!..

Я беспомощно озираюсь: в таких делах я никуда не гожусь, не знаю, что сказать, чем утешить. Андрей Петрович придвигается к нам.

— Чувствую я, конец мне приходит, братцы, — прерывисто шепчет Гусев. — Умру, без покаяния, и бросят, как падаль, без креста, без молитвы, ведь страшно, а? А еще страшней — не выдержать, взороптать. Жестокою я, и молю Бога об одном: пошли мне смиренье, дай перетерпеть, Господи, не дай озлобиться! — задыхаясь, бредово шепчет Гусев: в его глазах предельное отчаяние. Мне тоже становится страшно: я никогда не видел, чтобы человек мог испытывать такое отчаяние.

Гусев долго и надрывно кашляет, в груди у него хрипит, склоняется, как будто что-то рвется. Снова подняв голову, он продолжает, как в бреду:

— Господь велел и врагам своим прощать, любить их, а я не могу больше, не могу. Ропщу, братцы, убить могу, или руки на себя наложить, образ Божий попрать. Зачем они так делают, зачем заставляют ненавидеть себя? Господь ли от нас отрекся, мы ли от Господа отреклись? Жизнь радость, и смерть в час положенный тоже отпущение радостное, а мы жизнь уничтожаем и зло сеем. Как искупим такой грех?

Закрыв лицо грязными ладонями, он склоняет голову в поднявшие колени. Его острые плечи, едва прикрытые ложмолями, расползающейся рубашки, трясутся — я не могу понять, от кашля или от беззвучных рыданий. Я вдруг чувствую, что у меня сжимается горло: мне почему-то горько и мучительно стыдно видеть вырвавшееся наружу горе этого до сих пор кроткого и тишайшего человека.

Андрей Петрович успокаивает Гусева, говорит, что нужно потерпеть еще, не надо отчаиваться. Гусев поднимает лицо из колен:

— Не за себя убиваюсь, голубчик! — горячо прорывается он.
— Чувствую, не могу сдержать себя, в зверя обращаюсь: ведь я до черты дойти могу, руку на человека поднять! В ослепление прихожу, в помрачнение душевное — чего еще больше может быть?

Мне непонятно отчаяние Гусева, я не могу уловить смысла его слов, до того они чужды и неведомы мне. Я только инстинктивно чувствую, что он верно у какой-то грани, над пропастью, и мне так же жутко, как ему.

Опять закрыв лицо руками, Гусев бессильно приваливается спиной к стене, его бьет, как в лихорадке. Андрей Петрович засторливо укутывает ему ноги одеялом.

X

Пуржит, неистовствует февраль. От метели не спасает лес: ветер обрушивается сверху, пронизывает нас, бьет в лицо, стискивая дыхание и заставляя кутаться в пальто. Но в пальто долго не проработаешь, мы раздеваемся — ветер обрадованно и зло сыпет нам снег за воротники рубашек. Обледленные белым, как ватой, мы копошимся у деревьев, проклиная работу и метель.

Неподалеку от нас в своей тройке работает Гусев. Я изредка посматриваю на него: движения Гусева скованы и мне кажется, что с ним обязательно должно что-нибудь случиться. Тревога за этого молчаливого человека, отчаянию которого я на днях был свидетелем и к которому уже привык за год совместной жизни, овладевает мной.

Так и есть: мы свалили дерево; прорезав снег, оно громко стукнуло о землю. В то же время позади раздается легкий вскрик. Недоумевая — наше дерево не могло задеть стоящих за нашей спиной — мы оборачиваемся: в двадцати шагах от нас, схватившись за грудь, Гусев оседает в снег, складываясь, как нож.

Проваливаясь по колено, мы по целине спешим к нему. Он лежит, почти совсем зарывшись в снег, с широко открытыми закатившимися под лоб глазами. Огрубевшее лицо его стало странно пятнистым: на лбу, на щеках, на губах, как отметины, расплылись белые пятна.

Опустившись на колени, Стрешнев растегивает Гусеву воротник рубашки, щупает пульс.

К нам побегает Магерам:

— Что стали, контра? — кричит он. — Что тут?

— Больной, — говорит Стрешнев. — Припадок у человека.

— Больной? У меня выздоровеет! — скалит зубы Магерам и тычет Гусева метром в живот.

— Он в самом деле болен, его надо на пункт отправить, в сколодок, — говорит, поднимаясь, Стрешнев.

— Ты! — свирепея и замахиваясь на Стрешнева палкой кричит Магерам. — Не учи, а то я тебя поучу! Пошли работать, чего стали?

Увязая в снегу, мы пробираемся к своему месту, изредка оглядываясь. Крутясь около Гусева, Магерам тычет его метром и орет:

— Вставай, гад ползучий! Я тебе покажу, как симулировать! Встаешь? — Он бьет Гусева толстым самодельным метром — раз, другой, третий — из снега не слышно ни стонов, ни криков.

Добравшись до сваленного дерева мы принимаемся за работу и посматриваем, что происходит около Гусева. Туда приходит конвоир, — не ругаясь, он беззлобно бьет Гусева прикладом, будто колотит по деревянной колоде. Потом товарищи несут Гусева к дороге и кладут невдалеке от костра конвоира.

Сквозь пляшущий и несущийся в воздухе снег видно: распустив шлем и подняв воротник шинели конвоир сидит у костра,

поставив винтовку между колен. Шагах в десяти от него лежит Гусев, полузысыпанный снегом...

Часа через два, должно быть почувствовав себя лучше, Гусев встал и пошёл к товарищам. Он медленно лазил около сваленных деревьев и еще более связанными движениями работал топором, обрубая сучья.

А вечером, на проверке, Гусева вызвали из строя и куда-то увели. Мы возвратились в барак, легли спать — Гусева не было. Ночью меня разбудил Лопатин:

— Гусева посадили в карцер, у карцера дежурит конвойир, — сказал он. Еле сообразив, о чем говорит Лопатин, я опять уснул.

Гусева втолкнули в барак во время подъема: двое надзирателей открыли дверь и бросили в проход что-то длинное, белевшееся в темноте. Рядом шлепнулся сверток одежды.

Подняв Гусева на нары, мы положили его на одеяла: окочневший, он не подавал признаков жизни; его руки, лицо были твердыми, как деревянные.

Лопатин и Стрешнев принялись растирать Гусева, а я помчался на кухню, за завтраком на четверых. До развода мы приводили Гусева в чувство: растирали его, поили горячим чаем, завертывали в одеяла. Наконец, он очнулся, начал, как умирающий, поводить руками, ногами, а потом затрясся в мучительном ознобе. Кое-как одев, мы уложили его, накрыв тремя одеялами...

Мы стоим в строю, ожидая развода. Начальник пересчитывает нас и кричит:

- Где карцерный?
- В бараке на нарах! — откликается дневальный.
- Выволочь!
- Но он болен, гражданин начальник, надо бы леклома вызвать, — говорит из строя Стрешнев.
- Разговоры! — гаркнул начальник, грозно взглянув в нашу сторону. — Я вам тут и леклом и главный врач — я его мигом вылечу!

Двое десятников и дневальный вытаскивают Гусева из барака и ставят на левом фланге. Он качается, клонится вниз — стоящие рядом подхватывают его, держат. На работу его ведут под руки, попеременно, заключенные нашей партии: Гусев висит на плечах поддерживающих, ноги его волочатся по земле и иногда делают два-три заплетающихся шага...

Вчера выл ветер, мела пурга, а сегодня природа угомонилась: тихо и скоро над лесом показывается чистое, радостное солнце. Оно блестит в снежном убore сосен, искрится в тысячах весело замерцающих разноцветными огоньками снежинок и прокладывает перед нами, на широкой поляне, длинную серебрянную дорогу. Легче становится дышать: словно раздвинулся горизонт и небо стало высоким, голубым... Мы работаем поодаль от остальных, скрытые молодой еловой порослью и кустарником. От того, что мы не видим надзора, тоже спокойнее и светлее на душе и спокойнее работается. Мы уже свалили десяток деревьев, но на одиннадцатом нам не повезло: огромная, полметра в диаметре сосна не захотела упасть туда, куда ее хотел свалить Лопатин. Срезанная, она, словно подумав, тихонько стала клониться вправо и прочно завязла маковкой в такой же стройной, с пушистой кроной соседке.

Расстроенные неудачей, мы стоим и смотрим, задрав головы на упрямую сосну.

— Дело дрянь, нам её не свалить, — говорит Стрешнев.

— Прочно села, негодница, — отзыается Лопатин.

— Будем резать соседнюю? — спрашивает Стрешнев. Лопатин внимательно смотрит вверх.

— Попробуем сперва шестом, может она в ту сторону пойдет, — говорит он. — Вы погодите, я схожу к ребятам, там должен быть шест, — и он неторопливо уходит за кустарник.

Мы сидим на бревне, курим. Андрей Петрович накинул на плечи изорванный полуушубок, его ветхая караулевая шапка сдвинута на затылок. При ярком солнечном свете еще отчетливее видно, как заострился у него нос, ввалились заросшие щетиной щеки. Он смотрит на поляну и о чем-то думает, по его лицу скользит едва заметная улыбка.

За кустарником звенят, шаркают пилы, стучат топоры. Сюда звуки доносятся приглушенно, как бы издалека. Тихо, солнце ласково греет лицо, руки.

— Это похоже на сон, — тихо говорит Стрешнев. — Откроешь глаза — все равно сон. Но, может быть, придет когда-нибудь такой день: я открою глаза и ничего этого не будет, а я увижу что-то совсем другое.

— А что именно? — спрашиваю я. Стрешнев улыбается — улыбкой, освещющей его лицо изнутри.

— Ну, может быть, Венеция...

— Венеция? — изумленно тяну я. — Это каким способом?

— Да, да, Венеция, мой друг, — смеясь, утверждает Стрешнев.
— Не ожидали? Я вот смотрю на эту дорожку, — он показывает на сверкающую дорогу в снегу, проложенную солнцем, — и мне так ярко вспомнилась Венеция, как будто я только вчера из нее. А прошло уже, — да, больше двадцати лет. Это было во времена моей радужной молодости — молод, здоров, да к тому же еще и жених, друг мой! Жизнь тогда представлялась светлой, радостной и не было, казалось, трудности, какую не вынес бы я на своих плечах! Мы путешествовали с невестой и её семьей по Европе и тогда в первый раз я попал в Венецию. Приехали мы вечером и пока старшие устраивались в отеле, мы не выдержали, удали от них, наняли гондолу и приказали ехать, куда глаза глядят. Было уже поздно, взошла луна — мы выехали на Большой канал и тут, помню как сейчас, перед нами, от луны, протянулась такая же длинная серебряная дорога. Мы тогда сказали друг другу: это наш лунный путь, по нему нам итти...

Взволнованный воспоминанием, Стрешнев замолчал.

— Вы на-редкость богаты, Андрей Петрович, — говорю я. — Вам так много можно вспомнить!

Стрешнев встрепенулся:

— Да, я очень богат. Но не завидуйте, мой друг: разве вы беднее меня? Разве то, что вы видели, пережили, не есть ваш бесценный капитал? Поверьте, ничто не теряется, не пропадает даром: всё, что мы видели, испытали — и вы, и я, это наше общее богатство и только оно дает нам силу переносить всё. Нет, не думайте, что вы бедны: всё, что пережито — наш неоценимый капитал, будь то муки в ГПУ или минутки счастья в далеком прошлом. И это бесценное богатство принесет нам когда-нибудь хорошие проценты! Так что, друг мой, мы с вами — архибогаты, почище Рокфеллеров — куда им до нас! — весело смеется Стрешнев.

— Что расселись, contra! — вдруг раздается за нами крик: мы не заметили, как из-за кустов вывернулся Магерам. Подскочив к нам, он с размаха ударил неуспевшего подняться Стрешнева: метр шлепнул по его спине, как тяжелая пощечина.

Таким я еще не видел Андрея Петровича: мгновенно схватив, будто поймав, воткнутый рядом в бревно топор, он вскочил на ноги, повернулся к Магераму — лицо его было перекошено от бешенства, глаза вылезали из орбит.

Магерам делает шаг назад:

— Ты что, ты что? — растерянно бормочет он. Но тотчас же по его лицу пробегает хищная судорога:

— А, ты так! — злорадно бормочет Магерам и поднимает метр. — Ну, держись! — и он изгибается, готовясь к прыжку.

Еще не зная, что я сделаю, я поднимаю свой топор и подскакиваю к Магераму. Он переводит горящие глаза на меня.

— А Подбора помнишь? — вдруг, не зная сам, зачем, спрашиваю я. — Степку Подбора, в изоляторе, помнишь, гадина? — наливаясь кипучей злобой хриплю я, с трудом открывая сведенный судорогой рот и надвигаюсь на Магерама, с занесенным над ним топором. — Ну, помнишь? — настаиваю я, дыша ему в лицо, и смотрю прямо в чёрные глаза.

Магерам опускает руку с поднятым метром, глаза его часто мигают. Лицо его почему-то гаснет и из хищного становится жалким. Он пятится, потом поворачивается и, озираясь, уходит за кусты.

Бросив в снег топор, я сажусь на бревно. Сердце колотится еще торопливо, громко. Стрешнев садится рядом.

— О каком Подбore спрашивали вы? — говорит он.

— Так, был один. Вор, — неопределенно отвечаю я. Стрешнев молчит, потом тихо говорит:

— А ведь я мог его убить... — Сначала это не кажется мне странным, но потом до сознания доходит: Стрешнев и убийство — это так несовместимо, так нелепо, что я начинаю смеяться. Стрешнев смотрит на меня и тоже смеется:

— Право, всё это так глупо, что ничего не остается, как посмеяться, — говорит он, и опять добреет лицом.

Напряжение разрядилось: нам обоим легко, как после одержанной победы. В голове еще мелькает недоумение: почему Магерам растерялся, когда я сказал о Подбore? Не подумал ли он, что я один из друзей Степки и могу потребовать сдачи за излишне полученное им с Подбore? Это так и останется загадкой для меня, но с нынешнего дня Магерам будет сторониться нас, стараться не замечать, что мы работаем у него...

После пережитого волнения от теплых солнечных лучей клонит в сон. Мы дремлем, а Лопатина всё нет. Где-то за кустами слышен крик, там продолжают визжать и шоркать пилы, а мы всё дремлем. Куда запропастился Лопатин?

Он приходит без шеста. Неуклюже перелезает через бревно и садится рядом с нами. Лицо у него взволнованное.

— Случилось что? — спрашивает Стрешнев. Лопатин медленно говорит:

— Гусев, обрубая сучья, ударили по руке и отрубили себе палец. Мы перевязали ему руку, конвойир подошел и заставил Гусева

работать дальше. Тогда он опять ударил по руке и отрубил себе пол-ладони, четыре пальца. Прибежал Магерам, вдвоем с конвиром они избили Гусева и приказали еще перевязать его. Я снял рубашку, изорвал на бинты, мы кое-как остановили кровь, перевязали ему руку. Магерам заставил его работать одной рукой. Только мы отошли, как он снова ударил по руке и отрубил себе всю ладонь, вот до сюда, — Лопатин показал на свою руку, выше запястья. — Магерам совсем остервенел, бил Гусева мечом, ногами, а он лежит без движения. Там весь снег кровью залит, будто телушку резали... Мы еще раз перевязали его, но он уже не вставал: бледный такой лежит, белый. Теперь его на пункт унесли... Зачем он это сделал?...

XI

«Всё проходит» — говорится в старой сказке, читанной в забытом теперь детстве. Это, пожалуй, наше главное и единственное утешение. Прошёл и лес: я снова в Кремле, в той же роте, и попрежнему работаю в управлении. Андрей Петрович был прав: уже перестали болеть мускулы, с рук сходят мозоли, а с лица обмерзшая кожа. В бане остались лесная грязь, вши; китайцы и женщины в прачечной выстирали одежду: с грязью мы сняли с себя некую шкуру, лишавшую нас человеческого образа. В привычной работе стираются воспоминания, а в душе будто перевернулась еще одна исписанная страница.

Эксперимент начальства не удался: работавшие вместо нас уголовники столько напутали и разворовали, что ничего не осталось, как вернуть нас на прежнее место. В лесу остались немногие, — в их числе Гусев, зарытый вместе с другими в промерзшей земле. А может быть, просто брошенный в снежный сугроб...

Окна нашей канцелярии выходят на юг, в гавань. Снег на льду еще девственно-чист, но так прозрачен воздух, пронизанный лучами радостно-сверкающего солнца, что невольно чувствуется: ночь прошла, скоро наступит день. Он еще не пришел: до открытия навигации добрых три месяца, но уже очистилось небо, не такой плотной тьмой окутаны ночи, а в груди теснится взволнованное предчувствие весны. Скоро солнце растопит льды, очистится море: снова придут пароходы, привезут написанные родными руками письма, мы получим газеты — мы снова вступим в жизнь!

Впрочем, она всё та же, эта жизнь. Так же, как в прошлом году, мы будем читать в газетах о том, что где-то в Болгарии или Румынии кровавые псы капитализма приговорили пятнадцать или двадцать коммунистов в общей сложности к пятидесяти годам каторги. А в гавань снова и снова будет приходить лагерный пароход и привозить новые этапы: двести, триста человек, тоже в общей сложности приговоренных к двум или к трем тысячам лет: сейчас прибывают больше десятилетники. Что изменилось на земле? Ничего, всё осталось попрежнему. Но и сознавая это мы всё же будем с надеждой вчитываться в строчки газет, прислушиваться к вновь прибывшим: мы ведь остаемся людьми...

В начале лета пароход привезет в эту гавань Горького, с сыном, с невесткой. Будет так же сиять солнце. Окруженный чекистами, Горький с родственниками сойдет с парохода, приехавшие и встречавшие усядутся в блестящие лаком коляски и помчаться в Горки, в лес, где, на даче, живет тщательно охраняемый и окруженный таинственностью соловецкий бог — начальник управления. Оттуда Горький проедет в Кремль, потом на кирпичный завод. По пути будут стоять махальные — наши властители, старосты и командиры рот: при приближении экипажей они будут давать сигналы дальше, чтобы впереди успели убрать с дороги всё, что может оскорбить глаза приехавшего.

Взволнованные заключенные будут стараться увидеть Горького: ведь приехал Горький, буревестник свободы! Горький, столько лет боровшийся против горя и несправедливости! И вечером, когда Горький в сопровождении чекистов появится в театре, заключенные долго будут приветствовать его громкими аплодисментами. Он будет сидеть, не отвечая, потом шепнет что-то на ухо сидящему с ним рядом начальнику управления, встанет и, высокий, худой, сутулый, неловко и смущенно поклонится людям. Аплодисменты загремят еще сильнее, но Горький больше не встанет.

В антракте он вдруг улизнет от чекистов: выйдет в уборную, где находится и курилка. Закурив папиросу, он встанет у стены, близоруко-прищуренно смотря на заключенных старчески-бес помощными глазами. Растропные заключенные будут совать ему в карманы заранее заготовленные записки, в которых написана правда о Соловках — Горький, смущенно улыбаясь, положит руки в карманы, засунув бумажки глубже.

Ночь он проведет в колонии малолетних преступников, будущих Магерамов и Подборов. Заведующего колонией, старого

большевика Кожевникова, моего друга, который именно в это лето сойдет с ума, Горький попросит удалиться, чтобы остаться с малолетками наедине. Всю ночь он будет слушать воровские песни, рассказы малолеток о своей жизни, о Соловках, сентиментально плача и сокрушаясь вместе с ними. А на другой день он уедет на материк, в Москву, в мир, увозя с собой и показанное чекистами и услышанную правду. Многие заключенные будут жить, подбодряемые надеждой: Горький, буревестник, знает правду!

В конце лета в московских газетах появится статья Горького, в которой он засвидетельствует перед всем миром, что Соловки — это почти земной рай и что чекисты хорошо и умело исправляют преступников. Множество гневных проклятий родит эта статья и во многих душах наступит просветление... Нет, что-то всё же меняется на земле: если не на поверхности, то в глубине человеческих душ...

И сам себя я чувствую немного другим. Арест, одиночное заключение, приговор, постоянная напряженная мысль о побеге, которой я жил первое время в лагере, истории с Синицыным, Петровым, Сливинским, снова арест и изолятор, встреча с Ростовцевым, а потом лес, бездна людского горя и звериной жестокости, которым я был свидетелем — вероятно, не малая нагрузка для человека моих лет. Иногда я чувствую себя очень уставшим, а иногда — безнадежно постаревшим: будто мне не девятнадцать, а девяносто. Мне кажется, я стал спокойнее и не смогу больше отзываться на происходящее с той горячностью, с которой отзывался прежде. Но, может быть, это только необходимая передышка, для того, чтобы внутри, в душе, уложилось и усвоилось пережитое? Я еще не знаю, что со мной, только у меня теперь часто появляется ощущение, что всё словно потускнело и поскучнело вокруг и может быть вообще не стоит очень горячиться...

XII

Неожиданно меня делают начальством: в одном из учреждений проворовался заведующий, бывший австрийский коммунист, грубый, наглый, плохо обращавшийся с подчиненными человек. Его снимают, арестовывают, а меня приказом назначают на его место. За полтора года, чтобы отвлечься, я порядком поднаторел в работе, меня считают опытным и энергичным работником —

назначение это едва ли не возмездие за мое невольное старание. Я смущен: мой предшественник исполнял свою должность почти с чекистским блеском и мне кажется неудобным садиться на его место, еще хранящее тот же ореол. Но не выполнить приказ невозможно: лес еще свеж в моей памяти, Секирка тоже недалеко от Кремля. К тому же каждая новая работа таит в себе неизведанное, а чем чаще окунавшись в него, тем быстрее и незаметнее проходит время.

Юношескому самолюбию лестно: в моем подчинении более тридцати человек, скованных суповой соловецкой дисциплиной. Они работают в трех комнатах, в четвертой — мой кабинет. Небольшая, с низким потолком комната, в ней еще работает мой помощник и секретарша — старая знакомая, венка Мария. Она уже хорошо говорит по-русски, мы с ней делаемся приятелями: Мария рассказывает мне все сплетни, которыми живет женбарак.

У меня большой письменный стол, заваленный пыльными папками с бумагами; на столе телефон, большой чернильный прибор и лампа с красивым шёлковым абажуром, подаренным моему предшественнику его поклонницами. Иногда мелькает мысль: ведь глупо — Соловки и телефон, лес и секретарша, Секирка и настольная лампа? Десять лет заключения, а у меня кабинет и я как будто бы начальник? Но я отмахиваюсь от этих мыслей: о чем задумываться, если это всё равно не настоящее?

Главное, у меня удобное, покойное еще монастырское кресло: теперь я буду покидать эту комнату только для обеда и ночью, для сна. Всё остальное время я буду проводить в этом кресле, как бы отдохшая от трудов.

Подчиненные сначала отнесутся ко мне почтительно-настороженно, присматриваясь и изучая. Но я с первого же дня распушу возжи и не буду требовательным и строгим, как мой предшественник: к чему это, если наша работа здесь всё равно не имеет смысла, если она не что иное, как нелепая игра? Иногда страшная, иногда смешная, она не перестает быть только игрой, которую нельзя принимать всерьез. Начальство может не знать этого, но я-то сам хорошо знаю, что мне начинает уже надоедать участвовать в глупой игре, отказаться от которой, впрочем, нельзя...

Кресло — мое убежище и мой ковер-самолет: я или уношуясь в нем в другой, совсем не здешний мир, или скрываюсь от нелепой игры. Я дремлю в кресле в обеденный перерыв, а вечером, когда кончается работа и все уходят, я закрываю окно занавес-

кой, придвигаю ближе лампу, беру томик Толстого или Флобера и переселяюсь в иное пространство и время...

Но приходит час, и мое спокойствие летит к чертам. Я как будто просыпаюсь и с недоумением смотрю на стол, телефон, лампу. В меня закрадывается страх: как бы эти побрякушки не заслонили чего-то более важного, более необходимого. Как бы проклятая игра, от которой я отгораживаюсь всего лишь креслом, не полонила меня совсем. И ведь не штука, застыть, закинуть в покойном кресле!.. И меня опять охватывает беспокойство, я чувствую необходимость активности, движения, которые избавили бы меня и от осточертевшей игры, и от опасности отрещения от жизни.

Чего ищешь или чего страстно желаешь, то непременно появляется, хотя бы по видимости и случайно. Идя однажды в Кремле, я встречаю старого знакомого, художника Рогова. Мы приехали с ним в Соловки в одном этапе, и почему-то, как иногда бывает в жизни, очень подружились с первого разговора. Рогова недели через две отправили на Секирку: он пытался бежать, еще из пересыльного пункта на материке, но неудачно. Мысленно я давно уже похоронил Рогова, как вдруг встретил его в Кремле живого и невредимого.

Затащив его к себе, я с удовольствием смотрю на шишковатую голову Рогова, на живые, коричневые глаза. На мой вопрос о том, как он выдержал Секирку, Рогов скалит ровные белые зубы:

— Нас, брат, не скоро возьмешь, мы крепкие!

Я рассказываю ему о своем житье, спрашиваю:

— А сейчас ты где?

— На механическом заводе, счетоводом устроился. Ничего, терпеть можно.

— До конца срока терпеть будешь?

Рогов плутовато смеется. Мы разговариваем глазами, почти без слов: зачем слова, если нам всё отлично понятно и без них?

— Что же, решено?

— По рукам! — смеется Рогов.

— Только чур! — спешит он. — Нерушимый договор: только вдвоем. Я теперь ученьи: я никому не верю. И если меня опять заберут, я буду знать: выдал только ты. А тогда я тебя на дне морском найду, — смеется Рогов, как будто сказал что-то веселое.

— И еще: теперь будем делать только так, чтобы уж безусловно было, только наверняка. Безрассудно рисковать не годится.

ся. Ни один проект не годен, если он не гарантирует безусловного успеха. Я лучше еще пять лет просижу, но убегу тогда, когда буду уверен в успехе. От горячки я отказываюсь.

— У тебя есть что на примете?

— Я перебрал много способов — ни один не годится. На Секирке я много историй о побегах слышал — ни одна не подходит. Там, наверху, на маяке, я часто бывал: оттуда море — как на ладони, любую лодку видно. Долго я над одним проектом голову ломал — как будто выломал. Слушай...

Проект Рогова таков: надо сделать железные банки-кубышки, способные удержать человека на воде. И два проолифленных, не пропускающих воду костюма. Летом, ночью, мы уйдем на Муксальму, — дойти туда лесом не трудно, — наденем на себя костюмы, привяжем банки, и пустимся вплавь на Летний берег. Лодки на берегу останутся в целости, никто не подумает, что двое сумасшедших пустились с острова вплавь — погони за нами не будет. С далекого расстояния в море невозможно заметить две точки-головы — мы беспрепятственно переплыvем пролив.

— С Сахалина каторжники бежали на бревнах, через Татарский пролив. Там теплая вода, а тут летом всего 11-12 градусов, долго плыть — можно замерзнуть, окоченеть, но костюмы сохранят тепло. Намажем еще тело ворванью, тюленьим жиром — не замерзнем, — говорит Рогов. — А и замерзнем — в море пропадем, а не в этой мышевке. Это единственно верный способ, другого нет.

Проект кажется мне сначала фантастичным. Мы долго обсуждаем его и в конце концов я нахожу, что он довольно прост. Это подкупает: там, где много хитрят и мудрствуют, никогда не получается ничего путного. Я заражаюсь роговским предложением. Дня два мы сидим, высчитываем об'ем кубышек-банок, банок для еды, чертим их форму, вымеряем, взвешиваем. На главном складе, по знакомству, я достаю несколько литров олифы — якобы для покраски чемоданов; на вещевом складе две пары нового крепкого белья из грубой бязи, и вручаю всё. Рогову: он будет мастерить костюмы на механическом заводе. Там же, знакомому жестянщику, Рогов заказывает банки. Жестянщик сразу догадался, что банки нужны для контрабандной доставки водки с материка — Рогов пообещал ему бутылку из первой партии.

Снова начинается вторая, уже тайная жизнь. Теперь можно успокоиться, утихомириться: дремля в кресле или работая я всегда, каждую минуту помню: на механическом заводе Рогов неторопливо, методично и упорно готовит прыжок в будущее.

Снова есть надежда, снова расширяется горизонт. Не только глупая игра и покойное кресло мой удел — появилось что-то, обещающее жизнь...

XIII

• • • • • • • • • • • • • • •

XIV

По весеннему быстро бегут дни. И вот уже очистилось море, пробит во льду залива канал — победно гудит пароход, пускаясь в первый в этом году рейс. Веют теплые, ласкающие лицо ветерки. Я теперь часто гуляю на взморье. Голубое весной, море спокойно плещется в лучах непомерно-щедрого солнца. Я лукаво смотрю на неоглядную ширь: в спокойствии моря мне чудится обещание. В груди у меня поет надежда: скоро, скоро, — работа Рогова подходит к концу!..

Ко мне заходит Генрих Мартынович, самый вздорный человек из встреченных мной до сих пор на земле. Лысая голова, узкий лобик, острый птичий носик, серые глазки на выкате — природа вылепила его, как карикатуру. Но он высокого мнения о своей науржности и считает себя, по крайней мере в недалеком прошлом, неотразимым покорителем дамских сердец. В доказательство он показывает свою фотографию, на которой изображен в молодости: тот же остренький нос-ключик, бесмысленные глаза на сморщенном личике, высоко вздернутом твердым стоячим воротником.

Я знаю страсть Генриха Мартыновича: он хиромант. От скучки я протягиваю ему руку:

— Генрих Мартынович, погадайте.

Он вскидывает ручки-лапки кверху:

— Помилуйте, я не гадалка! — обижено восклицает Генрих Мартынович. — Это цыганки гадают, а хиромантия — наука! Я иногда предсказываю, но только основываясь на строго научных данных!

— Извините, дорогой Генрих Мартынович, я неправильно выразился. Давайте — по научным данным.

Генрих Мартынович не умеет долго обижаться. Он достает из кармана большую лупу.

— Пожалуйте вашу левую руку, сударь. — Я опять протягиваю руку, он склоняется с лупой над ней...

Генрих Мартынович поднимает голову:

— Вы счастливый человек, доложу вам! Вы будете очень долго жить, если... если... — заминается он.

— Если я переживу один трудный год?

— Откуда вы знаете? — удивляется Генрих Мартынович.

— Представьте, знаю. А нет ли у меня там еще скорой и дальней дороги?

— Есть. Есть, говорю вам, — растерянно отвечает Генрих Мартынович. — Я хотел порадовать вас, а вы, оказывается, уже знаете... — Генрих Мартынович опять обижен

— Нет, Генрих Мартынович, я ничего не знаю. Я пошутил.

Он недоверчиво смотрит.

— Да, у вас отмечено, что вам предстоит очень скоро дальнняя дорога. Вы уедете из Соловков!

— Спасибо на добром слове, Генрих Мартынович. Только как же я уеду, если мне еще восемь лет сидеть?

— Этого я не знаю. Но вы обязательно, обязательно уедете! И очень скоро! — уверяет человек с птичьим носиком.

Я смеюсь, а душа у меня поет и радуется. Да, я уеду, непременно уеду. Не уеду, а уплыву. Прав ты, гадатель: готовы у Рогова кубышки и костюмы и мы только ждем, когда потеплеет вода. Это не за горами: я скоро исчезну из Соловков, испарюсь, как дух, несмотря ни на что, несмотря и на то, что мне еще восемь лет сидеть!..

После хироманта приходит Рогов. Его всегда бодрое лицо сегодня нахмулено, глаза у него тусклы, он не поднимает их. У меня сжимается сердце.

— Что случилось, Рогов? — Я уже чувствую, что случилось что-то непоправимо скверное.

— Укради костюмы, — глухо говорит Рогов.

Опять меркнет свет, в комнате становится темно. Или это потемнело у меня в глазах?

— Как это могло случиться? — кричу я. — Кто мог украсть?

— Не знаю. Я держал их в кладовке, на чердаке. Туда зимой никто не ходил, там лежит только старый хлам. На чердак нет даже лестницы, я лазил в дыру, по стене. Я никогда не думал, что туда кто влезет. А сегодня смотрю, костюмов нет.

Мы молчим. Проходит минута, другая, третья.

— Сколько времени нужно, чтобы сделать новые?

— Я два месяца делал эти. Они лежали в олифе, потом сохли, потом я еще раз промазал их и снова сушил. Они не пропускали ни капли воды... А теперь мне даже работать негде. Я делал в кладовке, зимой, весной. Если туда будут часто ходить, там нельзя будет работать...

— Рогов, нужно сделать невозможное, нужно прыгнуть выше головы, из шкуры вылезти, но добиться! Неужели ты примирись?

Он сидит сгорбленный, опустив руки: несчастье раздавило его.

— Нет, — качает он отрицательно головой и продолжает, как в забытьи: — Не примиримся... Надо только сообразить, опять собраться с силами...

— Соберемся, Рогов, придумаем что-нибудь еще... Не нужно только складывать рук, нельзя опускать голову. К чёрту, Рогов: выше нос! Начинаем снова: я завтра же пойду доставать олифу, белье...

Я осекаюсь, вспомнив о своем положении. Оно в последнее время пошатнулось: начальство, очевидно, заметило, что мне надоела игра. Последние дни ко мне много придирились, требуя, чтобы мое учреждение работало больше и лучше. Для этого надо было бы наесть на своих сотрудников. Не дорожка местом, я противился и в конце-концов крупно поссорился с начальством. Не сегодня-завтра меня снимут с работы, а поэтому, как всегда бывает в таких случаях, двери складов, которым я тоже был нужен и которые принимали меня, как своего, завтра плотно закроются передо мной. Я не боюсь за свою участь: я уже старый соловчанин, с помощью знакомых я как-нибудь устроюсь на спокойную работу, но удастся ли мне теперь достать необходимые для нашего плана вещи? Дернула меня нелегкая не во время поссориться с начальством!

Я успокаиваю Рогова, стараюсь его расшевелить, пробудить снова к действию. Я уверяю его и себя, что еще ничего не потеряно, что мы еще поставим на своем. Но ночь проходит без сна: надежда, светлое видение во тьме, снова ускользнула от нас...

Утром я иду с обычным докладом в управление. В коридоре меня останавливает заместитель моего вольнонаемного начальника, тоже старый соловчанин, бывший адъютант одного из генералов гражданской войны. Он ведет меня к себе в кабинет.

— Вчера из Москвы получено распоряжение: меня назначают начальником отдела во вновь организующийся лагерь, на ма-

терике. Где, не знаю еще сам, но далеко отсюда, тысячи за две километров. Мне предложено подобрать несколько работников. Поедешь со мной? Учи, тебя на днях снимут с работы, — говорит адъютант.

О, гадатель! О, Генрих Мартынович! Беру свои шутки обратно: в самом деле, не все гадалки врут!.. Стены комнаты вдруг раздвинулись, я не слышу, что продолжает говорить адъютант: я вижу синеющие поля, леса и чувствую под ногами твердь. Мне не нужны теперь и кубышки и проолифленный костюм, чтобы достигнуть их: пароход надежнее доставит меня на твердую почву. А там — там ведь не будет останавливать море...

Грустно прощание с Роговым. Он и сочувствует, и грустит, и напутствует: он добрый малый, Рогов. Мне жаль расставаться с художником: с ним было пережито не мало остро волновавших несбытшейся надеждой минут. Мне не хотелось бы покидать Рогова, но бессмысленно упускать неожиданный случай...

Оказывается, также грустно расставаться и с моими друзьями-помощниками, со Стрешневым, с Лопатиным, с Марией, с десятками других людей, ставших одинаково близкими и дорогими. С ними ведь так много пережито, передумано, переговорено! И разве напрасно появилась наша близость? И разве не скреплена она крепчайшими узами? Я обхожу всех и со всеми прощаюсь, испытывая большое смущение; мне кажется, что я незаслуженно вытащил в лотерее счастливый номер: я уезжаю, а им еще томительно-долго жить на этом угрюмом острове.

Но и остров как будто потерял свою угрюмость. Я смотрю на стены и башни Кремля, казавшиеся мне раньше такими мрачными, на кривые березы, на камень у моря, за которым мы сидели когда-то с Синицыным и Петровым; обхожу ближайшие окна-озера, у которых ждал звона церквей Китехграда и чувствую, что они совсем не мертвые и больше не враждебны нам. Около них столько прожито и перечувствовано! Пусть немые, они были постоянными свидетелями и участниками нашего горя, они сроднились и сжились с нами. И так, как стояли они памятниками былого, так пусть стоят памятниками и нам. Я обхожу знакомые места, прощаюсь с ними с такой же грустью, как прощался с людьми и подолгу смотрю на каждый уголок, стараясь, чтобы он навсегда остался в сердце...

Спустя неделю небольшой группой мы стоим на палубе парохода, — в его трюме два года назад я приехал в Соловки. В смутном свете белой ночи остается позади остров, полускрывающийся стелящимися к воде клубами дыма из пароходной трубы.

На горизонте опускается в море багровый диск, совсем не похожий на солнце: на него можно смотреть, даже не жмурясь. Он медленно скатывается в воду, а через минуту показывается снова, почти на том же месте — освеженный, помолодевший.

Пароход держит путь на запад. Мы минуем чёрные каменные гряды, тут и там высывающиеся из воды. Впереди чистое море. Впереди новые дни, новые дороги, полные новых сомнений, тревог, маленьких удач и больших неудач, после которых также трудно, как и в прожитом, также кропотливо и медленно, крохотными крупицами, будет оседать в душе и выкристаллизовываться что-то единственное необходимое и верное . . .

1948.

Аглай Шишкова

Аглай Сергеевна Шишкова (род. в 1923 году) начала печатать свои стихи в различных эмигрантских периодических изданиях с 1948 года. Почти все они включены в сборник «Чужедаль», вышедший в 1953 году. Оттуда же взята и приводимая ниже «Грибная баллада».

ГРИБНАЯ БАЛЛАДА

1

На барометре переменно,
Будильник вытрецдал пять.
Надо встать непременно,
Трудно, но надо встать.

Времени проспанный лишек
По полю наверстав,
Обогнать баварских мальчишек
На моих на грибных местах.

Все сны они мне измаячили —
Тропки в хрусткую тиши!
Это — как на свиданье назначенное,
Так же вот спешишь.

— Гриб!
Он уж где-то под елкой,
Незаметно, как крот,
Наст пробуровив колкий,
Выглядывает и ждет ...

Ножик, корзинка ... трогаю!
Поговорим дорогою.

2

Бр-р, как свежо! За облаком
Низкое солнце не в счет.

По телеграфным проволокам
Щебет течет и щелк.

Это — на юг маршруты
Обсуживают стрижи.
Желтый, ветром поддутый,
Лист впереди бежит . . .

— Осень!
Скажу по совести:
Здешних ландшафтов фас,
Как бессюжетные повести,
Не увлекает вас . . .

Край чешуйчатых кровель!
Но осень в этом краю
Очень похожа в профиль
На северную, мою.

Ну, теперь мокрым лугом — и
Вот и опушка с буками!

3

Сколько же пади! Звону-то!
Росной дрожащей блесны,
И паутинкою тронуты
Колкие лапки сосны,

А над лесной над дорожкой
Сизая, хрупкая ясь
Первой солнечной крошкой
Там и здесь занялась.

Эти листвянные замети,
Шорохи, звоны, грусть,
В них встревоженной памятью,
Как в родное, смотрюсь.

Уж не родные ли дали
Жалобу милых губ

В эту вот прель вшептали,
В этот звенящий хруп ? ..

Лирику впрочем побоку —
Не прозевать бы тропку!

4

Ух, стало солнце размаривать!
Корзинка тянет — беда!
Умеют грибы разговаривать?
Я думаю — да.

Это вот, как ведь никнул
Шляпкою в хвойный шлак!
Наверное, он мне крикнул,
А то бы мимо прошла.

Или вот тот, смуглым саженцем
В мшистые врос зеленя, —
Он подмигнул мне, кажется:
— Вот, мол. он — я!

Плечи и грудь на выкате,
Нежностью красок — севр ...
Экий красавец выкатил!
Чей, скажите, шедевр?

Как бесконечна тайна,
Того, Кем все это изваяно!

5

Мухомор партизанит в ельнике,
Силу взял ...
Из-за тебя, бездельника,
Исцарапалась вся.

Самая, брат, пора пинку, —
Кайся, на помошь зови!
Впрочем, за то, что ты — в крапинку,
Больно красивый — живи!

Такие же вот, только карие,
Мужомористые на взгляд,
Хозяева давеча жарили —
Вкусные, говорят...

• • • • • • •

За кружевными сосенками
Что-то желтеет вразброс —
Пенек замшелый опенками,
Как бородой, оброс.

Что же, как говорится:
Нож есть, пожалуйте бриться!

6

Страшен ты, братец, очень,
«Чортов гриб»,
Рыж, как рысь.
Не выйдет, не обморошишь, —
Брысь !!!

• • • • • • •

Хвойная просека-улица,
Блажная, топкая хрустъ.
Кто это там маскируется?
Неужто — груздъ?

Ну, полезай в лукошко,
Соскучился в немцах, чай?
Дай-ка подрежу ножиком:
Может, ты — молочай?

Ножик — он не обманет.
Верно, груздъ: сух и крут.

У нас бы тебя — в сметане,
Здесь — не берут...

Разный, брат, вкус человеку дан.
Вишь ты: и класть тебя некуда!

7

Привал. Пригородок пригрело —
Чуть теплым струит парком.
В кучу грузди и белые
Сыпаны кувырком.

Теперь — уложить попригляднее,
Повыскоблив добела,
Завидней чтоб и наряднее
Корзина моя была...

• • • • • • • • •
Какая полянка! Розовый
Вереск и влажный мох,
Ветер в косах березовых
Вздувает переполох,

Солнцем вся запорошена,
Хрупкой веснушкой листа...
Какая полянка хорошая!
Словно бы — наши места.

У нас по лесным по выделам
Такие полянки видела...

8

И кажется: там, за лесом,
Истаяли ребра гор,
Под голубым навесом —
Бескрайний вылег простор.

И, режа луга дугою,
В обрывах, в кустах ивняка,
В лиловую даль уходит
Сверкающая река.

Ветер россыпью росной
Играет, травы креня,
В воздухе только — сосны
Да жаворонки звенят...

Было все это? Так ли?
— Срок пробежал велик —
Сосны смолкою плакали
(Не провожали ли?),

И на чешуйчатом цоколе
Белки пушистые цокали...

9

Лирическому бы ладу
Вовек не услышать «стоп».
Да скажут: хотела балладу,
А вышло — так, ни про что.

А может быть, все таки вышло?
— Про то, как — та и не та —
Знакомым приветом дышит
Чужая нам красота.

Про то, как с разлукой в паре,
Которую не избыть,
Чудесно в лесах Баварии
Смоленские брать грибы,

Распутывать хрусткие тропы,
По балкам — искать ключи,
Родные угадывать шепоты
И слушать, как сердце стучит,

Как брагой вскипает, бродит в нем
Горячее слово —
Р одина !



Михаил Коряков

Михаил Михайлович Коряков родился в 1911 году в деревне Подъядинской, Красноярского края. В течение десяти лет, с 1929 по 1939, работал разъездным корреспондентом во многих газетах. В 1939—1940 гг. — научный сотрудник яснополянского музея-усадьбы Льва Толстого. В годы второй мировой войны командовал саперной ротой 35-й саперной бригады на Северо-западном фронте, потом служил корреспондентом в газете Шестой Воздушной армии «Сокол родины». В 1943 году капитан Коряков был награжден орденом Красной Звезды. В апреле 1945 года попал в плен.

Весной 1946 г., при депатриации из Парижа, М. Коряков, с помощью друзей-русских эмигрантов уехал в Бразилию. С 1950 г. живет в США. Его книга «Почему я не возвращаюсь в Советскую Россию» вышла на семи языках. В Париже на французском языке вышла его вторая книга — «Москва слезам не верит». В 1952 г. Издательство им. Чехова выпустило книгу М. Корякова «Освобождение души», глава из которой приводится ниже.

В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

В январе 1939 года по заданию одной комсомольской газеты, называвшейся, кажется, «Молодой коммунар», поехал я в Ясную Поляну, ныне официально именуемую «Музей-усадьба Л. Н. Толстого». Из Козловой Засеки — три километра — пошел пешком. День был мягкий, мглистый. По сторонам дороги стояли, совсем свесив снежные ветви, деревья. Потом лес кончился и открылись холмистые поля, покрытые белым и мягким — точно пропитанным теплом и светом — снегом. Было необыкновенно тихо, только редкая птица, какая-то синичка одинокая, порхала меж деревьев, осыпая снег. На душе было тоже мглисто — смутно-весело и нежно, и как бы в музыкальном ящике, где-то внутри прозвенела волшебная, чарующая стихотворная строка:

«... Тишина, ты лучшее из всего, что я слышал».

По инерции, однако, вспомнилось, что советская критика клеймила эту пастернаковскую строку, как «apolитичную»,

«обывательскую». Журнал «Литературный критик» опубликовал статью под заглавием «Частная жизнь», автор которой доказывал, вернее — доносил, что Б. Пастарнак — это просто-напросто «дезертир с идеологического фронта».

Надо сказать, что в то время, в конце тридцатых годов, «партия Ленина-Сталина» разворачивала новое, с размахом доселе невиданным, наступление на идеологическом фронте. Осенью 1938 года, на протяжении целого месяца «Правда» печатала «Краткий курс истории ВКП(б)». Целые полосы были отданы книге, которая появилась, как комета, знаменующая перевороты в мире: прочие события утрачивали смысл, теряли всякое значение. По всей стране организовывались партийные курсы, семинары, теоретические конференции, — для изучения «Краткого курса истории ВКП(б)». Тем не менее, никакого переворота в умах сталинский труд не вызвал: народ инстинктивно — с глухим молчаливым упорством — держался за свои, далекие от марксизма-ленинизма, веками выработанные понятия о жизни. Вместо старых жупелов: вредительство, саботаж, в партийной пропаганде появились новые: аполитичность, обывательщина. На борьбу против аполитичности мобилизовывались все силы — точно на борьбу против чумы или холеры. Но идеологические барьеры установить куда труднее, нежели заставы от чумы. Эпидемия распространялась. В разгар широкого похода партии на души и сознания, миллионы советских людей — каждый по своему — дезертировали с идеологического фронта.

Был у меня приятель. Шесть лет мы сидели бок-о-бок на школьной парте. Потом наши стежки-дорожки пошли в разные стороны. Он окончил «Сибстрин», Сибирский строительный институт, стал инженером, меня же угораздило попасть на газетно-журнальную псарню. В тридцать восьмом году, когда я работал в «Курортной газете» в Сочи, мы встретились с ним на Черноморском побережье.

— Ерундовая твоя професия! — сказал он мне. — Не жизнь, а сплошной митинг. То ли дело — техника! На митингах и собраниях и мне, ясно-понятно, бывать приходится, не притти нельзя. Но на трибуну лезут активисты, а я... сяду в угол, да и посапываю. Ты же... хочешь-не хочешь, пиши статью, распинайся на газетной странице, стучи кулаком в грудь, клянись в верности «мудрому» и «любимому». Признайся, сколько раз на день приходится тебе писать: «Слава великому Сталину!» Подсчитать не пробовал?

— А что же я теперь поделаю? — ответил я в сердцах. — Не переучиваться же мне на инженера... поздно! Да и какой из меня инженер!

Два месяца спустя, осенью, в те самые дни, когда человечество выросло на голову, прочитав «Краткий курс истории ВКП(б)», вернулся я в Москву. Пошел в Сивцев Вражек, к Михаилу Васильевичу Нестерову, ныне покойному. В шутливо-грустном тоне передал ему разговор с другом детства. Михаил Васильевич кинул острый — и к 80-ти годам не померкший — взгляд из-под пенсне:

— А отчего бы вам, в самом деле, не бросить газету? Найдите технику в литературе. Музейщиком не хотите стать? Ах, господин хороший... будь я на вашем месте, поехал бы в какую-нибудь Ясную Поляну да и сидел... посапывал. Да-с, в Ясную-с! Когда-то ведь и я там был и мед там пил!.. — и пошел тут стремительный, обрывающийся — ударами кисти — рассказ о лете 1909 года, когда меня еще и на свете не было, а М. Н. Нестеров писал Толстого: в голубой блузке на берегу ясонополянского пруда, бородатым седым колдуном, не то выросшим, как мистый пень, из земли, не то вросшим в землю.

Никому не говоря про тайный — «дезертирский» — замысел, я выпросил в редакции командировку в Ясную Поляну, — отправился на разведку. Оказалось, что Ясная чудо как хороша! На взгорье — деревня, вся в синем дыму, а с краю, направо, белые каменные ворота, известные по фотографиям во всех концах земли. Тишина, тишина... Огромные, отягощенные снегом ели стояли стеной вдоль «пришпекта», описанного в «Войне и мире». Дорога шла в горку, в конце ее виднелся дом, пущистый от инея. Нет большего счастья, — подумалось, — как отрешиться от всего, чем жил до сих пор: от тезисов, директив, установок, от систем и концепций, от этого трижды проклятого марксизма-ленинизма, который служит партии инструментом для опустошения душ, для окончательного — духовного — порабощения человека. Позабыть про марксистские законы, будто бы научно объясняющие таинственный мировой ход вещей и, позабыв, отрешившись, вслушаться в то, что есть единственно мудрое на свете — в тишину полей и лесов, в то, что неустанно и тайно свершается в недрах русской земли и в глубинах родного народа. Тишина, тишина, ты лучшее из всего, что я слышал!..

Покойная тишина, сковавшая леса и поляны, отстаивалась и в большом доме Толстых. Топились печи. В крохотной узкой комнате, отгороженной от передней тесовой стенкой, пожилая

женщина мешала клюкой догорающие головешки.. Красным светом озарялось ее широкоскулое — простое и усталое — лицо. Она поднялась, отряхнула подол от соринок и пепла, и негромко, с какой-то — мне непривычной — учтивостью спросила:

— Желаете осмотреть бытовой музей или сперва — литературный? Бытовой, так за мной пожалуйте. А литературный, я курсовода покличу.

«Какая приятная», — подумал я. — Не только встреча с ясными полянами, но и встречи с людьми — тоже простыми и ясными — здесь вносили успокоение в душевную мою сумятицу.

— Да, конечно, и бытовой, и литературный, — ответил я. — Только я, видите ли, корреспондент, от газеты. Мне хотелось бы повидать, кто тут у вас по научной части?

— Тогда, значит, к ученому секретарю... Леониду Федоровичу Нелюбову. Они как раз из Тулы вернувшись. Вот я платок накину, да и провожу вас.

Кабинет ученого секретаря находился в маленьком деревянном флигеле, занесенном до окошек снегом, рядом с «бытовым музеем».

— Тут у нас кухня была, — пояснила женщина, — потолок-то низкий, о притолку голову не ушибите.

Ученый секретарь сидел за письменным столом и, самоотверженно борясь с зевотой, перебирал бумаги. Впрочем, только я переступил порог, зевоту как ветром сдуло. По-военному подозрительно, он пощупал меня коротким взглядом. В лице его пропало железо. Отрекомендовавшись, я предъявил документы: командировочное предписание — на поездку в Ясную Поляну «по специальному заданию редакции», далее — корреспондентский билет, подтверждавший, что я действительно принадлежу к цеху журналистов, наконец, паспорт, удостоверявший мою личность, как таковую. Нелюбов внимательно, строка за строкой, иногда даже водя карандашом, прочитал документы. В особенности задержался на графе: «где выдан паспорт», и увидев, что паспорт — московский, то-есть как бы привилегированный, подобрел и обмяк в лице. Поднялся, с шумом отодвинув кресло, и подал мне руку:

— Материала для газеты вы найдете у нас в большом количестве. Как по меморативно-бытовой и литературной, так и по хозяйственной линии. Мы пройдем сейчас с вами к директору музея. Он предоставит вам полные сведения о выполнении плана работы по музею-усадьбе.

Нелюбов никак не мог заподозрить во мне «дезертира». Между тем, он вызвал у меня подозрение: не таким я представлял «ученого секретаря». Недоумение мне тотчас рассеялось: он прошел в угол и из-за книжного шкафа с гвоздя снял свою шубу с пристегнутым изнутри мехом и пристегнутым же барашковым воротником. То был остаток энкаведистской формы, которую он донашивал.

— О, вы человек военный! — воскликнул я.

— Имею звание — лейтенант государственной безопасности.

— Давно из органов?

— Не так давно. Отставлен на два года по болезни. У меня туберкулез. Врачи прописали жить в сельской местности.

Никакой научной работы в Ясной Поляне, разумеется, не велось. Правда, Москва — Толстовский музей и Наркомпрос — давно настаивала на переделке экспозиции Литературного музея. Но и это дело стояло на мертвый точке. Нелюбов жаловался на нехватку людей. Втайне у меня дрогнуло сердце, когда он сказал, что «штаты не заполнены». Недоставало двух экскурсоводов, старшего научного сотрудника.

— Как хорошо у вас здесь! — показал я широким жестом на синие снега, заиндевевшие деревья, крыши, покрытые белыми шапками...

— В чем дело... оставайтесь! — прищурился Нелюбов. — Вы сколько в месяц зарабатываете, если не секрет?

— Две тысячи — две с половиной... до трех.

— Наша смета скромнее: экскурсоводу положено 250 рублей, а старшему научному сотруднику — 300. Пойдете?

Голос его звучал насмешливо.

— А знаете... пошел бы! — И чувствуя, что моему собеседнику понятны лишь реальные соображения, я добавил: — Не из идеализма, не из-за этих снегов, нет! У меня свой расчет: я литератор, а тут все возможности, чтобы писать. Квартира, библиотека... Пожалуй, я смог бы выгонять те же две с половиной тысячи.

— Более чем уверен — сможете! — поддержал Нелюбов.

— Но ведь не во мне дело, — начал я упрямиться. — Не могу же я самовольно оставить работу в редакции. Кто меня отпустит?

— А если написать официальное ходатайство... пустят? От имени дирекции Ясной Поляны — этого, пожалуй, маловато будет. А мы достанем ходатайство от Наркомпроса.

... Две недели спустя я был зачислен — в качестве старшего научного сотрудника — в штат музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

Директор музея Алексей Иванович Корзников имел лицо, похожее на коровье вымя. Нежно-розовое, в жирных складках, поросшее золотистым пушком... Хотя и невоенный, он носил брюки-галифе и суконную гимнастерку, перетянутую по брюху широким кожаным поясом. До войны, по неписанному уставу, так одевались райкомщики — ответственные работники районного аппарата. А. И. Корзников был председателем рыболовецкой промысловой кооперации в Архангельске. Но, как сказал поэт, «Цека играет человеком»: по какой-то партийной разверстке или мобилизации он прибыл в Тулу и очутился директором музея-усадьбы Льва Толстого.

Впрочем, он чувствовал себя вполне на своем месте. Музея, как научного учреждения, не существовало вовсе: был совхоз. Усадьбе принадлежали бывшие толстовские земли, леса — знаменитый Заказ, березовая Абрамцевская посадка, семь гектаров садов, наконец, парники, огороды. Все это составляло подсобное приусадебное хозяйство. «Подсобным» оно называлось по форме: на деле же оно и было основным, поглощая без остатка труд не только музеиного персонала, но и всей, прилегавшей к усадьбе, деревни.

Деревня Ясная Поляна — на дне нищеты. Как-то раз, перед вечером, отправился я на деревню, к старику Ивану Васильевичу Егорову, порасспросить его про «живого Толстого». Пустой двор, занесенный снегом. Не видать ни саней, ни упряжи: иметь коня колхознику не полагалось. Дверь из хлевушки открыта, вокруг нее наструг снега — не запирается. Хлевушка пуста, нет в ней надобности. В тридцатом году свели коров на колхозный загон, а когда вышло разрешение иметь личную корову, купить ее было негде и не на что. Опускались сумерки. Молодуха собирала на стол: торопились поужинать засветло. Вечеря была нехитрая: поставила деревянную, с обломившимся краем, чашку, в которой плескалась водица с капустой, разложила кругом шесть или восемь ложек. Потом полезла на божницу и бережно достала буханку хлеба — уже початую, похожую на кирпич, не домашнего, а фабричного производства. Прежде чем отрезать ломоть, смеряла ее — всю — лучинкой.

— Настька, кто хлеб трогал? — обернулась молодуха к печке, где в темном углу толкались, переругивались ребятишки.

— Мамынька, никто-никтошечки не трогал! — побожилась девочка, свесив голову с печки; остальные братишки-сестренки, как по команде, стихли и затаили дыхание. — Да ты померяй-ка лучше лучинкой-то...

Молодуха опять взялась за лучинку и обмеряла буханку вдоль поверху и по-низу. Не сразу я догадался, что это за лучинка. Дело же было простое. Иван Васильевич, как человек, лично знавший Толстого и интересный экскурсантом на погляд, работает — по особой привилегии — дворником при «бытовом музее», колет дрова, разметает дорожки. В музее дают «пайку» хлеба. Взрослые дети его работают в колхозе и не получают никакого пайка. На трудодень пришлось по 144 грамма зерновых, т. е. не только ржи, но и овса, ячменя, проса. Выработать в год удается до 400 трудодней, не больше. Таким образом, колхозник, проработавши — без отдыха и срока — целый год в колхозе, получал 57 килограммов 600 граммов зерновых. Двухкилограммовая буханка, которую Ивану Васильевичу выдают на четыре дня, делится на всю семью. Голодные ребятишки, оставаясь дома одни, обгрызают буханку. Тогда Иван Васильевич придумал: мерять буханку лучинкой, а лучинку — прятать. Если хлеба убавится — бить старшую, Настьку, смертным боем. Для того, чтобы помнила и следила за маленьками. Но ребятишки — себе на уме: они научились подсматривать, куда прячут лучинку. Отрежут хлебушка, что ни на есть самый тонюсенький ломтик, и на столько же обрежут и лучинку. Не придерешься. Молодуха повертела лучинку и так и сяк, и, вздохнув, принялась делить хлеб на порции.

— Вот ужо я не буду больше лучинку прятать, буду с собой таскать, — пригрозила она, на что Настька скороговоркой ответила:

— Ну, мамынька, никто же ничегошечки не трогал!

Колхоз не кормит. Поставки государству, расходы на содержание сельской администрации, — такое бремя, какого не выдержит любая артель. Колхозники Ясной Поляны всеми правдами и неправдами добиваются путевки на работу в садах, полях, огородах, скотных дворах музея-усадьбы. Колхоз от этого еще больше захирел, но хозяйство А. И. Корзникова — расцвело. Ясно-польянские мужики никогда, разумеется, не видали такой безжалостной барщины. Они работают от зари до зари, временами и ночью — на молотьбе, переборже картошки, сортировке яблок. А

получают что? 60-80 рублей на месяц (кило масла на тульском базаре летом 1939 года стоило 120-150 рублей). Кусок черного хлеба — паек — вот цепь, которая приковывает мужика к музеиному хозяйству.

Хозяйство Корзникова, однако, тоже не имеет своего хлеба. Оно — на правах совхоза. Весь урожай, без остатка, подлежит сдаче государству. Мужики, работающие на подсобном хозяйстве, считаются, подобно персоналу музея, государственными служащими. В прямом и буквальном смысле слова, это — государственные крестьяне. Советское государство — крепостник. Забота хозяина о своих рабах выражается в том, что «государственный мужик», в отличие от колхозного, получает фунт хлеба на день.

Хлеб в Ясную Поляну привозят из... Тулы. Иногда с Косой Горы, где имеется пекарня при металлургическом заводе. Бывает обычно так. Кончился день. В сумерках возле «Дома Волконского», перед которой музея, собирается полутородневная, в серых лохмотьях, толпа. Ждут хлеба. Возчик опаздывает на час и два: то кони плохо идут, то задержали в пекарне. Наконец, на плотине между прудов появляются сани, над которыми устроена — на обручах — кибитка. Она слегка дымится. По толпе прокатывается животный рев:

— Хле-ебушко! Те-еплый, ядрена вошь...
— Эй, табельщик! Пашка... Где ты? Давай, выходи, милай...
— Везут! Везут!

На крылечко выходит Пашка — табельщик. В руках у него список, кто сегодня работал в музейном хозяйстве. Бригадиры ему уже сообщили, кто выполнил и кто не выполнил норму выработки. Последним уменьшается соответственно и хлебная выдача: не 500 граммов, а 400, даже 300. Но «государственный мужик» рад и этому: колхозный-то вовсе ничего не получает. Кусок теплого хлеба бережно прячут за пазуху и несут домой, в деревню.

«Научники» получают хлеб первыми. Если хотят, даже вперед на два или четыре дня. Для них, по особому списку, пекарня отпускает определенное количество белого, так называемого «семидесятипроцентного» хлеба. Категория «научников» эластична. Тут не только ученый секретарь и персонал, непосредственно ему подчиненный, но и администрация: счетоводы, табельщики, бригадиры, профорг, комсорг, наконец, «комендант» музея. Верхушка эта пользуется привилегиями: кладовщик выдает овощи, доярка — молоко. Осенью 1939 года «научники» получили

по центнеру — шесть пудов! — антоновских яблок. Цена баснословная: килограмм — 50 копеек. Милость эта была оказана только «научникам» — пять-шесть человек, без администрации. В приказе директора А. И. Корзникова указывалось: «... в целях поощрения ударной работы над экспозицией Литературного музея».

Кроме того, «научники», пользуясь тем, что дирекция Толстовских музеев находится в Москве, получали командировки в столицу. Поддерживая дружеские отношения с Корзниковым и Нелюбовым, можно было почти каждый месяц бывать в Москве. Из Москвы привозили масло, макароны и вермишель, мешечки с крупами. Но и тут возникали трудности. На вокзале в Туле, перед билетной кассой, стоял офицер НКВД с двумя-тремя милиционерами. Он проверял права на проезд в Москву: командировочные предписания, отпускные билеты, паспорта. Яснополянскую командировку энкаведист иногда находил «недостаточной», «неудовлетворительной» или чаще всего — «неправильно оформленной». Все зависело от его настроения. «Пусть из Москвы Толстовский музей пришлет вам персональный вызов, — говорил он. — А так я не вижу, что ваша поездка в Москву действительно необходима». И он с улыбкой отводил неудачника-командировочника от билетной кассы.

Мужики Ясной Поляны ненавидят музейную администрацию. «Верхушка» в свою очередь недолюбливает «научников» за их уже сверх-привилегированное положение. Как бы ни был скромен мой стол, как бы ни были скучны мои запасы, у меня кусок останавливался в горле, когда я вспоминал, что по соседству, в деревне, хлеб меряют лучинкой, народ пухнет, ребятишки мрут от голода.



Из Москвы пришла шелестящая — на нескольких листах рисовой бумаги — директива. Она имела штамп НКП, народного комиссариата просвещения РСФСР, и называлась так: «О развертывании межмузейного социалистического соревнования». Директива сообщала, что ход соревнования неудовлетворителен: «произведенная проверка показала, что сообязательства не выполняются, а некоторые музеи не имеют даже соцдоговоров». В особой бумажке, приколотой к директиве, предписывалось: музею-усадьбе Л. Н. Толстого вступить в соцсоревнование с музеем-усадьбой И. С. Тургенева.

Нелюбов два дня не выходил из кабинета и не разговаривал: все шуршал директивой, подчеркивал что-то красным, синим, зеленым карандашами, намечал какие-то тезисы: а, б, в... На третий день он скомкал свои «а-б-в» и бросил в корзину.

— Какие же мы примем обязательства? — сказал он. — Давай, Коряков, созывай народ. Посмотрим, у кого какие будут предложения.

Во флигелец, бывшую кухню, где помещалась научная часть, ввалился вдруг — облаком пара и снега — нежданный гость:

— Ермаков, директор Тургеневского музея.

И он не знал, в чем должно выражаться соревнование между двумя усадьбами. Прискакал из Орла — посоветоваться. Пока отогревался, рассказывал о том, что его больше всего волновало: о похищенной рукописи Тургенева.

Ермакову было не до смеха, но мы покатывались от хохота. В самом деле, история была уморительная. В дело был замешан В. Д. Бонч-Бруевич, бывший секретарь Ленина и управляющий делами Совнаркома, а перед войной — директор Государственно-го Литературного музея. Музей был его детищем. Надо отдать справедливость, в короткий срок он проделал большую работу. В течение немногих лет он издал свыше 40 томов «Литературного Наследства». Накопил много материалов, относящихся к истории русской литературы и русской общественной мысли вообще. Только . . . делалось это какими-то откровенно-бандитскими методами. По всей стране шныряли «агенты Бонча». Достаточно было им пронюхать, что у какой-то старушки хранится «прабабушкин альбом», как обладательница должна была проститься с вещью: приходили, просили «поглядеть» и забирали, как предмет «государственной необходимости». Несчастный Ермаков стал жертвой самого, как он выразился, «обер-бандита».

— Нежданно-негаданно, приежает ко мне в Орел Бонч, — повествовал Ермаков. — Встретил его, как дорогого гостя: «Владимир Дмитрич, такая честь!» Велел обед готовить. Вот сидим, разговариваем. «Ну, чем вы похвастаетесь? — спрашивает Бонч. — Показывайте, какие у вас богатства. Тургеневских рукописей, наверное, целые сундуки?» — Какие там сундуки! — отвечаю. — Всего-навсего одна рукопись, берегу, как святыню. — «А ну, покажите . . .» Достал я ему рукопись. Тут случилось мне выйти: как на грех животом страдал. Возвращаюсь, в комнате ни души. — «Владимир Дмитрич! Владимир Дмитрич!» И — след простыл. Ни его, ни рукописи. Дней через пять получаю письмо. «Извините, говорит, пока вы отсутствовали, за мной машина подъе-

хала, ожидать не было никакой возможности». О рукописи — молчок. Пишу ему: а как же рукопись? «Не беспокойтесь, — отвечает, — вышлю».

Ермаков ждал полтора года. Ездил в Москву — без результата. Бонч-Бруевич предложил взамен копию, напечатанную на машинке. Орловский директор поднял скандал. Московский его успокаивал: «Не хотите на машинке, велю сделать фото-копию... разве вам не все равно?» Ермаков подал в суд. Недавно процесс состоялся. Бонч-Бруевич превратил Ермакова, истца, в обвиняемого:

— Послушайте, гражданин Ермаков. Русская литература мне будет благодарна за то, что я спас рукопись Тургенева. Ведь вы же с ней хотели итти в уборную!..

Как в комедии: судья хватается за голову, хохот в публике.

— Как вам не стыдно, Владимир Дмитриевич! — возопил Ермаков. — Я только дал вам подержать рукопись, пока я схожу в уборную...

Как ни вопи, уж коль высмеян, потерял позиции. Несмотря на то, что на суде присутствовали крупные литературные эксперты, которые приняли сторону Ермакова, судья не пришел ни к какому решению. Быть может потому, что не решился пойти против такой персоны, как бывший секретарь Ленина. Процесс был отложен. Рукопись оставалась по-прежнему у Бонча...

Наш хохот сперва разобидел орловца. Но потом он улыбнулся, вздохнув: «Вот бандит... это уж такой бандит!» Однако, его рассказ не на шутку взволновал моего приятеля, Сергея Ивановича Щеголева, с которым мы коротко сошлись, как только я поселился в Ясной Поляне.

Когда-то покойный А. В. Луначарский, имея в виду крайне низкие оклады жалования, сказал, что «в наших музеях работают либо энтузиасты, либо дураки». Щеголев был энтузиаст. Низенького роста, сухонький и остролицый старичек, — седая бородка клинышком, — он уже более 10 лет работал в Ясной Поляне. Толстого — боготворил. Наизусть знал всего «Хаджи-Мурата». На память цитировал целые страницы не только из художественных произведений, но даже из переписки Толстого. Помню, будучи в гостиной, я услышал, как он давал пояснения экскурсантам, находившимся в соседней комнате — кабинете писателя. Балконная дверь — из кабинета в сад — распахнулась, и он прочитал на память письмо Толстого к его тетушке, фрейлине Александре Андреевне Толстой, где описывается этот сад весенней ночью, полный соловьев... В чтение он вло-

жил столько душевной силы, что и экскурсанты, и я — нечаянный свидетель сцены — были потрясены. Да и у самого Сергея Ивановича блеснули слезы на глазах... В «бытовом музее» Щеголев мог рассказать историю каждой вещи, в Заказе — целую повесть о каждом дубе... Он жил как-бы вне нашего времени: врос в чужой и давно отошедший быт, весь переместился в атмосферу прошлого Ясной Поляны.

— Вот так и наш музей растащат! — горестно вздохнул он, услышав историю похищенной в Орле рукописи. — Седло-то Льва Николаевича, где оно? Три года, как увезли в Москву, по сию пору не вернули. А портрет? Хотя бы товарищ Корзников похлопотал насчет портрета...

Действительно, из большой залы взяли и увезли в Москву, по предписанию Наркомпроса, портрет Толстого работы Крамского. Будто на полтора-два месяца, на выставку Крамского в Третьяковской галлерее. Но выставку потом отправили в провинцию: в Сибирь, Среднюю Азию... Дело тянулось больше года. На месте портрета работы Крамского висела неудачная копия, сделанная в свое время Татьяной Львовной.

Корзникову меньше всего было дела до «мемории». На нем лежали другие заботы: совхоз. Хлебосдача, яблоко-поставки, мясозаготовки, задания по яйце-сбору, пуху и перу, даже щетине... — У директора музея голова шла кругом. Из щекинского райкома партии наезжали агитаторы-пропагандисты: налаживать стахановское движение на полях, в садах и коровниках... Корзников предложил орловскому директору соревноваться под лозунгом «Добьемся стахановского урожая!». Оказалось, что Тургеневский музей не имел столь мощной усадьбы.

Вместе со Щеголевым мы наметили пункты касательно консервации ценностей музея. Но уперлись в деньги: в смете музея наиболее тощими были те графы, которые относились к чисто музейной работе. Всю смету съедала одна охотничья сумка Толстого, которую надо было срочно спасать от каких-то заведшихся в ней — невидимых простым глазом — вредителей. Наметили также планы, пусть скромной, но нужной, научно-литературной работы: написать историю Ясной Поляны в пореволюционную эпоху, собрать то, что в народе рассказывалось про Толстого. Но и осуществлению этих планов противостояли трудности. Ибо в музее работали не одни энтузиасты, но также и дураки.

В январе 1939 года, как раз в тот момент, когда я поступал в Ясную Поляну, происходила смена руководства в Москве: в

Главной дирекции Толстовских музеев. На место проф. М. Цявловского, по партийному назначению, — вроде архангельского рыболова Корзникова, — прибыл человек, который никогда и не помышлял, что ему придется работать в литературо- или музееведении. Новый директор был огромен ростом, имел кудлатую черную голову, басисто отдавал команды. На пиджаке он носил орден Красного знамени, полученный на гражданской войне. То был редкостный, ныне почти исчезнувший тип «героя октябряских сражений».

— Ну, чем вы тут занимаетесь? — спросил он, приехав первый раз в Ясную.

Нелюбов извлек планы:

— Вот... между прочим... история Ясной Поляны в пореволюционную эпоху.

— Отставить! — скомандовал директор — краснознаменец.

— Кого же вы включите, интересуюсь я знать, в свою историю? Уже не Александру ли Львовну Толстую?

Нелюбов призадумался:

— Действительно... Не доперли мы с тобой, Коряков! Писать историю — Александру Львовну не обойти. Потому что после революции, первые десять лет, ведь это она была здесь директором.

— Не укажи вам, вот бы и сделали политическую ошибку, — прогудел директор. — А потом кому расхлебывать? Мне!

Об Александре Львовне Толстой в Ясной Поляне запрещены какие-либо упоминания. В народе о ней сохранилась хорошая память. Марья Петровна, первая моя яснополянская встреча, Иван Васильевич и другие крестьяне и крестьянки, работающие при музее, рассказывали мне о ее близости к народу, неистощимой энергии, мужестве. Белокаменная школа, больница, которая могла бы украсить любой город, — выстроены стараниями Александры Львовны. Наиболее значительным событием пореволюционной эпохи для всех жителей Ясной Поляны — и в мои дни — оставалось празднование 100-летнего юбилея в 1928 году; в связи с ним неизменно вспоминали Александру Львовну. Однако, в разговорах с посторонними ее упоминать запрещено. Нет ни одной экскурсии, которая бы не задала вопроса:

— А где проживают дети и прочие родственники Толстого?

Инструкция предписывает экскурсоводу: подробно рассказать о Сергее Львовиче, который проживает в Москве, принимает участие в редакции юбилейного собрания сочинений Толстого и представлен к ордену Трудового Красного Знамени (по-

зднее — награжден; не так давно С. Л. скончался); далее — коротко упомянуть о том, что Михаил Львович, Лев Львович и Татьяна Львовна находятся за границей, подчеркивая, что первые двое выехали до революции 1917 года, а третья, хотя и годом позже, но только потому, что в Риме, опять-таки до революции, вышла замуж ее дочь, «Татьяна Татьяновна», всем известная по очаровательным фотографиям.

«Насчет Александры Львовны, товарищи, нам ничего неизвестно», — должен был отвечать экскурсовод, если бы посетители настаивали на этом пункте. Только раз... Летом 1939 года приехал в Ясную Поляну нарком боеприпасов Ванников. При нем — большая свита. Вызывали меня — провести их по музею. Директор-краснознаменец присутствовал тут- же. Когда Ванников задал вопрос о детях Толстого, я по трафарету ответил:

— Насчет Александры Львовны...

— Чего там, ничего неизвестно! — перебил меня директор.

— Перед вами не кто-нибудь — народный комиссар, можете сказать полную правду. Все известно.

И, выступая вперед, он пояснил:

— Александра Львовна — фашистка, товарищи; в двадцать девятом году поехала в Японию — читать лекции о Толстом. Не случайно — в Японию! Наше правительство ей доверилось: как-никак дочь Толстого, который есть, как указывает товарищ Ленин, зеркало нашей революции. А где она? Не вернулась из-за границы. Книгу против колхозов выпустила. Конечно, я этой книги не читал, но по слухам называется — «Не могу молчать». Видите-ли, отцу подражать вздумала. Вот оно какое — оказалось — зеркало!

Жизнь моя в Ясной Поляне, казавшаяся такой привлекательной в самом начале, была вконец испорчена этим — поистине музейным! — дураком, который только и знал твердить о «зеркале революции». В центре нашей работы стояла экспозиция Литературного музея. И вот, директор-краснознаменец, прежде всего потребовал, чтобы первый зал из пяти был целиком отведен теме: «Ленин о Толстом». В любой час и в любом месте у директора вертелась в руках или торчала из кармана брошюрка, где были собраны статьи Ленина о Толстом. Однажды он привез из Москвы кипу таких брошюрок и, вызывая в кабинет всех служащих музея — не только «научников», но и счетоводов, табельщиков, уборщиц, истопников — дарил каждому брошюрку с личной надписью.

— Для того, чтобы оправдать звание сотрудника Толстовского музея, — наставлял он, — вы должны взять за правило — читать эту книгу каждый день. Вот как я: вынес самому себе постановление — каждое утро, как минимум, два часа читать этот бессмертный труд товарища Ленина.

А в «бессмертном труде» было 36 страничек...

Это — несчастье для советских литературоведов, что в сочинениях Ленина попадаются статьи, посвященные Толстому или, скажем, Герцену. Это не статьи, а цепи. Тяжелые цепи, которые сковывают исследователей. Проблема Толстого, — считает официальная точка зрения, — решена 36-страничной брошюркой Ленина. Исследователям ничего не остается, как подбирать — из 100 томов Толстого! — цитаты, которые бы иллюстрировали и подкрепляли ленинские 36 страничек. Именно по такому принципу нам и было предписано построить экспозицию Литературного музея. В первой зале — «Ленин о Толстом» — во-звели бюст Ленина с полуторааршинной глиняной головой, выставили брошюры, фото-копии ленинских рукописей. Но этим дело не кончилось: каждая из следующих зал имела свою «идею», выраженную опять-таки цитатой из Ленина, помещенной на видном месте на стене. Жизнь и творчество Толстого показывались не сами по себе, как таковые, но подгонялись под ленинские цитаты.

Была поставлена и другая задача: отобразить «Краткий курс истории ВКП(б)» в экспозиции Литературного музея. Как? Известно — цитатами. Вот 60-е годы, Толстой пишет «Войну и мир», и тут же — цитатка о 60-х гг. из сталинского учебника. Далее 70 гг., 80-е, 90-е, 1905 год...

В Туле созывалось областное «совещание интеллигенции» по вопросу изучения «Краткого курса истории ВКП(б)». Делегатом от Ясной Поляны послали меня. На совещании выступали учители, врачи, инженеры. Один пожилой врач — пузатенький, чи-стенъкий, благополучный — сверкал лысиной с трибуны:

— «Краткий курс истории ВКП(б)» — это светоч нашей жизни. Великий Сталин дал нам его не для того, чтобы мы прочитали его и положили на полку. Нет, товарищи, мы должны им руководствоваться во всем, во всей нашей повседневной жизни. Скажу про себя: «Краткий курс истории ВКП(б)» помогает мне даже в моей повседневной лечебной практике.

В зале — aplодисменты. Хлопал, конечно, и я в ладоши. Потом меня пригласили выступить: о «Кратком курсе», об экспозиции, о «зеркале революции» и еще о чем-то... Тоска, от

которой — казалось мне — я избавлюсь в Ясной Поляне, опять пришла ко мне.

Увы, «техники» в литературе не было. Вероятно, не было ее и в самой технике. Дезертировать с идеологического фронта оказалось невозможным. Некуда. Даже если и на Колыму, то и там — в царстве смерти — тоже, разумеется, развертывали «партийно-массовую», «политико-просветительную» работу. Единственным убежищем была... ложь!

Помните — в «Воскресеньи», как ни старались люди истребить траву, покрывая землю каменными одеждами, вешние всходы прорывались наружу — к солнцу; бывает, что и слабенькая зеленая травка разворачивает асфальт... Точно так же и вся жизнь в советской России. Как ни подмораживают ее, какие только каменные плиты ни наваливают, жизнь берет свое и нет-нет прорвутся ростки наружу. Как ни укрошают толстовскую стихию, как ни вгоняют ее в русло, огражденное тезисами, директивами, установками, она перехлестывает берега. Толстой живет в народе и у него с народом взаимоотношения своим — не по Ленину...

В 1939 году московские фольклористы, ассистенты академика Ю. М. Соколова, — пишущий эти строки также имел честь быть его учеником, — обнаружили интереснейший факт: в народе бытуют «сказы о Толстом». Их записывали не только в тульско-орловско-рязанской округе, но и в более отдаленных концах страны. Народные легенды утверждают, что Толстой и не умер вовсе: ходит по Русской Земле, смотрит да примечает что-то, а что примечает — до поры до времени не говорит. Всяк, кто слушает, сам догадывается: Неправду, воцарившуюся на Руси...

Когда мы намечали в Ясной Поляне программу научной работы, я намеренно вставил пункт насчет записи всего того, что в народе рассказывается про Толстого. Конечно, я понимал, какие подводные камни таятся на этом пути: времена «Не могу молчать» были временами либеральными, теперь такие слова нельзя было бросить в лицо Неправде. Но, хотя бы частично, работу выполнить было можно, и она была выполнена. Моя приятельница, фольклористка Сусанна Жислина, первая обнаружившая существование в народе «сказов о Толстом», приехала в Ясную Поляну. При помощи С. И. Щеголева, хорошо знавшего местное население, она провела раскопки в народной тол-

ще, в глубинных пластах. Не все можно было опубликовать, увы! Тем не менее, получилась большая великолепная книга. Юрий Матвеевич Соколов написал предисловие: то была его последняя работа. Весной 1941 года он умер в Киеве, на заседании Академии Наук, — в его портфеле лежали корректуры «Сказов о Толстом». Книга была издана в Туле. Она появилась за несколько дней до войны.

В течение почти двух лет, что я провел в Ясной Поляне, я, разумеется, изучал Толстого. Интересно, однако, было вот что: если Толстой учил меня пониманию народа, нашей русской национальной стихии, то народ, в свою очередь, учил меня пониманию Толстого. Когда я говорю «народ», то подразумеваю не одних только яснополянских мужиков, а также те тысячи экскурсантов, которые приезжали в Ясную со всех концов России. То были все трудовые люди: они жертвовали свой годовой отпуск на поездку «к Толстому». Проблема «Толстой и народ», «Толстой и Россия» находила перед моими глазами конкретное разрешение. И — не ленинское.

Близ музея-усадьбы, над рекой Воронкой, стоял Дом отдыха рабочих угольной промышленности. Меня приглашали туда читать — для каждой партии отдыхающих — общую ознакомительную лекцию: «Жизнь и творчество Толстого». Тезисы лекции были просмотрены Нелюбовым, утверждены директором краснознаменцем, в них содержалось положенное количество цитат из статей Ленина и «Краткого курса истории ВКП(б)».

Однако, цитаты — цитатами, а Толстой-Толстым... те из моих слушателей, которые вообще читали и любили (по странной и непонятной склонности русского человека) размышлять и задумываться — те слушали произносимые мною цитаты точно так, как они слушали их на бесчисленных партийных семинарах и теоретических конференциях, то-есть мимо ушей пропуская; читали же они Толстого и размышляли и задумывались над Толстым...

Как-то я задержался после лекции: директор Дома отдыха предложил мне поужинать. В просторной столовой сдвигали столы к стене: начались танцы. Народ был шахтерский, но Подмосковный бассейн — молодой, и рабочие там, в особенности молодежь, только вчера из деревни. Вечеринка носила совсем деревенский характер: гармошка, казачек, кадриль. К моему столику подсел — бочком — один из отдыхающих. Пожилой уже: коротко стриженная голова, — этаким крепким серебря-

ным ежиком, —очки в металлической оправе. В руках, изъеденных металлической пылью, он держал «Войну и мир». Пока я трудился над казацкими битками, он смотрел на кадриль: иногда похочатывал, кричал какой-нибудь паре, запутавшейся в сложных переходах танца, и нет-нет косил на меня, — дождался, когда я кончу свое занятие. И верно, только я отодвинул тарелку, он заговорил:

— Наташу бы им сюда Ростову! Она бы показала, как кадриль-то пляшут!

— Она умела! — весело, в тон старику, отозвался я.

— Акурат, про это самое читаю, — сказал он и открыл книгу на заложенной пальцем странице. — «Где, как, когда...» — начал он было читать и, внезапно остановившись, посмотрел на меня внимательными серыми глазами из-под очков: — То-то и вопрос «где, как, когда всосала в себя из того русского воздуха, которым она дышала — эта графинечка, воспитанная эмигранткой-француженкой, этот дух, откуда взяла она эти приемы, которые *pas de châle* давно бы должны были вытеснить? Но дух и приемы эти были те самые, неподражаемые, не изучаемые, русские, которых и ждал от нее дядюшка...»

Нет, поистине неистребима в русском человеке душа, и если душа подступает к горлу, то хоть какими угодно пеленай его тезисами, конспектами и директивами, он так или иначе свое возвращение — выскажет! Высказался и мой тульский мастеровой: по наружности такой простой — в плохоньком свитере бумажной вязки, а по душе — замысловатый, устроенный не без зажимки. Высказался же он в том духе, что старое русское барство было не так далеко от мужичья и вовсе не противоположно народу, как это изображают марксистско-ленинские учебники. Все эти Волконские, Ростовы, вопреки их наружному виду, были корнями соединены с крестьянством. Наиболее глубокие, наиболее привлекательные черты в них — от народа, от земли. Две русских традиции — военная и земледельческая — традиции, в которых и состоит, главным образом, национальное наше величие, были созданы русским барром и русскими мужиками. Всех нас, людей, от верху до низу, породила одна земля. Верно, что народ строил Россию. Но и обратно: Россия создала народ. Медленно, в тысячелетнем ходе. Насколько возможно, надо воздерживаться от насиления органического процесса. Истерическая активность (не говорилось, но подразумевалось: большевизма) не убирает хода, напротив, ломает корни, обрывает связи и, в конечном счете, затормаживает развитие

нации, страны. Не знаю, до какой еще контрреволюции привели бы нас обоих размыщения над лишенной, ведь, всякой политики сценкой, изображавшей, как пляшет Наташа Ростова в гостях у дядюшки. Мы оба во-время опомнились. Да и час был уже поздний. Пожали с удовольствием друг другу руки и разошлись.

Подобные разговоры редко оканчиваются столь благополучно. Вскоре мне довелось иметь другую беседу, приведшую к последствиям, которых, в сущности, и следовало ожидать. В Туле происходила областная учительская конференция. В воскресенье учителя приехали в Ясную Поляну на экскурсию. Литературный музей помещается в Доме Кузьминских — каменном двухэтажном флигеле, где некогда была знаменитая ясно-полянская школа. Дернул же меня чорт подготовить для учителей не обычную — трафаретную — лекцию, а с упором на педагогическую деятельность Толстого. Ведь знал же я, отлично знал, к чему приводят отступление от тезисов и конспектов!

— Будьте добры, товарищ, меня интересует один вопрос, — обратилась ко мне пожилая учительница в простенькой черной шляпке. — Педагогические идеи Толстого, имеют ли они какое-нибудь значение для нашего времени?

Подумав минуту, я ответил так, как это у меня лежало на душе:

— Несомненно! В чем состоит капитальная идея Толстого, которая выразилась не только в его педагогической деятельности, но и во всей его жизни и творчестве? Не в том ли, что положительно все, что бы человек не делал важного и значительного, делается, осуществляется сперва в нем самом, посредством внутренних процессов, глубоко скрытых, часто неосознанных, происходящих без его ведома. Как бы действует в человеке некая внутренняя сила. Толстой определял ее евангельскими словами: «Царство Божие внутри вас». То же, что человек осуществляет не в силу внутренней необходимости, а под давлением внешних сил, скажем, по принуждению, все это проходящее, непрочно, лишено основания. Не случайно, товарищи... — тут я, как паровоз на стрелке, перевел лекцию на прямую и накатанную колею, — не случайно партия и товарищ Сталин ставят во главу угла идейное воспитание масс. Вы, учителя, являетесь проводниками влияния партии... — и, как говорит-ся, пошла писать губерния!

По воскресным дням в музее толпится публика, а зала, в которой происходила беседа, была проходная. В сторонке, меж

посторонних зевак и слушателей, стояла важная персона: т. Чмутов, секретарь Тульского областного комитета партии. Не первый, а второй — как раз по пропаганде! Конечно, я знал его в лицо: по портретам, да и видел в президиуме на «совещании интеллигентии» в Туле. Но вот — не приметил! Тотчас же после лекции он подошел ко мне и с нарочитой вежливостью представился. Предложил папиросу, попросил показать ему «Клины» — столетние липовые аллеи, могилу Толстого. Пока ходили, он все расспрашивал: давно ли я в Ясной, откуда приехал, где учился, где работал раньше. Наконец, он припомнил: «Верно, верно... совсем недавно читал вашу статью в «Литературном критике». Прощаясь, он опять-таки преувеличенно-вежливо улыбнулся:

— Приятно было познакомиться.

— Как вы находите лекцию? — не удержался я.

— Квалифицированная лекция. Насыщена материалом. Конечно, не мешало бы подчеркнуть, что наряду с убеждением, мы отнюдь не отказываемся от принуждения. Наша партия сильна именно сочетанием этих двух моментов. Но вообще... хорошая лекция. Видно, что материалом вы владеете.

Похвалы Чмутова порождали смутные недобрые предчувствия. Манеры советских сановников мне достаточно были известны: в большинстве случаев они стараются не вызывать в широкой беспартийной массе личной, направленной против них, неприязни. Напротив, они стремятся — лично! — произвести выгодное, прятное впечатление. А между тем, втихую...

... Два дня спустя в Ясную Поляну нагрянула комиссия. Председателем была женщина: позабыл фамилию, но помню, что она заведывала Тульским ОблОНО, областным отделом народного образования. Комиссия изучала экспозицию Литературного музея, проверяла конспекты экскурсоводов, беседовала с Корзниковым и Нелюбовым при закрытых дверях. На общем собрании персонала была объявлена резолюция: слово «apolитичность» склонялось на все падежи. Комиссия отмечала: «Политизанятия с научным персоналом не проводятся, изучение «Краткого курса истории ВКП(б)» предоставлено самотеку. В результате, беседы с экскурсантами не имеют политической заостренности, а научные сотрудники, вместо четких марксистско-ленинских формулировок, «жонглируют евангельской терминологией». Для меня было ясно, откуда ветер дует: от Чмутова. Попало Нелюбову: комиссия поставила ему на вид отсутствие политического контроля. Как я узнал позднее, первоначально и

мое имя фигурировало в резолюции: в связи с «евангельской терминологией». Но так как я все равно через неделю покидал Ясную Поляну, уехал в Москву, то и вычеркнули.

Догорал осенний день, когда таантас, увозивший меня из Ясной Поляны, загрохотал колесами по выложенному булыжником «пришпекту». Кучер, долговязый украинец в коричневом армяке, взмахнул ореховым кнутовищем. Кони вынесли за белые — двумя башенками — ворота.

В полях было тихо. Только цокали копыта по асфальту Киевского шоссе. Лес уже остро пах грибами, прелыми листьями, — милые, от детства родные запахи. Как хотелось любить все это, обнимаемое одним словом — родина. Не по конспектам и тезисам, — любовью простой, непосредственной. Вот и Воронка, крутой спуск к мосту, под которым темная, почти недвижная вода. Далекие дали видны с крутояра: тихо и грустно стояли прозрачно-желтые березники, пурпуровые осинники. Тонким туманом подернутая, темнела Засека. Большой лесной кряж, где когда-то устраивались засеки — завалы от татарской конницы. Да, родина. Чего только не испытала, не перенесла она! Шли из-за Каспия темные орды... где они? ничего не осталось: только в памяти народной отложились имена мучеников, Святителей Земли Русской. Пройдет и большевистское лихолетье. А родная земля есть и будет, и с нею — то, что по-настоящему от земли, от родины. Толстой, Россия...

НА ЛОВАТИ

Правый берег реки был высокий, гнилистой. На солнцепеке, овеянная апрельским ветерком, пробрызнула травка; тропинка, бежавшая по косогору, успела подсохнуть. Евгений Шубин, в измазанной шинели, с вещевым мешком на плече, шагал, поглядывая на темную стену леса, подступавшего к берегу, то на овражки, где лежал талый снег, то на свинцово-сизую зыбь воды. По реке плыли, покачиваясь на волнах, льдины — наплывали одна на другую, раскалывались, шипели; иногда синяя, разъеденная оттепелью льдина была раскрашена кровью и на ней лежал боец, уткнувшись, с подогнутым коленом, запустив в ноздреватый лед скрюченные пальцы. Несло бревна, обрезки теса, разломанные корыта понтонов, ящики из-под снарядов, ключки сена, дохлую рыбу, оглушенную разрывами, трупы лошадей с раздутыми животами... — отходы кровопролитных, длившихся две недели боев на Ловати.

В расщелине леса на том берегу тускнел, остывая, свет заката. С пригорка Шубин увидел крутие двускатные крыши деревни. Бревенчатые серые избы, по-северному высокие, с пристроенными сбоку сенями, тянулись в один ряд по изогнутому коромыслом берегу. На луговом поеме реки, перед избами, были раскиданы бани, нагорожены огороды, местами еще затопленные полой водой.

Прижатая лесом к реке, деревня лежала, будто зверь у водопоя. В багрово и выпукло раскрашенных закатом окнах, глядевших на реку, Шубину померещились вытаращенные от муки, налитые кровью, остьывающие глаза бревенчато-ребристого зверя, порожденного лесными сумерками.

Выбирая где посуше, Шубин вышел на середину деревни. На песчаном пригорке стояла черная, с подгнившими углами, часовенка; крышу ее наполовину снесло шальнойным снарядом — шеперились дранки, торчали стропила. Стайка босоногих ребя-

тишек, рассыпавшись по пригорку, играла в войну. Курносый их коновод, взбежав на высотку, таращил круглые глаза, размахивал руками:

— Хальт! Хальт!

— Вот я тебе покричу, поганец!

Шубин поднял голову. На высоком крыльце он увидел старуху. Из белого холщевого свертка у нее лохматилась рогожная вехотка. Обернувшись назад, в глубину сеней, она сказала:

— Родного слова не берегут, поганцы! Ишо зимой научились: прибегут в избу с мороза, кинутся к печке руки погреть — «кальт! кальт!» — и до се кричат... запало им, поганцам, в голову!

Старуха начала осторожно, хватаясь рукою за бревенчатую стену, спускаться по лестнице и остановилась, увидев внизу человека в шинели. Молча, поджав сухие губы — коричневые, как еловые коринки, — она смотрела на фуражку с черным окольшем и красной звездой, на шинель с присохшей к подолу грязью.

— Переночевать, хозяйушка...

— В избе хозяйка...

В избе, послышалось, хранили меха гармошки. В глаза Шубину метнуло, что на перильцах крыльца и на веревке, протянутой от избы к сараю, сушилось армейское белье — желтоватые, грубой бязи, рубахи, подштанники.

— А-а, тут военные! — оживился Шубин и, пошарпав ногами по еловому лапнику, твердо поставил ногу на ступеньку.

Сверху, от порожка, за Шубиным наблюдала девочка лет семи-восьми; белые, непросохшие волосы ее были расчесаны на прямой пробор, в косичках краснели тряпочки. Взойдя на крыльце, он протянул руку погладить ее по голове, но она метнулась, спряталась. В полумраке сеней, где по стенам на деревянных гвоздях висели хомуты, шлеи, коса с грабками, в углу стояла кровать, заваленная драными стеганными одеялами, серым тряпьем. У кровати сидела другая старуха, щипала лен, взбитый чекой на деревянном гребне. К старухе жались две девочки, поменьше той, что выглядывала из-за двери. На полу ползал ребенок, играя скатанным из шерсти мячиком.

— Здравствуйте, мамаша, — поздоровался Шубин. — У вас тут, я вижу, людно.

Из тряпья, наваленного на кровати, высунулась и упала плетью голая рука; кто-то лежавший там тоненько, жалостно застонал. Подоткнув дерюгу, старуха тихо сказала:

— Ты не ропщи... роптать не надо.

И к Шубину:

— Девка у нас пораненая.

— Давно?

— Да уж две недели будет. Мы все тут из одной деревни, из Старого Рамушева. По Ловати подыматься, верстов двадцать будет. Может, слыхал?

Шубин кивнул утвердительно.

— Осенесь-то, как пошел немец от Старой Руссы, так прямиком на нас и накатился. А мужиков в деревне — одни бабы! Бабы, разве они рассудят? Перепужались! Похватали ребятишек, погнали по лодкам плетушки, лукошки, горшки, кто что успел — поплыли! Как отплывали, солнышко не поднялось, день не развиднялся. Плытем, вот уж и солнце в сосну стоит, а мы все плывем, а куда, спроси нас, не знаем. Плытем, Царице Небесной молимся, она, слава Богу, и надоумила — плыть вовсе никуда не надо, а надо прибиваться к берегу. Пристали к Мещерам, а он и сюда пришел, немец-то, тут мы и зазимовали.

— Озорничал, поди?

— Нет, так, чтобы озоровать — не озоровал. Девок, правду сказать, не трогали. По избам не жили, а школу проволокой огородили, там и квартировали. Недолго, три месяца, и тех не будет. Как ударил крещенский мороз, его и не стало — наши пришли. Прошли войска дальше вверх по Ловати, а там, солдаты нам сказывали, вниз по Ловати другие шли — у Старого Рамушева ваккурат и встрелись. Бабы наши, прости их, Царица Небесная, замельтешили: домой да домой! Покидали нам, старухам, ребятишек на руки. Дескать, ждите, как не сгорели избы — придем за вами. Только пришли туда, по оттепели, бой-то и начался. Налетели, как налетели... одно званье осталось от Старого Рамушева.! Прятались по погребам, да разве от бомбы спрячешься? Четырнадцать баб разбомбило начисто, а коих ранило... ослушницы! Вот и Саньке ногу прострелило, а от Харитиньи, матери ейной, головы не нашли! Тулово лежит, кровищей подплыло, а голова отлетела, как, скажи, топором отрубленная... искали, не нашли!

— Ногу прострелило — операция нужна! Рана загниет, погибнет девка!

— Дохторица приезжала, перевязывала.

Старуха отвернула край дерюги. Приподнятая на двух подушках, лежала толстая забинтованная нога.

— Нюрка, сестра Санькина, на военный шпиталь белье стирает. Она и упросила дохторицу, чтобы приехала. Шпиталь-от неподалечку отседова, в Росстанях.

— Знаю. Я сам третьего дня оттуда... целую неделю пролежал.

Девочка с острым, как у лисенка, лицом мелькнула красными тряпочками в косичках, юркнула перед Шубиным из сени в избу. Из избы на него напахнуло теплом, уютом. Пол, высокобленный голиком с дресвою, был еще сырой, в заусеницах. У порога лежал толстый рогожный мешок; отпечатанный на нем черный орел топорщил крылья, держал в когтях свастику. К столу, над которым висела лампа-пятилинейка, к горнице, откуда слышался храп мехов, попискивание гармошки, к русской печке, полыхавшей оранжевым пламенем, от порога бежали половики. На деревянной кровати, направо от дверей, высились кипа глаженного белья, накрытая бязевой простыней. Налево, у печки, стояла кадушка, на кадушке — железный ковш.

Хозяйка делала хлебы. Огонь, плясавший в печке, освещал стол, обсыпанный зеленоватой мукою, кадочку с зеленым тестом, крепкие, полные в локтях руки и крутую, с желобком посередине, спину женщины; под посконной рубахой, заправленной в юбку, двигались лопатки.

— Примите ночлежника, хозяюшка?

Женщина обернулась. На строгом, обтянувшемся от усталости, точно из камня высеченном лице ее трепетали тени от огня. Глубокие глаза, оттененные пепельными кругами, глядели прямо, режуще. Приподнятые — в тесте и муке — руки, ладонями кверху, были недвижны, как у святой на иконе. В углах тонких, неярких губ оттаяла усмешка:

— Ночуйте... Я и сама не знаю, кто тут живет.

В горнице, у окошка, за которым в легких сумерках виднелась тонкая, еще опущенная листвой березка, сидел молодой боец в белой рубаше, без гимнастерки. Держа на коленях высокий, поблескивавший перламутром аккордеон и склонив шишковатую, стриженную под нолевку голову, он тянул меха, трогал клапан, прислушивался. Шубин остановился в полосе света, падавшей из избы в горницу:

— Трофейный, что-ли?

— Трофейный, товарищ старший лейтенант, — ответил боец, заметив на гимнастерке вошедшего черно-бархатные петлички с малиновыми квадратиками. — Да вот не играет, чертяка!

Клею-клею, а меха все воздух пропускают. Клей не держит! Намешала хозяйка клейстеру, а какой это клейстер, ежели мука не из ржи-пшеницы? Насобирали в ельнике моху, высушили, размололи... хлебы пекут, обратили внимание, какие зеленые!

— Земля у них тут скучная. Пашни — клочки, да и на клочках — валуны, кременья.

— Вы не сибиряк, случайно, будете, товарищ старший лейтенант? Под Славгородом не бывали... в Кулундинских степях? У нас, как вошел в пшеницу, тек тебя с головой и укрыло! После нашей земли мне на ихние пашни смотреть тоскливо.

— Нет, не сибиряк, — сказал Шубин с сожалением, — Я из Ростова на Дону, у нас тоже степи кругом, черноземы! Кстати, товарищ, табачком не богаты?

Боец вынул из кармана большой, как сибирская рукавица, плисовый кисет, — подарок от шефов, — раскатал его и, удерев жав металлическую трубочку с набензиненным фитилем и крепало, передал кисет Шубину.

— А вы, товарищ старший лейтенант, в баню не желаете? Мы-то первыми помылись, трое нас, из трофейной команды. Мы сейчас спросим хозяйку, осталась ли еще в котле горячая вода.

Чистого белья у Шубина не оказалось. Боец подсказал — раздеться и обменять у хозяйки на стиранное. «Тебе, тетка, все равно, ты счетом получаешь белье из санбата», — грубовато, выворачивая в улыбке трегубый рот, сказал боец. Шубин надел прямо на тело суконное обмундирование и, отставляя руку, вынес из горницы заношенное, пропахшее потом белье. «Бросить бы куда-нибудь наружу, а то... расползутся по избе», — попросил он. Хозяйка выбрала из кипы глаженного белья одну пару, подошла к печке и поглядела на свету, не осталось ли после стирки бурых неотмытых пятен. Передавая Шубину, блеснула глубоко посаженными, тяжелыми и строгими глазами:

— Перебьют мужиков на войне, только нам и останется, что за подштанники подержаться.

— Всех не перебьют, на развод останется, — возразил боец.

— А ты видел, сколько их плывет по Ловати! — кивнула хозяйка на окно и, спохватившись, что в незавешанное окно, за которым густилась тьма, бил огонь из печки, быстро подошла к кровати, вытянула из-под перин и подушек широкое лоскутное одеяло.

Вечер закутывал мглою избы, похилившуюся часовенку на пригорке. Над темным лесом, далеко-далеко, вспыхнули голубые лучи прожекторов. «У Крестцов», — определил Шубин. В воде, широкой пеленой разлившейся по огородам, дрожали звезды. По заводям, заросшим тальником, низко наклонившимися ивами, лохматился туман. Мгла неторопливо слизывала остатки света с выпуклой середины реки.

Возле бани, которую хозяйка с крыльца показала Шубину, лежали опрокинутые лодки. Черная дверь была приоткрыта. В предбаннике — без потолка, только стены — Шубин увидел на скамейке кучки белья.

— Наберется воды в кotle... еще одному помыться?

Дверь распахнулась, выбухнули клубы пара и, будто спустившись на землю на облаке, перед Шубиным предстала дородная, распаренная до красна, широкая в бедрах баба.

— На десятерых наберется — пожалуйте!

Барашками перепрыгнули через порожек на земляной, устланный соломой пол предбанника два маленьких мальчика с большими животами. Мать пропустила детишек и, повернувшись молочно-розовым задом к Шубину, подхватила меньшенького, поставила ногами на скамейку — одевать.

В бане пахло раскаленным камнем, распаренными вениками. На полу сидела старуха, терла по вытянутым, тонким и сухим, как спички, ногам лохматой вехоткой. Мальчик стоял на коленях перед широкой шайкой, плескал пригоршнями на свою большую, стриженную, низко склоненную голову. Девушка у каменки черпала ковшиком из кадушки воду, доливала котел. Камни под котлом были красны, круглы; от каменки ложился багровый от свет на черную, кругло-бревенчатую стену, в которой зияло крохотное квадратное окошечко.

— В кои веки помыться-попариться, — проговорил Шубин, входя в темную, как пещера, баню. — А то все по болотам да по болотам... кажется, в самые кости залезла простуда.

— Вот и хорошо, что пришел, не побрезговал бабами, — ответила старуха. — Живут у нас три солдата, те завсегда отдельно. Баба... какая же в бабе беда? Она и спину потрет, и стены холодной водой окатит, и за каменкой поглядит.

Шубин, прикрывая горстью стыд, прошел по скользкому, прогнившему до дыр полу и сел у полка, на нижнюю ступеньку, улепленную мокрыми березовыми листочками.

— Нюра, шаечку кавалеру, вехотку. Мыльца-то у нас, извиняйте, нету.

— Тут мыло, вот оно, целый кусок! — торопливой и смущенной скороговоркой откликнулся Шубин и, не спуская глаз с девушки, всунул старуже в руку бруск мыла. Та — обрадованная — принялась намыливать вехотку.

Девушка наводила в шайку воды — окачиваться. Тело ее было обрублено поверху: тьма скрадывала лицо, плечи, груди. Густо-красный свет — снизу, от каменки — выхватывал из по-темок коротковатые, как у всех женщин на севере, но крепкие, точно березовые кругляши, ноги, выпуклую чашу живота. Из глубины бревенчатой пещеры Шубин таращил глаза на девушку. Острый, исхудалый, он еще более заострился — невидимая рука схватила сзади за волосы и натянула кожу на лице.

— Помыль-ка вот голову, — приказала старуха мальчику. — Без мыла не мытье... голова-то, поди, вся коростами заросла? Мыла нету — такая бедность! Девка белье на военный шпиталь стирает, и то без мыла. Ядучую соду заместо мыла дают. Вот спасибо тебе, желанный, не побрезговал старухой. Чем тебя и пожалеть, не знаю.

Шубин не слышал, что бормотала старуха. Жилы в нем натянулись, — невидимая рука натягивала колки. Глаза запали, небритая, заросшая щетиной челюсть выдалась вперед, лицо окаменело. Игольчатый озnob пробежал по волосатому телу Шубина.

— Из Ростова, бабушка, из Ростова! — не помня себя, ответил он старухе. — Далеко, на Северном Кавказе!

— Дале-ко... Там, что-же, на Кавказе-то, все так, как и тут у нас? И Ловать есть?

— Есть... Называется — Дон.

Девушка отшагнула от каменки и подняла над головой шайку. Теперь Шубин видел ее всю в оранжево-багровом свете. Отвечая на движения воздетых рук, груди ее вздернулись, заострились сосками. Вода хлынула потоком сверху — падала, как стеклянный занавес. В Шубине, зачарованном льющимся блеском, ворожнулось сердце. «Нюра», — подумал он с нежностью. Нюра еще держала над головой шайку — последние струи стекали по ложбинке меж грудей, где лежал медный нательный крестик, зернистые капельки воды дрожали, блестели, задерживаясь под кругло-выпуклым лоснящимся животом. Она

предстояла Шубину в ее простой и спокойной, близкой, однако же недоступной, прозрачно-застекленной, девичьей красоте.

— Папаша и мамаша.. живы-здоровы! — ответил Шубин, и весело, размашисто заговорил: — Брата имею, тоже на фронте сражается. Две сестры-докторицы, да и отец по медицинской части. А мама наша — казачка терская. На Кавказе, знаешь, бабушка, какие там у нас казачки — крепкие, ладные... семянистые.

— Оно и тут-то, — засмеялась старуха. — Которая баба каждую осень несет — да по войне! Моя мать-покойница шестнадцать нас накидала. Ты сам-от женатый? Приходи опосля войны — оженим! Девок у нас, как белянок в березнике, и девка все круглая, подбористая. Погляди хоть на нашу Нюрку — куда тебе, брусница-ягода!

— Не балуйся, стой смирно! — воскликнула Нюра, окачивая мальчика. Он был белоголов, тонок телом, как стебель цветка. На окрик Нюры он в шутку, как по команде, застыл, вытянулся и поднял кверху, под струю воды, широкое, пестрое от веснушек лицо, напоминавшее шляпку цветка, простенького, желто-белого цветка вроде подснежника.

— Женатый, — признался Шубин и с задумчивой улыбкой посмотрел на Нюру; лица ее он так и не разглядел в потемках. — Три года, как женатый. Дети? Нет, детей не было. Катя, она студентка... и я до самой войны учился. Война трахнула — меня в армию взяли, а Катю чуть немцы в Германию не угнали. Хорошо, наши скоро освободили Ростов, а то и угнали бы. Теперь и она фронтовичка — сестрой при военном госпитале. Пожале, близко отсюда... кажись, под Волховом.

Нюра окатила мальчика и ушла. В предбаннике, одеваясь, она тихонько напевала. Шубин потрогал рукой веник, висевший на жердочке над каменкой. Веник был гладок, полон листвы; в пару, мокром зное сухие, сморщеные листочки расправлялись, дышали, сладко пахли.

— Попарься! Камни каленые, пару досыть будет, — сказала старуха, направляясь к двери. — Она и выйдет газом, твоя простуда.

Шубин плеснул горячей водой на каменку. От камней поднялось, клубясь, облако. Он плеснул еще и постоял, окутанный не очень горячим, но приятно-теплым, густым и пахучим паром.

Клубком тонкого и легкого, как дремота, пара проплыло в памяти воспоминание о жаркой субтропической ночи, душном

номере в «Кавказской Ривьере», где он... — плеск моря, шорох пальм за окном, катина косынка на абажуре настольной лампы, багровые отсветы на черных, дубом обшитых стенах... — впервые обнимая Катю, бормотал беспамятные отрывочные слова, а она — то увертываясь, то уступая — повторяла: «Ты хороший? хороший?» Как и теперь, когда он глядел на Ниору, в нем тогда все натянулось, лицо окаменело, краснота сгустилась до синевы... потом отпустило, и затопленный приливом благодарности, он шептал: «Всю жизнь... всегда буду любить тебя... ты сльшишь, всю жизнь, тебя». «Всю жизнь» — послышалось Шубину в шелесте листвы, жарко хлеставшей по телу; большие синие глаза глядели из темноты бани строго, с прищуром, спрашивали. Поймав себя на том, что после контузии у него развивается привычка разговаривать вслух с самим собою, Шубин засмеялся и повторил:

— Всю жизнь! Не веришь?

В походах Шубин изменял жене бездумно, без угрызений совести. Имена и лица случайных любовниц выдувало ветром из головы, едва кончались быстротечные минуты любви и он освобождался от слабых, усталых объятий. Память хранила лишь картинки тех мгновений: то комнату учительницы на втором этаже городской школы, где все тряслось, скрипело от близких бомбовых ударов, тревожно звенели колбы, реторты, пробирки в широком застекленном шкафу, в окнах подымалось темно-коричневое зарево; то заваленку у избы, высокие крыши, журавли колодцев, бледное под звездами лицо «забавушки»; то жарко напопленную землянку, поминутно освещаемую химическим светом ракет, пускаемых немецкими наблюдателями из окопов, шаткий топчан на козлах, брезентовую сумку санитарки в головах. Шубин, разумеется, не мог забыть катиного лица и имени, но даже Катю он вспоминал, как подробность сценки: он помнил не Катю, а пляж в Сочи и Катю, теплоход «Абхазия» и Катю, театр Завадского в Ростове на Дону и Катю... — жена оказывалась не существенное, нежели дуновение ветерка на пляже, пена за кормою, грим на лице актера.

Теперь Катя с госпиталем была на Волховском — соседнем — фронте. Госпиталя часто перебрасывались с фронта на фронт, в зависимости от активности боевых действий, и не было ничего невероятного в том, что в дни тяжелых, длительных боев на Ловати Шубин мог бы повстречаться с Катей в лесах Приильменья. Мало ли как: на фронтовой дороге, в госпитале в

Росстанях, наконец, вот тут, в бане! То-то была бы встреча: Катя, Нюра и он — в бревенчатой пещере, красно освещенной раскаленными камнями!

Камни шипели. Клейкие березовые листочки щелкали, прилипали к телу. Прерывисто дыша, Шубин хлестался веником: — всю жизнь! всю жизнь! всю жизнь! Низкий и черный потолок бани распахивало напором взвивавшегося над каменкой пара, в вышине проблескивала синева открытых — нежных и лучистых — глаз; Шубина подымало, несло им навстречу.

Нахлеставшись до опьянения, окатившись холодной водой, Шубин вышел в предбанник одеваться. В ушах не смолкал тонкий вибрирующий звон — вроде толклись комары; тело сильно гоняло кровь, песенно шумело, будто он нес в себе целую березовую рощу.

Ночь надвигалась глубокая, сырья. Туман наползал от реки. В разливе неба, над темными кремлями еловых лесов, выплывал, покачиваясь, как лодочка в половодье, тонкий серп месяца. Далеко за лесом тревожно шарили по небу прожектора, судорожно сцеплялись, скрещивались; среди звезд засверкали разрывы зенитных снарядов. Шубин остановился перед крыльцом, прислушался к гулу бомбовых разрывов, катившихся издалека по лесу. Налетел ветерок, надул висевшие на веревке вниз рукавами рубахи, делая их похожими на обрубленные воздушной волной безголовые туловища.

Ю. Елагин

Юрий Елагин, концертмейстер, скрипач, работавший до войны в Московском театре им. Вахтангова, опубликовал за рубежом автобиографические очерки-воспоминания о музыкальной и театральной жизни столицы в течение десятилетия 1930-1940. Книга называется «Уклоение искусства» и вышла в издательстве им. Чехова (Нью-Йорк) в 1952 году. Глава из нее приводится ниже. Другая книга Ю. Елагина, «Темный гений», посвященная творчеству Всеволода Мейерхольда, выпущена тем же издательством в 1954 году.

КОНЕЦ МЕЙЕРХОЛЬДА

«1937 год начался еще в 1936» — часто приходилось мне слышать в Москве.

Этот хронологический парадокс правильно выражал ход событий, происходивших в это странное время. Но, может быть, точнее было бы сказать, что 1937 год начался еще в тот вечер 1-го декабря 1934 года, когда в Ленинграде в своем рабочем кабинете был убит Киров — один из ближайших и любимейших соратников Сталина. Именно дата этого убийства оказалась исходной точкой для медленного накала новых и больших политических событий, для постепенного развития болезненных процессов, которые в течение долгого времени происходили где-то в глубине, не выходя на поверхность жизни страны, не замечаемые простыми смертными. Как злокачественная опухоль, как глубокий гнойник созревали эти процессы полтора года, пока, наконец, не появились в 1936 году их первые внешние признаки в виде смещений и арестов людей, еще вчера находившихся на вершине власти, первого «большого процесса» Каменева и Зиновьева, усиления террора и, наконец, идеологической агрессии во всех областях культуры и искусства, в размерах и формах до той поры небывалых. Каждая неделя несла события непонятные, неожиданные и страшные, о которых избегали говорить даже шепотом, но о которых думали много и напряженно, стараясь уловить их подлинный смысл и понять их настоящие причины.

В сентябре 1936 года был смещен и вскоре арестован шеф НКВД Ягода и на его место назначен Николай Ежов. Началась «ежовщина». В скором времени всю страну залила волна беспощадного террора.

На фронте идеологии достигла кульмиационного пункта нетерпимость ко всему тому, что не вполне совпадало с генеральной линией или хотя бы недостаточно быстро приспособлялось к ее новому крутым повороту. А этот поворот был, действительно, очень крут и приспособиться к нему было не легко для тех, кто был воспитан на старых классических принципах интернационального коммунизма. Новое же иногда было диаметрально противоположно старому. Это был национализм, реабилитация если не всего, то многого из исторического прошлого народа, утверждение откровенного духа диктатуры, признание значения личности в истории. Требовалась немалая ловкость, чтобы эти новые установки втиснуть в марксистские и ленинские концепции. И их кромсали, извращали, переворачивали наизнанку, но все таки втискивали. И это было то новое, что относилось к содержанию. В области же формы началась впервые официальная борьба с формализмом и насильтственное внедрение реализма во все виды искусства и литературы.

Первый удар нового курса в области содержания был нанесен опере «Богатыри» в Камерном театре Таирова.

Первое нападение по линии формы началось двумя статьями в «Правде» против музыки Шостаковича. Оба эти события произошли в 1936 году.

В ноябре 1936 года в Камерном театре была поставлена неизвестная до тех пор и незаконченная опера Бородина «Богатыри». Она была оркестрована и инструментована дирижером театра Александром Медтнером (братьем известного композитора), а либретто написал заслуженнейший пролетарский поэт — Демьян Бедный. В эпоху гражданской войны Демьян Бедный был единственным деятелем литературы, который занимал в стране положение, равное по значительности и влиянию положению большого правительенного чиновника. Он был

приятелем многих большевистских вождей тех лет. Он даже жил вместе с ними в Кремле. Он был единственным литератором в течение первых десяти лет существования советской власти, получившим за свои заслуги орден трудового красного знамени. Поэт он был совершенно бездарный, но зато был верным большевиком без сомнений и упреков. Сочинения его, не отличаясь ни глубиной содержания, ни блеском формы, являлись, в сущности, изложением злободневных политических лозунгов, облеченные в популярную стихотворную форму басен и сказок. В «Богатырях» он вывел героев русского народного эпоса — сказочных богатырей (Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича) в резко отрицательном карикатурном виде. Спектакль был уже принят и одобрен Комитетом по делам искусств. Все было, как будто, в высшей степени благополучно. Но на беду сам Молотов приехал смотреть премьеру и, просмотрев один акт, демонстративно встал и уехал. Таирову передали, что перед отъездом он бросил всего лишь одну возмущенную фразу: «Безобразие! Богатыри, ведь, были замечательные люди!»

«Богатыри» были, конечно, немедленно запрещены. Камерный театр с Таировым и сам Комитет по делам искусств подверглись жестокому разносу за «отсутствие политического такта в изображении прошлого нашего народа». А автор текста — вчера еще знаменитейший пролетарский поэт — Демьян Бедный был низвержен с высоты сразу же на самое дно. Его выгнали из Союза советских писателей и из квартиры. Писать ему запретили, книги его изъяли из библиотек. Каким чудом он избежал ареста — это долго оставалось загадкой для москвичей.

Инцидент с «Богатырями» было приказано обсудить и «проработать» на специальных общих собраниях во всех театральных и музыкальных учреждениях Советского Союза. Это был первый случай применения нового способа художественно-политического воспитания работников искусств. С того времени эти общие собрания для обсуждения правительственныех действий в области искусства становятся обычным явлением, без которого редко обходилась наша трудовая неделя. Обычно, в нашем театре эти общие собрания проходили так: секретарь парторганизации, директор театра или специально присланное лицо из Комитета по делам искусств читало очередную разоблачительную статью из «Правды» или только что опубликован-

ное правительственные сообщение и пространно комментировало и разжевывало и без того всем понятные ясные факты. Затем начинались «прения». Брали слово наши активисты — кто-нибудь из парторганизации, рабочий сцены или парикмахер и долго и наставительно поучали актеров одного из лучших театров Москвы, какие выводы они должны были сделать из мудрых исторических статей и постановлений. Иногда выступал кто-нибудь из наших художественных руководителей и произносил сложную дипломатическую речь.

В январе и феврале 1936 года появились две редакционные статьи в «Правде», направленные против музыки Шостаковича — «Сумбур вместо музыки» (об опере «Лэди Макбет Мценского уезда») и «Балетная фальшь» (о балете «Светлый ручей»). Статьи были написаны Ждановым. Музыка, совершенно выпадавшая до той поры из поля зрения правительства, стала сразу объектом жестокой агрессии. Вполне сформировавшиеся к этому времени художественные вкусы советских вождей, нашли свое выражение в этом походе на самое абстрактное из искусств. Результатом этих статей была опала Шостаковича. Но эта опала была лишь неизбежным побочным следствием их. Главным же следствием этих статей оказалась широкая дискуссия о формализме, «как о вреднейшем антнародном явлении в советском искусстве». Дискуссия была проведена в размерах, до тех пор невиданных в истории советского искусства. Эту дискуссию московские деятели искусств встретили мрачным демонстративным молчанием, не приняв в ней ни малейшего участия. Дискуссию о формализме пришлось проводить чиновникам из Комитета по делам искусств, критикам и агитаторам из отдела агитации и пропаганды ЦК. Помню, какое недоумевающее и ироническое настроение царило у нас на первом общем собрании по поводу статей в «Правде» о Шостаковиче. Шостаковича в нашем театре любили и ценили. И мы молча слушали, как секретарь театральной парторганизации — парикмахер Ваня Баранов, горячо громил, разоблачал и разносил впух и прах бедного композитора.

Итоги борьбы с формализмом не замедлили сказаться весьма быстро в театрах Москвы. Все спектакли стали ставиться в добрых старых традициях конца прошлого столетия. Все завоевания режиссерского мастерства, культура спектакля, как единого целого, все, или почти все созданное новым русским театром в пору его расцвета, было зачеркнуто. Музыка, ориги-

нальные декорации, выдумка и изобретательность режиссера — все было объявлено элементами формализма, все было осуждено и просто запрещено. Комитет по делам искусств начал проводить свою идеологическую и антиформалистическую «ежовщину». Председателем комитета был тогда Керженцев. Его заместителями — Боярский (начальник театрального управления) и Шумяцкий (начальник управления по делам кинематографии). По имени этой тройки была остроумно названа вся эпоха их деятельности в искусстве в 1936—1937 годах — «Сеча при Керженцеве», «Боярская дума» и «Шумяцкий суд». И, действительно, сеча шла во всю. В конце 1936 года приказом правительства был неожиданно ликвидирован Второй художественный театр — бывшая первая студия Художественного театра, вписавшая в историю русского театра страницы блестящие и славные. Второму художественному предложили переехать на постоянную работу на Украину, в Киев. Аристы, прожившие всю жизнь в Москве, отказались. Тогда театр просто закрыли.

После этой откровенной ликвидации стали применять другую, более тонкую форму уничтожения театров. Их стали «сливать». Театр закрывали, но небольшую часть его актерского персонала определяли в другой театр, из которого одновременно увольняли некоторую часть актеров. Так, под вывеской «слияния» с Камерным театром, был закрыт театр режиссера Охлопкова (бывшая четвертая студия Художественного театра), театр режиссера Дикого (бывший театр Пролеткульта) был слит с театром Комсомола, а сам Дикий переведен в Ленинград, где и был вскоре арестован. Театр Завадского был послан в Ростов и там слит с местным драматическим театром. Театр-студия режиссера Симонова был просто закрыт без всякого слияния.

Предложено было и Мейерхольду слить его театр с театром Революции, а самому ему занять в новом «гибриде» должность рядового режиссера. Но Мейерхольд отказался наотрез. Тогда (17 декабря 1937 года) в «Правде» появилась редакционная статья под названием «Чужой театр». В этой статье были жестоко разгромлены Мейерхольд и его театр.

Всеволод Эмилиевич Мейерхольд принадлежит, бесспорно, к самым блестящим и самым своеобразным театральным режиссерам нашего времени. Он был яркой и значительной фигурой в современном искусстве вообще. Точнее, в той части искусства, которая носит название «левого». Новаторство художников-модернистов искало своего выражения по-разному — от изящ-

ного изысканного неоклассицизма, салонной утонченности или абстрактного, отрещенного от сует мира сего «парения в мириах иных» и до острого парадоксального, плакатного, революционного искусства, которому обязательно свойственны смелые поиски новых форм и ломка установившихся традиций. Мейерхольд так же, как и великий испанец Пикассо, принадлежит к деятелям именно этого рода искусства. Мейерхольд начал свою театральную карьеру артистом Художественного театра. Так же, как и Вахтангов, он был учеником Станиславского. И так же, как Вахтангов, он ушел от своего великого учителя, когда почувствовал в себе непреодолимую жажду самостоятельного творчества. В этом было одно из замечательнейших свойств Станиславского-учителя, который, прививая своим ученикам высокую театральную культуру и развивая их профессиональное мастерство, никогда не подавлял их собственной творческой индивидуальности, никогда не насиливал их художественный стиль.

Одно время, после ухода из Художественного театра, Мейерхольд был режиссером в театре Комисаржевской. Его режиссерский талант вскоре обратил на себя внимание дирекции императорских театров и его пригласили для постановки нескольких спектаклей в Александринском и Мариинском театрах в Петербурге. Первой его постановкой в Александринском был «Дон Жуан» Мольера (в 1910 году), последней — «Маскарад» Лермонтова с музыкой Глазунова. Премьера «Маскарада» состоялась весной 1917 года, за несколько дней до февральской революции. В Мариинском театре он поставил «Орфея» Глюка и «Тристана и Изольду» Вагнера.

Революцию Мейерхольд встретил восторженно. С первых же дней он встал безоговорочно на сторону большевиков и принял самое активное участие в революционной борьбе на культурном фронте. Одним из первых среди деятелей искусства он вступил в коммунистическую партию. Вскоре, постановкой «Мистерии Буфф» Маяковского, он открыл свой собственный театр в Москве. Весь свой большой талант, свой искренний революционный пафос, свою блестящую фантазию Мейерхольд вложил в этот свой театр. Он ставит острые кричащие «левые» пьесы: «Даешь Европу» Эренбурга, «Рычи Китай» Третьякова, «Мандат» Эрдмана, «Учитель Бубус» Файко, «Баня» и «Клоп» Маяковского. Все это были яркие создания нового плакатного революционного искусства. В них было много сатиры и много

гротеска. Можно было ненавидеть эти спектакли, но нельзя было считать их бездарными и незначительными.

Вскоре театр Мейерхольда стал «Меккой и Мединой» для всего левого мирового театра. К нему съезжаются учиться «левые» режиссеры всех революционных театров мира. В это время (двадцатые годы) влияние Мейерхольда было очень велико в Советском Союзе. И к ореолу большого талантливого режиссера присоединились еще и его личные связи с высшими партийными кругами. У него было много друзей среди видных представителей старой ленинской гвардии. Все это создавало для него большие возможности, делало его влиятельнейшим человеком в советском искусстве. И он мог себе позволять то, чего не мог бы позволить никто другой. Так, например, он принял к постановке комедию Эрдмана «Самоубийца», после того, как Главрепертком решительно запретил ее ставить в театре имени Вахтангова. Пьеса была доведена Мейерхольдом до генеральных репетиций, но показать ее московскому зрителю все-таки не позволили даже ему. Перед самой премьерой спектакль был запрещен по приказу Кремля. Сставил Мейерхольд и пьесы русских классиков: «Горе от ума» Грибоедова, «Ревизор» Гоголя, «Лес» Островского. Эти постановки, обычно, вызывали в Москве наибольший шум и наибольшее возмущение консервативной части публики. Действительно, спектакли эти были чрезвычайно эксцентричными. Так, в «Ревизоре» был подчеркнут сексуальный момент, для чего, конечно, понадобилась чрезвычайная фантазия и большие усилия режиссера. Но, например, «Лес» был постановлен исключительно талантливо и в течение нескольких лет был одним из любимейших спектаклей москвичей. Казалось, что все, что только могла создать богатая фантазия современного режиссера, было испробовано и применено. Каждый спектакль Мейерхольда заключал в себе бездну режиссерской выдумки и изобретательности. То бывало на сцене нагромождение сложнейших декораций, то не было вообще никаких. Сама плоскость сцены принимала неожиданные и разнообразные положения. То она была наклонна к залу, то значительно поднята против обычного уровня. Иногда действие разворачивалось на широкой лестнице под потолком, иногда же на площадке в центре зрительного зала. Через самый зал ездили настоящие автомобили и мотоциклеты. В спектакле «Даешь Европу» играл первый джаз, появившийся в Москве — настоящий негритянский джаз Сиднея Бешэ. В пьесе Всеволода Вишнев-

ского «Последний решительный» матросы и пограничники на сцене отражали атаку наступающих фашистов, стреляя в зрительный зал из настоящего пулемета и из винтовок холостыми патронами. Пальба длилась довольно долгое время, до тех пор, пока всех действующих лиц не убивали. Но еще до этого момента из зрительного зала выносили женщин, упавших в сбмрок и успокаивали тех, у кого от испуга случился припадок истерии. Справедливость требует отметить, что все это происходило только на генерельной репетиции. Главрепертурком, конечно, запретил пальбу и на премьере пришлось ограничиться мирной бутафорской стрельбой при помощи трещеток и больших барабанов.

Вообще, я мог бы теперь сказать с полной объективностью, что нигде заграницей — ни в Европе, ни в Америке — я не находил в театрах, культтивующих современный стиль спектакля, режиссерских приемов и нововведений, которые не были бы в свое время уже осуществлены или, по меньшей мере, намечены к осуществлению Мейерхольдом в его театре в Москве.

Мейерхольд был в искусстве художником смелым, честным и последовательным. Это был человек саркастического ума и иногда злой иронии. К инакомыслящим он относился нетерпимо. Характер имел жестокий, зачастую неприятный для тех, кому приходилось с ним иметь дело. В своем театре он был полновластным диктатором. Когда он входил в репетиционный зал, раздавалась команда помощника режиссера: «Встать! Мастер идет!» И актеры и присутствовавшая в зале публика обязаны были вставать. Однажды он поссорился с одним из своих помощников режиссера (по имени Исаак Мохамед) и уволил его, запретив ему раз и навсегда переступать порог театра. Мохамед поступил к нам в театр Вахтангова, спокойно работал и вскоре забыл о своем конфликте с Мейерхольдом. Раз как-то, года через два после этого, пошел Мохамед смотреть генеральную репетицию новой постановки своего бывшего шефа. Он предъявил, как обычно, билет при входе в зал, вошел и сел на свое место. Уже зажглись огни рампы, когда открылась одна из боковых дверей и в зал быстрыми шагами вошел Мейерхольд.

— Кто впустил Мохамеда? — раздался его резкий голос в наступившей тишине. — Я спрашиваю, кто впустил Мохамеда? — повторил он. К нему подбежали контролеры билетов. — До тех пор, пока Мохамед не выйдет из зала, спектакль начат не

будет! — кричал он. Мохамед встал и молча вышел. Он говорил мне потом, что если ему надо было пройти по Тверской мимо Мейерхольдовского театра, он обязательно переходил на другую сторону улицы.

И сам Вахтангов и его ученики относились к Мейерхольду с огромным уважением. Мейерхольд тоже к нашему театру относился гораздо более снисходительно, чем ко многим другим. В конце двадцатых годов его даже приглашали вахтанговцы поставить у нас один из спектаклей и он ответил согласием, чего никогда не делал для других театров. Лишь его неожиданный отъезд заграницу помешал ему осуществить эту постановку.

Взаимно благожелательные отношения между Мейерхольдом и вахтанговцами продолжались вплоть до одного из вечеров весной 1930 года. В этот вечер Мейерхольд, вместе со своим приятелем — литератором Волковым, пришел смотреть у нас «Коварство и любовь». Романтический, изящный и сентиментальный спектакль Акимова пришелся не по вкусу вождю революционного театра. Зрелище трогательной любви Фердинанда и Луизы, представленное в стиле старинных саксонских миниатюр, даже настолько возмутило Мейерхольда, что он не смог сдержать своего негодования и вышел из границ такта иличного поведения. Он так громко выражал свое возмущение Волкову во время действия пьесы, что на него оборачивались и негодующие шикали соседи из публики.

— Какая дрянь! Пошлияки!.. Слюнтяи! Мещанство!.. — кричал Мейерхольд забывшись, громко на весь зал. В антракте к нему, как обычно, почтительно подошли режиссеры и попросили его пройти за кулисы и высказать исполнителям его мнение о спектакле. Злой Мейерхольд молча встал и пошел за кулисы. Но, вместо объективной критики, он обрушил на актеров град самых резких и обидных выражений. Он начал просто ругаться. Особенно досталось от него Акимову. Долго молча слушали вахтанговцы разбушевавшегося мэтра, пока, наконец, не раздался голос нашей актрисы Елизаветы Алексеевой, женщины решительной и смелой:

— Что же вы все стоите и молчите?! Тут оскорбляют нашего режиссера, хамят с нашими актерами, а мы стоим и молчим? Да как вы смеете так себя вести в нашем театре?! — закричала сна на опешившего Мейерхольда. — Убирайтесь вон и не приходите к нам никогда!

Смертельно обиженный Мейерхольд ушел и разорвал дипломатические отношения с нами навсегда. Он присыпал обратно

билеты на генеральные репетиции, которые ему продолжала посыпать наша дирекция. Среди наших актеров избегали даже произносить его имя.

С середины тридцатых годов, когда уже наметился стиль социалистического реализма и сформировались официальные вкусы в искусстве, Мейерхольда понемногу начали травить сверху и только что организованный Комитет по делам искусств сразу установил с ним плохие отношения. Это учреждение и было создано для того, чтобы приказывать и командовать, а Мейерхольд не хотел и органически не мог позволить, чтобы им кто-то командовал. И тут к его творческому самолюбию большого, знающего себе цену мастера, примешивался и егоственный строптивый характер. Но Комитет был сильнее и на Мейерхольда сыпались одна неприятность за другой. Его почитатели, из числа старых соратников Ленина, уже не могли ему ничем помочь. Под ними самими уже колебалась почва. Спектакли Мейерхольда теперь часто браковались и запрещались. Впустую затрачивались большие усилия и средства. Огромное новое здание, которое начали строить для его театра в 1934 году на Триумфальной площади, осталось стоять незаконченным. Было приказано постройку прекратить. Это был особенно большой удар для Мейерхольда. Именно в этом новом театре, выстроенным по его собственным планам и указаниям, собирался он осуществить свои большие творческие замыслы. Кроме всех обычных новейших достижений технического оборудования сцены, должен был быть в нем применен впервые ряд совершенно оригинальных усовершенствований. Так, например, сцена была подвижная. Она могла быть перенесена в центр зала в течение одной минуты. Кресла для зрителей предполагались вертящиеся, так что зритель мог удобно наблюдать действие в любой части зала.

К 1936 году гонение и нажим на Мейерхольда достигли большой остроты. И именно в этом году он поставил пьесу Александра Дюма-сына «Дама с камелиями» со своей женой — красивой актрисой Зинаидой Райх в заглавной роли. Был ли этот спектакль дерзким вызовом Комитету по делам искусства? Или это был каприз большого мастера? Или, может быть, дань новым настроениям, смутной тревоге, предчувствию скорого трагического конца? Во всяком случае, было создано прекрасное произведение театрального искусства — неожиданное и необычное для всей творческой деятельности Мейерхольда. И как поражены были москвичи, увидев на сцене знакомого им «левей-

шего из левых» театра трогательную поэму любви, поставленную с изысканным вкусом, с тончайшим ощущением образов и духа Парижа середины прошлого века. Спектакль был поставлен в строгом и сдержанном стиле. Это был нарядкость аристократический спектакль и это была классика, но не классика широких ярких мазков, открыто проявляемых чувств, бьющих через край страстей. Это был не Бальзак, но Меримэ, не картина, написанная масляными красками, а скорее превосходная гравюра — скромная по тону и колориту, но не менее, а часто и более выразительная для ценителя тонкого и культурного. Мейерхольд нашел мизансцены предельно четкие и скучные, стиль и манеру игры актеров — исключительной сдержанности — на грани схематизма, но никогда не переходящие эту грань. И это потрясало не менее, а может быть и более, нежели бурный темперамент актеров реалистической школы. Декорации спектакля были также скромны и строги. Интересно отметить, что картины пьесы были обставлены не обычной бутафорской обстановкой, а подлинной. Актеры играли в окружении прекрасных настоящих старинных вещей эпохи Дюма-сына — второй империи: мебель красного дерева, старинные севрские вазы, серебряный туалетный прибор на туалетном столе в спальне, дивная шкатулка ручной работы на столе в гостиной.

Когда Мейерхольда спросили, не думает ли он, что можно было бы обойтись и обычной бутафорией, так как зритель из зала все равно не отличит подлинную обстановку и настоящие вещи от подделки и не оценит их, то Мейерхольд ответил так: — Зритель не оценит, но зато оценят актеры. Чудесные старинные вещи, сделанные много лет тому назад, каких уже не умеют делать теперь — заключают в самих себе дух минувшей эпохи. И актеры, находясь в окружении этих вещей, скорее почувствуют образы и страсти былого и вернее передадут их. А вот уж это заметит и оценит зритель. — Это были странные слова в устах вождя левого театра, коммуниста, агитатора и революционера, каким все считали Мейерхольда. «Дама с камелиями» имела огромный успех. Москвичи 1936 года ходили на этот спектакль, чтобы поплакать над старинной сентиментальной мелодрамой, чтобы посочувствовать личной трагедии, каких уже не было в окружающей жизни, ибо кругом бушевали трагедии и страсти совсем другого рода. И надо прямо сказать, что в это время, на пороге 1937 года, мейерхольдовская «Дама с камелиями» была самым несовременным, самым далеким от советской действи-

тельности и от нового стиля сталинской эпохи спектаклем, в репертуаре всех без исключения театров Москвы.

В то же, примерно, время Мейерхольд ставит «Пиковую Даму» Чайковского в Ленинградском Малом оперном театре. И в этой своей второй «Даме» он также создал спектакль большого очарования, спектакль тонкий и талантливый, исполненный глубокого пессимизма, настроений сумрачных и трагических.

Так позволила великодушная судьба большому художнику пропеть перед гибелю две прекрасные лебединые песни, какими оказались мейерхольдовские «Дама с камелиями» и «Пиковая Дама».

Статья в «Правде» — «Чужой театр» была жестоким ударом по Мейерхольду. В ней обвинялся он во многих грехах. Он оказывался отцом формализма в советском театре. Он оказал вреднейшее влияние на многих режиссеров и задержал развитие всего театра по линии социалистического реализма. Он оказался проводником враждебных антисоциальных тенденций и т. д. и т. п. Вспомнили ему и «Самоубийцу», и «Даму с камелиями», и «искажение классического наследия». Вспомнили и самое тяжелое его преступление — то, что свой спектакль «Земля дыбом» (поставленный в 1921 году) он «не случайно» посвятил «презренному врагу народа Троцкому».

Через несколько дней после опубликования статьи последовали «оргвыводы». Было опубликовано постановление правительства о немедленной ликвидации театра Мейерхольда. Комитет по делам искусств, в день опубликования приказа, отдал распоряжение провести во всех театрах Советского Союза митинги, на которых актерам и режиссерам предлагалось открыто осудить Мейерхольда и одобрить правительственный приказ. В тот же день у нас в театре состоялся митинг. Молча собирались вахтанговцы в нашем желтом фойе. Настроение было у всех подавленное. Друг с другом старались не разговаривать. Предстояло осудить уже осужденного и уничтоженного Мейерхольда. Казалось бы, что для вахтанговцев это было делом нетрудным: ведь речь шла о режиссере, отношения с которым были вот уже в течение семи лет самые скверные, который когда-то оскорбил наш театр жестоко и несправедливо. К тому же и творческие принципы Мейерхольда и весь его стиль были во многом чужды вахтанговцам. И разве трудно было, принимая во внимание все это, бросить в него несколько лишних камней?

За столом, покрытым красным сукном, расположился президиум митинга: специально присланный чиновник из Комитета по делам искусств, секретарь театральной парторганизации — парикмахер Ваня Баранов, директор театра Ванеева, заведующий художественной частью Кузя и еще два-три видных актера. Ваня Баранов открывает собрание и дает слово чиновнику из Комитета по делам искусств. Тот читает правительственный приказ от начала до конца и сопровождает его соответствующими комментариями. Он заканчивает словами: — Комитет по делам искусств не сомневается, что творческие работники театра имени Вахтангова целиком и полностью присоединятся к мудрому решению правительства о ликвидации враждебного советской общественности театра Мейерхольда!

Баранов открывает «прения».

— Кто хочет высказаться, товарищи?

Молчание. Проходит минута.

— Кто просит слова, товарищи? — Опять молчание. Еще одна томительная минута. Напряжение нарастает. Баранов что-то шепчет чиновнику из Комитета, тот наклоняется к Кузе и что-то тихо говорит ему, прикрывая рот рукой. Кузя отрицательно качает головой. За столом президиума полное замешательство. Наша директорша Ванеева сидит, точно окаменев, бесмысленно уставившись глазами в одну точку. Кажется, что вот-вот ее хватит апоплексический удар. Партийцы перешептываются. Актеры молчат, как будто набрали в рот воды. Наконец, Баранов объявляет: — «Я хочу сказать». Он начинает говорить и минут десять повторяет в разных вариантах фразы из приказа и статьи «Правды». Закончив и снова пошептавшись с чиновником из Комитета, Баранов объявляет: — Общее собрание считается закрытым. Резолюция еще не вполне готова и поэтому не может быть зачитана сейчас. Она будет зачитана позже... — Мы все молча расходимся.

Так же прошли подобные собрания и в других лучших театрах Москвы. Нигде не находились желающие выступать, везде царило молчание многозначительное и демонстративное. Но было и одно исключение: на собрании театра МОСПС после зачитания приказа и открытия прений, раздался голос: — Я прошу слова! — Со своего места поднялся молодой режиссер Червинский (фамилия вымышленна). — Пожалуйста, товарищ Червинский, прошу... — обрадовалось партийное начальство за столом президиума. Червинский медленно подошел к столу и повернулся лицом к сидящим в зале.

— Товарищи, — сказал он громким звёнящим голосом, — сегодняшний день навеки явится самым черным днем в истории советского театра. Сегодня закрыт театр величайшего режиссера нашего века, — Всеволода Эмилиевича Мейерхольда. Нет слов...

— Лишаю слова! — отчаянно закричал председатель, изо всех сил звоня в колокольчик. Червинский умолк. Он опустил голову и быстро вышел из зала. Через несколько дней после собрания в нашем театре, были сняты со своих постов за «совершенно неудовлетворительное состояние политко-воспитательной работы среди коллектива творческих работников» наш секретарь парторганизации Ваня Баранов и наша директорша Ванеева — старая приятельница Ленина. Ваня Баранов опять занялся своим прямым делом — причесыванием актеров и надеванием на них париков. Ванеева же ушла из театра и дальнейшая судьба ее не дает повода для оптимистических предположений.

Самого Мейерхольда не арестовали после закрытия его театра. Он просто попал в тяжелую опалу и присоединился, таким образом, к бывшему уже полтора года в опале — Шостаковичу. Надо сказать, что это были два первых случая в истории искусства Советского Союза. И раньше бывали отдельные аресты, увольнения, но официальных опал не было. Не было такого положения, чтобы тот или иной видный деятель искусства был открыто осужден правительством за несозвучие его творчества с генеральной линией партии в области искусства. И эти опалы, как новое средство насилиственного давления на творчество, были, бесспорно, признаком того, что процесс тоталитаризации искусств вступил уже в заключительную свою fazu.

То великодушное сочувствие, которое выказали Мейерхольду театры Москвы, носило, конечно, вполне платонический характер. Помочь ему никто ничем не мог. На работу его принять без разрешения правительства никто не имел права. Это грозило бы огромными неприятностями смельчаку, да и вообще представлялось совершенно невозможным и бессмысленным. Но, к чести русских людей искусства, такой смельчак, совершивший невозможное, все-таки нашелся. И нельзя без волнения вспомнить об этом акте величия духа и бесстрашния в годину самого жестокого террора в истории Советского Союза. Старый Станиславский, уже давно отстранившийся от дел Художественного театра, подал руку помочи опальному Мейерхольду. Великий

деятель реалистического театра пришел на помочь своему ярому противнику на фронте искусств, вождю левого антиреалистического театра. Оба они были больше художники — честные, смелые и непреклонные в своих художественных убеждениях. Оба отдали всю свою жизнь без остатка настоящему большому искусству — тому искусству, которое, как говорится в старой театральной поговорке, «не прощает измен».

Станиславский позвал Мейерхольда и предложил ему место предподавателя и режиссера в своей театральной студии.

— В Художественном театре я уже больше не хозяин, Все-волод Эмилиевич, — сказал великий старик, — а вот в студии еще пока распоряжаюсь. И это место — все, что я могу сейчас вам предложить.

Мейерхольд принял предложение с радостью, а еще через некоторое время Станиславский предложил ему постановку новой оперы в своем оперном театре-студии.

— Так ведь сейчас же никто не захочет идти смотреть мой спектакль, — сказал опальный режиссер своему покровителю.

— Опера наша провалится, Константин Сергеевич.

— Вы слишком плохого мнения о москвичах, Все-волод Эмилиевич, — ответил Станиславский Мейерхольду. — В таком большом городе, как Москва, всегда найдется насколько сот настоящих любителей искусства, которые придут на ваш спектакль и оценят его.

У нас в театре имени Вахтангова эти переговоры были предметом глубокого и искреннего восхищения и сочувствия. Все плохое в Мейерхольде было забыто. Для всех нас он стал великим режиссером, жертвой борьбы за настоящее свободное искусство, каким еще недавно был русский театр и каким он перестал быть на наших глазах. Те, которые были непримиримыми творческими противниками Мейерхольда, сейчас доброжелательно молчали. Остальные же не стеснялись говорить открыто и прямо о том, что было на душе. Много еще честных людей искусства оставалось в России в 1937 году.

Между тем ежовщина продолжалась и темпы ее все нарастали. Расстреляли Тухачевского и других лучших генералов Красной армии. Офицеров арестовывали тысячами. «Большие процессы» были в разгаре. На утро шопотом передавали об арестах лиц, еще вчера бывших на вершине власти. Аресты же

простых смертных не поддавались никакому учету. Исчезали по ночам партийцы всех рангов, инженеры, врачи, учителя, студенты, служащие и рабочие... Кругом воцарилось какое-то безумие.

Работников искусств Москвы аресты коснулись сравнительно меньше, чем других кругов населения, но и среди них оказались жертвы. В особенности пострадали те довольно многочисленные актрисы, которые были женами высокопоставленных лиц, оказавшихся теперь «врагами народа». В Большом театре арестовали и вскоре расстреляли певицу Михайлова — жену маршала Буденного. Арестовали и сослали в концлагерь художественную руководительницу Центрального детского театра — талантливую актрису и режиссера Наталию Сац, жену маршала Тухачевского. В Камерном театре арестовали жену заместителя начальника Воздушных сил Красной армии Малиновского — одну из очаровательнейших женщин Москвы, актрису Зою Смирнову. У нас в театре арестовали Валентину Вагрину — самую красивую женщину среди всех наших актрис. За несколько недель до ее ареста я сидел на веранде нашего дома отдыха «Плесково» с одной из наших видных актрис и разговаривал с нею на тему о счастьи.

— Все мы, вахтанговки, какие-то несчастные. У каждой из нас есть своя личная драма, — говорила мне моя собеседница. — Либо мы любили и нам не отвечали взаимностью, изменяли и бросали нас. Либо нас любили безумно, а мы ненавидели... И есть среди нас одна только действительно счастливая женщина — это наша Вавочка Вагрина. Вот уж кому природа дала все, что только могла дать. И красавица она, каких мало, и муж у нее молодой, умный и богатый, и любит он ее необыкновенно — прямо боготворит, и она его любит. И квартира у них чудесная, и автомобиль. Одних меховых шуб у нее десять штук! И актриса она талантливая, и человек она добрый и милый и весь театр ее любит. И за что только ей все это дано?..

Действительно, все это была правда. Муж Вагриной — Давид Калмановский был председателем Союзпромэкспорта; он часто ездил заграницу в служебные командировки, откуда привозил своей красавице жене десятки ящиков подарков. В первой половине тридцатых годов Вагрина была самой элегантной дамой в Москве, обладательницей огромного гардероба великолепных парижских туалетов. Но тогда в разговоре на веранде моя собеседница сглазила Вавочку. Осенью 1937 года арестовали Калмановского, а вместе с ним, в ту же ночь, и его жену. Са-

мого его вскоре расстреляли, а Вавочку сослали в концлагерь. Зыбко счастье в Советском Союзе!

Примерно в это же время (осенью 1937 года) был арестован у нас в театре один молодой актер, носивший громкую фамилию Троцкий. История его ареста была столь оригинальна (а может быть, наоборот — столь обыкновенна), что на ней стоит остановиться.

Желая подработать немного сверх своего скучного театрального жалованья (Троцкий был так называемым сотрудником, т. е. актером в массовых сценах и получал совсем мало денег), молодой человек подрядился раскрашивать стены в клубе московского завода имени Горбунова. Раскрашивая стены одной из комнат, он снял висевший в ней портрет Сталина и поставил его на пол, прислонив к стене, а поверх него поставилrepidуцию с картины Репина «Бурлаки», и еще какие-то другие картины, висевшие в той же комнате. На беду Троцкого, в этот момент вошел начальник клуба и сразу же заметил возмутительное непочтение, оказанное портрету великого вождя. Начальник тут же на месте арестовал Троцкого, вызвал по телефону НКВД и через полчаса молодого человека увезли. Когда вахтантговцы через несколько дней попробовали было навести справки на Лубянке о бедном Троцком, то о нем не стали даже и спрашливаться, а ответили, что человек, носящий презренную фамилию злейшего врага советского народа и до сих пор не удосужившийся ее переменить, не может не быть сам врагом народа.

Вообще же в 1937 году оборвались все огромные связи нашего театра в правительственные и высших партийных кругах. Все наши наиболее влиятельные покровители оказались арестованными и, в большинстве своем, расстрелянными. И Енукидзе, и Сулимов, и Агранов, Рудзутак и много, много других, включая и главного начальника милиции Советского Союза Маркарьяна, который за два года до того разрешил моей матери жить в Москве. Кончилась наша привольная жизнь. Кончились связи, к которым так часто приходилось прибегать за помощью. Кончились привилегии и преимущества нашего положения. С Олимпом приходилось возвращаться на землю — полную опасностей и неприятных случайностей — советскую землю 1937 года. Еще за год до того красавица Вагрина не сидела бы и трех дней в НКВД. Моментально позвонили бы, попросили бы кого следует, нажали бы где нужно и вышла бы наша Вавочка на свободу, да еще домой бы привезли на автомобиле, да еще и извинились бы... А теперь, при Ежове, порядки стали уже не те. Попробо-

вали было вахтанговцы сунуться куда-то в сферы по старинной привычке, но там им что-то такое ответили, от чего все наши руководители целую неделю ходили какие-то встрепанные, избегая смотреть на нас. Арестовали также и нашего нового секретаря парторганизации, присланного из московского комитета партии совсем недавно на место Вани Баранова. Новый секретарь, по фамилии Егизаров, был человек бойкий и довольно интеллигентный, но рост имел маленький, а ноги совсем коротенькие. Вероятно, это обстоятельство и послужило причиной того, что на другой же день после его ареста по театру стал распространяться слух, что Егизаров был японским шпионом, природным японцем по национальности. Каким, все-таки, приходилось быть бдительным, чтобы не попасть впросак! Все мы были убеждены, что Егизаров — самый что ни на есть настоящий армянин, а он оказался японцем!

К 1937 году относится гастрольная поездка Художественного театра в Париж на международную выставку. Конечно, со стороны устроителей выставки было в высшей степени бес tactно устраивать ее именно в 1937 году и, тем самым, ставить советское правительство в затруднительное и неловкое положение. Как раз в этом году кишел Советский Союз миллионами шпионов и всякий контакт советских граждан с иностранным миром представлялся особенно нежелательным и опасным. Но терять государственный престиж все-таки было нельзя, и советских артистов пришлось послать на выставку в Париж. Художественный театр показал в Париже три спектакля: инсценировку «Анны Карениной», «Враги» Максима Горького и «Любовь Яровую» Тренева и блестательно провалился. И мало кто знает, что одним из главных непосредственных виновников этого провала был никто другой, как сам Сталин лично. Художественный совет театра выбрал для парижского турне репертуар гораздо более тонкого вкуса и лучшего качества, нежели три упомянутых пьесы. Директор театра Аркадьев утвердил этот репертуар и представил в Комитет по делам искусств, который его в свою очередь утвердил. И только после этого окончательного утверждения узнал Сталин о парижском репертуаре своего любимого театра. Сталину репертуар не понравился. Он нашел его слишком аполитичным и недостаточно пропагандным. Аркадьев был тотчас же арестован, а репертуар был изменен и из трех спек-

таклей два оказались вполне пропагандного характера, а третьим была «Анна Каренина» — любимый спектакль Сталина. Но увы, вкусы парижан оказались отличными от вкусов вождя Советского Союза, и провал Художественного театра был полный. Правда, было бы несправедливо сваливать причины провала только на репертуар. Конечно, главным было то, что Художественный театр, как и все другие лучшие русские театры, к 1937 году завершил путь своей идейной и художественной деградации. К этому времени он успел растерять в своем творчестве честность, правду, искренность и свободу. И его, некогда высокое, искусство превратилось в простоте ремесленничество, хотя в этом ремесленничестве и участвовали блестящие мастера своего дела, какими еще бесспорно оставались актеры Московского Художественного театра.

В ночь на 20 декабря 1937 года наш театр выехал на кратко-временные гастроли в Ленинград. На следующий день мы узнали, что вагон с нашими декорациями застрял где-то по дороге, и первый ленинградский спектакль состояться не может. Таким образом, вечер 21 декабря 1937 года оказался у нас свободным. И именно в этот вечер состоялась в Ленинграде премьера новой симфонии Шостаковича. Это была его Пятая симфония.

Еще с весны 1937 года опальному Шостаковичу предоставлена была возможность давать его новые сочинения для исполнения оркестру ленинградской филармонии. Правительство руководствовалось, в данном случае, совершенно правильным соображением, что одно единственное исполнение симфонического произведения никогда не получит большой огласки среди широких масс, если не будет поддержано критикой, и не представит почти никакой опасности в политическом смысле. Зато такое исполнение позволит наблюдать за творческой эволюцией композитора в желательную для правительства сторону, что, конечно, крайне важно.

Еще весной 1937 года дал Шостакович оркестру для разучивания свою Четвертую симфонию, но, после первой же репетиции, он взял назад партитуру и голоса и разорвал их. Четвертой симфонии Шостаковича не существует. И вот теперь, к концу года, он написал еще одну симфонию — Пятую. И эту симфонию мы имели возможность услышать вечером 21 декабря 1937 года. В сравнительно небольшом зале — бывшем зале ассоциа-

ции камерной музыки — собрался цвет интеллигентии Ленинграда. Было много писателей и поэтов, музыкантов и артистов, ученых и военных. Зал был набит битком. Молодежь стояла в проходах у стен. При помощи наших ленинградских знакомых, мы получили много билетов и человек тридцать из нас, вахтанговцев, присутствовало на концерте. Помню, в первом отделении превосходный оркестр ленинградской филармонии под управлением Евгения Мравинского играл Вагнера. Так как всю предыдущую ночь в вагоне поезда я играл с товарищами в шахматы и совершенно не спал, то мне большого труда стоило не заснуть под звуки «Шелеста леса» из оперы «Зигфрида», и «смерти Изольды». Но вот, после антракта, опять поднялся Мравинский на дирижерскую эстраду, поднял палочку и начал, первое в мире, исполнение Пятой симфонии Шостаковича.

Когда я потом старался понять причину того потрясающего впечатления, которое произвела эта превосходная симфония на меня и на весь зал, то для меня было бесспорным, что одних ее музыкальных достоинств оказалось бы для этого недостаточно, как бы ни были они велики сами по себе. И, конечно, понадобился целый комплекс событий, фактов и настроений, чтобы прекрасная музыка Пятой симфонии вызвала у слушателей ее такой взрыв восторга, такую невероятную овацию, такую бурю чувств, какие разразились в ленинградском концертном зале 21 декабря 1937 года. Лишь только замолк последний аккорд финальной части симфонии — весь зал дрогнул от аплодисментов и встал. И, стоя, аплодировали бесконечно долго, ни на мгновение не ослабляя аплодисментов. Шостакович выходил на авансцену кланяться бесчисленное количество раз: 10, 20, 40 раз. Он просто ходил, не останавливаясь, от середины рампы до выходной двери на эстраду и сейчас же должен был поворачиваться и идти обратно к рампе. Через полчаса я вышел с моим другом из зала, а овация все продолжалась и Шостакович все выходил и выходил на авансцену.

Долго ходили мы по берегу Невы, потрясенные только что пережитым. Идти в отель спать мы не могли. До сна ли было нам! Конечно, этот небывалый триумф подготовило талантливому композитору само советское правительство своей полуторагодичной травлей его, и своей невежественной критикой его творчества. И собравшиеся в зале представители русской интеллигентии устроили грандиозную демонстрацию — искреннюю и восторженную — не только в знак своего восхищения симфонией, но и в качестве выражения своего глубокого возмущения

нажимом на свободное искусство, в знак солидарности с опальным композитором и сочувствия ему. Когда мы с моим другом возвратились в отель «Астория», где обычно все мы останавливались, было уже около двух часов ночи. Войдя в вестибюль, мы услышали оживленные голоса и стук тарелок из соседнего ресторанных зала. Мы пошли в ресторан. За длинным, нарядно сервированным столом, сидели многие из выдающихся представителей московской и ленинградской художественной интеллигенции. Банquet, судя по всему, начался совсем недавно и все его участники явно находились под властью тех же самых чувств, которые владели мною и моим другом. Сидевший во главе стола знаменитый ленинградский артист В. постучал ножом по тарелке и поднялся с полным бокалом. Все замолчали.

— Позвольте, товарищи, мне произнести тост, — начал он, — ... и хотелось бы мне всю мою совесть — совесть человека, тридцать пять лет жизни отдавшего искусству, все мои чувства, все мои идеалы, все мое сердце — все! — хотелось бы мне вложить в этот мой тост. Бывают, товарищи, большие художники, великие артисты, творческий путь которых усыпан розами и которые легко и свободно идут вперед к успехам и славе. Но есть и другие художники. Путь их тяжел, препятствия поджидает их на каждом шагу, дорога перед ними усыпана терниями. Но, несмотря ни на что, идут они все вперед и вперед к самым сверкающим вершинам настоящего большого искусства. Я предлагаю тост за замечательного советского композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича!

Присутствующие поднялись со своих мест и с волнением подняли свои бокалы. Но, не успели еще их осушить, когда раздался голос Кузы:

— И за другого большого художника — гордость и славу советского театра — за Всеволода Эмилиевича Мейерхольда!

После фурора, произведенного симфонией, опала Шостаковича кончилась. Так было выгоднее для правительства. Шостакович был объявлен перестроившимся. В Пятой симфонии критики нашли обильные залежки и социализма, и реализма. Поистине, музыка — дело темное! И кто мог определить с полной достоверностью, что именно хотел Шостакович изобразить в этом, по существу трагическом произведении, полном внутренних противоречий и глубоких конфликтов. Были ли это чувства восторга

перед «победой социализма в одной стране» или что-нибудь совсем другое?

Как бы там ни было, но с начала 1938 года Шостакович больше не разделял с Мейерхольдом высочайшей немилости. А к лету 1938 года появились признаки ослабления опалы и для Мейерхольда. Комитет по делам искусств решил, что полутородличного срока было вполне достаточно для полной творческой перестройки старого режиссера и для осознания им его собственных ошибок. Пришла пора подумать и о возможном, в недалеком будущем, привлечении его к работе. Изредка в печати стало спроскальзывать его имя уже без приложения суровых эпитетов «формалист», «декадент» и т. д. Раз даже его пригласили на заседание театрального управления Комитета по делам искусств. Мейерхольд вел себя на нем крайнедержанно и скромно, стараясь больше молчать. В июне 1939 года Комитет по делам искусств решил созвать в Москве первый всесоюзный съезд режиссеров. Съезд должен был подытожить достигнутое советским театром за последнее время, окончательно и навсегда поставить его на рельсы социалистического реализма и еще раз осудить формализм. Мейерхольд получил приглашение принять участие в работах съезда и приглашение это он принял.

Когда я попросил у нашего администратора билет на открытие съезда режиссеров, он серьезно взглянул на меня и сказал:

— Советую пойти не на первый день заседания, а на второй. В этот день будет говорить Мейерхольд.

Будет говорить Мейерхольд! — Я взял билет на второй день.

В самый день открытия съезда, 13-го июня 1939 года, мы узнали о неожиданном изменении в программе заседаний. Еще задолго до этого дня было объявлено во всех газетах, что участники съезда прослушают три доклада: режиссера А. Д. Попова, артиста Михоэлса и заведующего театральным управлением Соловьевникова. Велико было удивление москвичей, когда оказалось, что все три оратора были заменены одним единственным. Правда, этот единственный докладчик был бесспорно самым главным «режиссером» Советского Союза и наиболее выдающимся знатоком «социалистического реализма». Это был сам Вышинский.

Однако, в повестке второго дня работ съезда изменений не предполагалось и выступления Мейерхольда все ждали попрежнему.

Идя в Дом актера, где происходили заседания, я вспомнил Пятую симфонию Шостаковича. Сейчас и Мейерхольду предстояло выступить с его «Пятой симфонией». Но только его «симфония» была много труднее... Шостакович написал хорошую музыку. Ее сыграли и похвалили. И подвели под нее ту программу, которую было выгодно подвести, ибо музыка, все-таки, дело темное. А что мог сделать Мейерхольд? И были ли у него вообще какие-либо возможности, кроме одной единственной возможности — жестокой и унизительной. Ему предстояло во всеуслышание зачеркнуть все сделанное им за его творческую жизнь и признать правоту его судей. И сделать это в форме открытой и недвусмысленной. Ибо речь, слово — всегда ясны и не могут быть истолкованы двояко. И вот смотреть на это унижение большого мастера я и шел на съезд режиссеров. Что это было с моей стороны? Нездоровое любопытство, подобное тому, которое влечет людей смотреть на казнь? Или сочувствие затравленному старику? Странное дело, я испытывал тогда какое-то очень неясное чувство надежды. Но на что? Я бы не мог ответить на этот вопрос.

Зрительный зал Дома актера был полон. На сцене стоял стол президиума съезда, покрытый, как обычно, красным сукном. Слева — кафедра для ораторов. В глубине сцены — огромный, окруженный цветами бюст Сталина. Уже после моего прихода члены президиума заняли свои места за столом и председатель объявил очередное заседание открытым. Первые два оратора — режиссеры из провинции — очень бойко, в сильных выражениях говорили об огромных достижениях советского театра за истекший сезон и горячо благодарили за это великого покровителя и друга советского театра — товарища Сталина. После них председатель спокойно объявил: «Слово предоставляется Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду».

Опять я вспомнил «Пятую Симфонию», когда дрогнул зал от грома аплодисментов. Со своего места в зале поднялся невысокий человек с большой шевелюрой седых волос, с характерным профилем. Со старым портфелем в руке идет он на сцену. Овация не умолкает. Мейерхольд неподвижно стоит на кафедре с каким-то усталым и безразличным видом. Он положил портфель перед собой и спокойно смотрит в зал, выжидая конца овации. А она все не утихает. И даже председатель и члены президиума заразились общим настроением и горячо аплодируют, вместо того, чтобы прекратить явную и очевидную демонстрацию. Наконец, овация кончается так же дружно, как и на-

чалась. В зале становится сразу удивительно тихо. Мейерхольд начинает говорить. Он говорит очень тихо, медленно, голосом глухим и, как вначале показалось, неуверенным. И лишь постепенно загораются его глаза, крепнет и становится уверенным голос. К концу речи в нем звучит сталь. И на сцене стоит уже не усталый старик, безразличный ко всему на свете, а сильный и бесстрашный человек, пламенный художник — неподкупный и непримиримый...

— Я бы хотел выразить мою искреннюю благодарность организаторам первого всесоюзного съезда режиссеров, пригласившим меня принять участие в работах съезда, предоставивших мне возможность выступить на этой трибуне и открыто высказаться о моих творческих принципах и моем отношении к тем многочисленным критическим суждениям, которые были высказаны за последний год по моему адресу. Меня упрекали и упрекают в многочисленных ошибках, которые свойственны моей деятельности театрального режиссера. Я должен сказать совершенно искренно, что я признаю большинство из этих моих ошибок. И вот на них мне хотелось бы остановиться более подробно. С них — моих ошибок — мне хотелось бы сегодня начать.

Меня сурово осудили за то, что я оказывал вредное влияние на ряд молодых советских режиссеров, способствуя этим зарождению в советском театре печального и вредного явления, которое получило остроумное название «мейерхольдовщина». Я очень сожалею, что действительно не выступал достаточно активно и принципиально против многочисленных бездарных и некультурных режиссеров, которые пытались подражать мне, но перенимали лишь форму моего творчества, да и то с грехом пополам, искажая ее, опошляя, не пытаясь даже близко подойти к моим творческим принципам, извращая мои идеи и не постигая моей художественной цели. Эти горе-режиссеры действительно нанесли и наносят большой ущерб советскому театру, создавая спектакли бессмысленные и безвкусные. Я искренне осуждаю их. И если вы называете жалкое творчество этих режиссеров «мейерхольдовщиной», то я, Мейерхольд, горячо выступаю против «мейерхольдовщины». Это первое. Второе: меня жестоко упрекают в извращении мною классического наследия. В том, что я делал непозволительные опыты над бессмертными созданиями Гоголя, Грибоедова, Островского. И в этом обвинении есть истина. Действительно, в некоторых моих инсценировках классических пьес я позволил себе черезчур много экспериментировать, давал излишний простор собственной фантазии, подчас забы-

вая, что художественная ценность самого материала, с которым я имел дело, была всегда и во всяком случае выше всего того, что я бы мог прибавить к этому материалу. И я признаю, что иногда именно в постановках классических пьес мне надлежало больше ограничивать себя, иметь больше творческой скромности. Но все это не относится к моим «Лесу» и «Даме с камелиями». Я убежден, что эти спектакли были хороши и то, что я внес в них моего, только помогло советскому зрителю понять содержание и идею этих пьес и сделало их более интересными и привлекательными. Это второе. И, наконец, третье: меня упрекают в том, что я формалист, в том, что я в моем творчестве, в погоне за новой оригинальной формой, забывал о содержании. В поисках средств забывал о цели. Это серьезное обвинение. Но вот с ним я могу согласиться только отчасти. Действительно, в течение моей творческой биографии я поставил несколько спектаклей, в которых мне хотелось проверить некоторые мои, незадолго до того найденные, идеи и мысли именно в области театральной формы. Это были экспериментальные спектакли. В них, действительно, форма занимала главное место. Но таких спектаклей было не много. На одной руке хватило бы пальцев, чтобы их пересчитать. Да разве мастер (а я все-таки имею смелость считать себя таковым) не имеет права на эксперименты? Разве он не имеет морального права проверять свои творческие идеи — пусть даже оказавшиеся ошибочными — на опыте? И разве, в конце концов, не имеет он права на ошибки? Ибо все смертные имеют право на ошибку, а я такой же смертный, как и все остальные. Но такие проверки, такие эксперименты, которые в самом деле заслуживают названия формалистических, я допускал крайне редко. Все же остальное мое творчество было лишено формализма. Наоборот. Все мои усилия были направлены на поиски органической формы для данного содержания. Я позволю себе утверждать, что мне часто удавалось находить эту органическую форму, вполне соответствующую содержанию пьесы. Но это была всегда моя форма — форма Мейерхольда, а не форма Сидорова, Петрова или Иванова, и не форма Станиславского и не форма Таирова. И она, эта форма, носила все черты именно моей творческой индивидуальности. Но разве это есть формализм? Что такое вообще формализм, по вашему мнению? Я бы хотел задать также и обратный вопрос: что такое антиформализм? Что такое социалистический реализм? Вероятно, именно социалистический реализм является ортодоксальным антиформализмом. Но я хотел бы поставить этот вопрос не толь-

ко теоретически, а и практически. Как вы называете то, что происходит сейчас в советском театре? Тут я должен сказать прямо: если то, что вы сделали с советским театром за последнее время, вы называете антиформализмом, если вы считаете то, что происходит сейчас на сценах лучших театров Москвы, достижением советского театра, то я предпочту быть, с вашей точки зрения, «формалистом». Ибо по совести моей я считаю происходящее сейчас в наших театрах страшным и жалким. И я не знаю, что это такое — антиформализм или реализм, или натурализм или еще какой-нибудь «изм». Но я знаю, что это бездарно и плохо. И это убогое и жалкое нечто, претендующее называться театром социалистического реализма, не имеет ничего общего с искусством. А театр — это искусство! И без искусства нет театра! Пойдемте по театрам Москвы, посмотрите на эти серые скучные спектакли, похожие один на другой и один хуже другого. Трудно теперь отличить творческий почерк Малого театра от театра Вахтангова, Камерного от Художественного. Там, где еще недавно творческая мысль была ключом, где люди искусства в поисках, ошибках, часто оступаясь и сворачивая в сторону, действительно творили и создавали — иногда плохое, а иногда и великолепное, там, где были лучшие театры мира — там царит теперь, по вашей милости, унылое и добропорядочное среднеарифметическое, потрясающее и убивающее своей бездарностью. К этому ли вы стремились? Если да, — о, тогда вы сделали страшное дело. Желая выплеснуть грязную воду, вы выплеснули вместе с ней и ребенка. Охотясь за формализмом, вы уничтожили искусство!

Ему дали договорить. Может быть потому, что в зале сидели люди искусства, да и в президиуме съезда тоже. Но вероятнее всего потому, что была получена сверху директива — дать Мейерхольду возможность высказаться. «Пятая симфония» была доиграна до конца. Только последствия оказались другими, чем у Шостаковича. На другой же день Мейерхольд был арестован и канул в небытие. Через несколько недель после его ареста была зверски убита у себя на квартире его жена — актриса Зинаида Райх. Убийцы нанесли ей семнадцать ран ножом. После убийства дом оставался окруженным милицией в течение многих

дней. Квартира была опечатана НКВД. Все имущество конфисковано.

В «Правде» от 15 июня 1939 года можно найти краткое сообщение о выступлении Мейерхольда на съезде режиссеров. Но это был единственный недосмотр. Нигде после этого, ни в одной из советских газет нет даже упоминания имени Мейерхольда. Нет его имени и в книге о первом съезде режиссеров, изданной в Москве осенью 1939 года. Потому что имя Мейерхольда для советской власти стало в ряд с самыми опасными и ненавистными из имен.

Мейерхольд был и по своим политическим убеждениям и по направлению своего творчества одним из наиболее ярких представителей тех и по-сейчас весьма многочисленных во всех странах мира деятелей модернистического искусства, которые искренне считают себя левыми и прогрессивными. И они, без сомнения, таковыми и являются. Но советское правительство и советская критика их таковыми не считают. Наоборот, они считают их формалистами и реакционерами в искусстве. И поэтому эти деятели левого искусства являются собой сейчас во всем мире странную и печальную картину. Это — как бы любящие без взаимности. Они любят коммунизм и советскую власть искренне и преданно. А советская власть отвечает на их любовь самой лютой ненавистью. Ничто так не ненавидит советская власть в искусстве, как все проявления и все виды модернизма. Ненавидит советская власть и Пикассо. Много погромных статей посвящено его творчеству в советской прессе. А сам Пикассо сочувствует коммунизму и очень активно. В 1948 году обрушила коммунистическая итальянская газета уничтожающую статью на итальянских скульпторов-модернистов. А скульпторы-то оказались все сами коммунистами и долго не могли понять — как мог их постигнуть такой жестокий удар со стороны их же единомышленников.

То же было с Мейерхольдом. Но когда настал его решительный час, то у него нашлось большое мужество не унизиться перед невеждами и предпочесть славную гибель. У многих ли его единомышленников достанет этого мужества, когда придет их решительный час?

За несколько месяцев до ареста Мейерхольда, 6 августа 1938 года, умер Станиславский. Перестройка советского театра на

базе социалистического реализма была, в основном, законченна. Отдельные уклоны и сдвиги, которые иногда имели место в течение последующих десяти лет, уже не могли ничего изменить и не представляли большой опасности для театральной политики советского правительства.

ОБРЕТШИЕ СЛОВО

(Сопроводительный очерк)

1

Мир идей для литературного искусства — это питательная среда, литература не может быть вполне безыдейной. Это не значит, что непременно нужно что-то проповедывать в прозе и стихах, но ни в музыке, ни в архитектуре, ни в живописи мысль так не преобладает над чувством, как именно в литературе.

Это и составляет для литератора соблазн: так легко, незаметно для самого себя, начать излагать в художественных образах свое «Верую»... ан смотришь, художественность и поблекла, заволоклась идеинным туманом, а «Верую», оказывается, гораздо проще и полней можно изложить просто, без всякого художества.

Русские зарубежные прозаики (речь идет о литераторах, пришедших в свободный мир после второй войны или в течение войны) отягощены идеиностью не в меньшей мере, чем их собратья на родине, разница в том, что зарубежнику никто не ставит условием: хочешь писать — пиши так, как тебе укажут. Но и под диктат люди ухитряются писать по-своему (в некоей, неполной мере), и без диктата извне, бывает, повинуются собственному, внутреннему диктату.

В этом нет плохого: Толстой и Достоевский были проповедниками, что не помешало им вырасти в огромных художников. Вопрос, следовательно, не в том, ведут ли зарубежные писатели проповедь — это их личное дело, — а в том, насколько сумели они воспользоваться внешней свободой творчества, без навязанной «линии», без указки и с неограниченным выбором тем и средств.

Русских писателей-послевоенных зарубежников не так много, численно они не могут ити в сравнение с советскими*), которых несколько тысяч, а скинув со счета чиновно-приспособленческий элемент, для которого писательство составляет вид партработы, — все же несколько сот. Каков бы ни был писатель, на каких бы

*) Разделение только условное, ради удобства. Отделять эмигрантскую литературу от отечественной неверно и вредно: обе они составляют литературу русскую и определения «эмигрантский», «советский» могут скорее выражать только дурные качества обеих ветвей.

позициях он ни стоял и к какому бы ни принадлежал течению, — суждение о нем совершается с помощью двух мерок: эстетической (основной и решающей) и моральной. Под последней я вовсе не имею в виду соответствие или несоответствие творчества данного автора какому-нибудь кодексу нравственных правил. Однако, моральная оценка есть существенная часть общей, она отвечает на вопрос что (о чём), и не ответив на этот вопрос, невозможно оценить произведение эстетически, т. е. ответить на главный вопрос: как.

В русском сознании с давних пор укоренилась мысль о том, что писатель есть учитель жизни, властитель душ. Представление ошибочное, происходящее и из особенностей русской психики, и из особенностей русского культурно-исторического пути. Сталин, который, как и вся большевистская старая гвардия, в искусстве понимал мало и судил о нем полу-потребительски («а все-таки превосходно писал Гоголь: редкая птица долетит до половины Днепра. Какая музыка слова!»), полу-партийно («литература должна звать к борьбе, к строительству коммунизма»), сузил назначение писателя до формулы «инженер человеческих душ». В действительности, ни Пушкин, ни Гоголь, ни Толстой, ни Достоевский никогда не были ни учителями жизни, ни властителями душ, равно как ни один из подлинных художников слова в советское время не занимался «душевной инженерией». Учителем жизни был Чернышевский, художественно немощный. Инженером душ был Лебедев-Кумач, типичный версификатор. Настоящие художники в учителя и инженеры не годятся: они сами — мятущиеся, раздумывающие, колеблющиеся, живущие озарениями, догадками, находками. Есть, правда, доброкачественные, средней руки писатели, умеющие и писать приятно, и общественное (или партийное) задание выполнять. Примеры: Фурманов, Вера Инбер, да мало ли их... тоже и в дореволюционной литературе. Прогрессивному русскому обществу все хотелось, чтоб Тургенев, бывший на верхушке российского Парнаса, писал бы как-нибудь вроде позднейших Каронина или Златовратского, но при этом качества не терял. Чехову предъявились подобные же требования: пишете, милстисдарь, остро — ну, что бы вам нашего губернатора обличить?

Есть, конечно, писатели по самому свойству дарования склонные к обличительству и сатире (Щедрин), но, кажется, и самые отъявленные либералы понимали, что невозможно от всех требовать писать по-щедрински.

За рубежом русский писатель последнего (кругло скажем) десятилетия подвержен немалой опасности обличительства и отражательства. «Там мне затыкали рот — зато здесь я скажу всю правду». Очень хорошо, говори, пожалуйста, правду, это очень важно. Но как ты ее скажешь? Не лучше ли написать десяток статей в газетах? Ведь правда, которая при тебе несомненно имеется, огромно велика, и начинать придется с самого начала, пожалуй, со дня твоего рождения и даже раньше — с октябрьской революции. Да, говорит писатель, я уже начал писать эпопею, в ней все будет...

Эпопея несомненно нужна и, конечно, появится «своевременно или немного позже». Можно даже увидеть ее, эту грядущую литературную громаду в «Докторе Живаго» (хотя это скорей, по жанру, лирико-психологическая хроника), но эту книгу написал не эмигрант и даже не внутренний эмигрант: Пастернак им не был, это несовместимо с его творческой индивидуальностью и он резонно вопрошал глупое политначальство: а разве я не мерюсь пятилеткой? Всеобъемлющую книгу писать эмигрантскому писателю не обязательно, но всеобъемлющая тема им действительно владеет — тема России XX столетия.

2

Борис Ширяев (я называю авторов не в каком бы то ни было определенном порядке, а по ходу собственной мысли) в «Неугасимой лампаде» рассказывает о соловецкой ссылке, примерно конца нэповской эпохи, рассказывает очень живописно, лирично, но красок мрачных не разжигает. Соловки, в сравнении с позднейшими, совершенно убийственными концлагерями, еще относительно мягкая каторга. Там есть много страшного, гнусного, душескорбляющего, но все это пока — в пределах человеческого. Позднее человеческое исчезло, заменившись механической системой, где и самая жестокость была заранее учтена и спланирована. Ширяев старательно подбирает искорки душевного добра, свечиющие там и тут, и они, слившись воедино, образуют стойкий огонек, которого не могут угасить ни полярные выюги, ни ядовитые испарения человеческой скверны. Повесть местами слишком чувствительна, слишком детализирована и слишком старательно морализует. Но она не забудется и займет в истории русской литературы надлежащее место — не только потому, что одной из первых обогатила эту литературу советским каторжным сюжетом, а и потому, что в ней явлен давно исчезнувший гуманизм — не горьковско-сталинского типа, а обыкновенный: любовь к человеку.

В сборнике приводится отрывок из повести Б. Ширяева «Кудеяров дуб» (вместе с рядом других произведений — «Последний барин», «Ванька Вьюга», «Овечья лужа» и готовящимся к печати романом «Хорунжий Вакуленко» она составляет большую хронику), повести о российских людях, застигнутых военной непогодой. Сначала они двигаются во взбаламученном быте оккупационных лет. И если совершенно спокойно, беспристрастно сравнить изображение этого быта в советских книгах с изображением его в «Кудеяровом дубе», то за последним останется преимущество: ощущение художественной правды, подлинности. Это — несмотря на то, что Ширяев пишет в манере очень субъективной, близкой к манере В. Немирович-Данченко и А. Амфитеатрова.

Кстати о манере. Послевоенные литераторы зарубежья склонны к доброму старому реализму, и их манера в значительной степени определяется этой склонностью. Среди них до сегодня нет

приверженных к художественному мышлению западноевропейских и американских писателей. По сравнению с В. Набоковым, В. Яновским, даже с В. Варшавским, творчески выросшими на Западе, они кажутся старомодными. В самом деле: вот превосходный писатель Г. Андреев. Как и В. Ширяев и многие другие, он пишет преимущественно о том, что было, что — Россия, в России, о России первой половины нашего века, о лично пережитом и опять-таки постольку лишь в его представлении ценном (мне так кажется. ЮБ), поскольку это пережитое связано с Россией. Много пишет о каторге. Люди у него вполне объемные, весомые, в их реальности не сомневаешься, и когда писатель раскрывает психику своего героя — будь это первое лицо, от имени которого говорит рассказчик, или третье лицо, — чувства, думы и поведение этого героя вызывают в читателе полное доверие. Да, да, все это так. В тюрьме ведут обреченных на казнь, а первое лицо, «я», тягостно-лихорадочно тоскует и страшится, стыдясь своего страха, постепенно от ощущения перехода к размышлению... («Трудные дороги»). Или: антикоммунистический партизан, пустьив в ход военную хитрость, наносит существенный урон советскому отряду, а потом предается рефлексии: имел ли он нравственное право так поступить. В рефлексию эту веришь — рассказ («День гнева») написан мастерски, вопросы, поднятые в нем, остры и важны (типовично русские вопросы!), вообще можно сказать, что этот рассказ — образец слияния эстетического с этикой. Но как будто ты это все где-то читал, и не раз. Причем — не то, чтобы этот тревожащий совесть сюжет кем-то из писателей уже опосредован, нет. — А вот так уже много раз говорилось о таком, о подобном этому. Русский «проблемный» рассказ, Боже мой! Какой это почтенный, славный жанр, и какие прекрасные писатели в нем писали: Гаршин, Короленко, сам Толстой. Да... а вот Чехов не писал — и не зря. Почему это?

Потому, что Чехов — граница между старой и новой литературой. Чехов повлиял на западную литературу (отчасти, — она шла своим путем, но все-таки встреча с Чеховым не минула для нее бесплодно). В русской литературе Чехов имел много подражателей, но мало последователей; в ней необыкновенно живучая дочеховская традиция, соответствующая тому, что в Америке зовут «викторианством». Поднять большую тему России — трудно во многих отношениях. Может быть, еще не пришло время ее поднять (Пастернаку это в большой мере удалось), но, хотя в старом арсенале есть отличное, надежное оружие классического русского реализма, оно порядком заржало.

Вот Сергей Максимов, автор «Дениса Бушуева», «Голубого молчания», «Тайга». «Мой дорогой молодой собрат, Вы несомненно талантливы», — писал ему Бунин. Есть у него строгие, художественно экономные и с размашистой силой написанные страницы. И если Г. Андрееву лучше удаются рассказы с резко

очерченным сюжетом (сюжетом, не фабулой), а чем длиннее вещь, тем слабее напряжение, то у Максимова скорее обратное. Это писатель очень широкого дыхания, ему нужен простор. В зарубежной русской литературе такие писательские свойства редки. Как говорит один умный остряк, «все мы большие мастера на малые дела», и порой кажется, что и впрямь, совершенствуясь в обтачивании мелких деталей, наше литературное зарубежье разучилось писать «большие полотна». «Денис Бушуев» — одно из немногих крупных произведений зарубежья, написанных на советском бытовом и психологическом материале, но не в плане воспоминаний, а в плане истории души современника. Это та самая большая тема, которая носится в литературном воздухе. «Бушуев» — несколько горьковского толка роман (хотя Горький романов писать не умел) и, да простится невольный каламбур, — из этого романа выйдет толк, когда и если он будет доведен до заключительной точки. Герой романа — волгарь, из мальчишки, подростка, парня становящийся зрелым мужем, писателем, проходящим сквозь чистилище страшной эпохи. В произведениях Максимова mestами великолепный, крепкий разговорный язык, меткие характеристики, естественно развивающиеся характеры, верное, но без захлебывания, изображение быта и не публицистически, а чисто художественными средствами передаваемый дух эпохи и — куда этот дух устремляется.

И Сергей Максимов не избежал русского «викторианства», как не избежал его и Н. Нароков, получивший известность главным образом благодаря своей книге «Мнимые величины». В ней, в отличие от многих произведений многих авторов, изображена не внешняя, а внутренняя сторона жизни и деятельности чекистов — внутренняя и сюжетно, и психологически. Книга имела большой успех у иностранного читателя, которому импонирует русская психологическая традиция в литературе (Достоевский); не сколько меньший — у русского.

С темой катраги, террора, чекистской системы человекаубийства зарубежной русской литературе не то что не везет, а просто на подступах к ней лежат большие и пока не преодоленные трудности. Есть вещи, не поддающиеся или почти не поддающиеся художественному опосредствованию. Возможно, что это вопрос дарования или даже техники изобразительных средств. В основе искусства лежит мера, поэтому — говорит школьная мудрость, — искусство не может избирать своим предметом что-либо нарушающее какие-то (какие?) нормы, эстетические и нравственные. Коль скоро эти нормы переступаются, искусство перестает быть искусством, превращаясь в бесвкусицу, в полицейский протокол или научную регистрацию.

Тем не менее, существуют произведения искусства, высоко талантливые и даже гениальные, живописующие чудовищные преступления, безумие, всевозможные извращения, нарушения любых норм — и все же удерживающие некую внутреннюю меру. Вздыбленная, смятенная психика являет собой даже особо заманчивые возможности для художника. Так или иначе, нынешняя зарубежная русская литература до сей поры не дала выдающихся

ся произведений об ужасах эпохи. Есть потрясающие свидетельства, человеческие документы, есть и сдержанные, с соблюдением художественного такта, изображения. Но не больше, не глубже.

Трагизм русской действительности не ограничивается, однако, наличием ужасов, превосходящих всякое воображение. Погибли и погибают единицы, тысячи, миллионы людей, но сотни миллионов, народ — остается. Он продолжает жить. Задача художника — воплотить в образах душу этого народа (определение это не акти как ново, но все-таки верно). Г. Андреев, С. Максимов, Н. Нароков и другие писатели, о которых здесь будет сказано, эту задачу несомненно выполняют.

Как выполняют?

Ответить на этот вопрос можно по-разному. Если по старинке считать, что только та литература полноценна, в которой есть общечеловеческие типы, собирательные типы или, по крайней мере, широко типические характеры (Ричард III, Король Лир, Гаргантюа, Карл Moor, Дон Кихот, князь Мышкин, Чичиков, Акакий Акакиевич Башмачкин), то русская зарубежная литература, в частности, литература «послевоенных», неполноценна: в ней такие типические образы, созданные данным художником в данном произведении, отсутствуют. Но, не говоря уже о том, что предъявлять такого рода требования к небольшой группе писателей на небольшом, ничтожном даже промежутке времени трудно, — есть основания думать, что ход литературного развития в наш век вообще существенно изменился, что литература и не стремится более к созданию общечеловеческих, общенациональных и еще каких-нибудь «обще»-типов. Жизнь усложняется, бесконечно разнообразится; с одной стороны происходит стандартизация обстановки и условий, с другой же, напротив, — являются миллионы частных случаев, причудливых и уединенных странностей. Литература, как и всякое искусство, не следует за жизнью по пятам, натуралистически копируя действительность, а создает действительность вторичную, самоценную, хотя от первичной и не оторванную (для литературы это особенно важно).

Неизвестно, к тому же, верно ли мы судили о «литературных типах», то ли в них видели, что они собой представляют, не было ли в наших суждениях ограниченной предвзятости того чеховского человека, который все доискивался: читали ли вы «Гамбургскую драматургию»? Достоевский (которому иные ставят не то в укор, не то в заслугу, что его герои суть только условные фигуры, существующие для выражения идей), отлично понимал свойства литературного творчества и протестовал против толкования типа, только как суммы качеств. Тип, по мысли Достоевского, всегда и неминуемо оригинал, чудак, исключение. Это парадоксально, но глубоко верно. Оригинал и чудак — потому что качества, мелко рассеянные, разжиженные в массе, явлены в типе резко, плотно, явственно. И только тогда литературный тип вечен или хотя бы долговечен, когда его «чудаческие» качества сконденсированы из огромного числа индивидумов на огромном протяжении времен. Таков, например, Фальстаф, но не таков

Базаров, потому что Базаровы — явление, ограниченное довольно узким общественным кругом и довольно непродолжительным временем. Фома Опискин и Иудушка Головлев несравненно шире Базарова, потому что лицемерие и предательство несравненно шире русского нигилизма.

Рисуя портреты «героев нашего времени», то-есть портреты современных русских людей (в частности и главным образом «советских»), зарубежные русские писатели нового поколения, пришедшие в свободный мир за последнее десятилетие-полтора не стремятся к созданию общечеловеческих типов. Но черты современника проступают очень явственно и у Ширяева, и у Г. Андреева (между прочим, пленительны некоторые женские образы в его рассказах), и у С. Максимова, и у ряда других. В отличие от западной, русская современная литература, советская и зарубежная (говорю исключительно о новозимранской) пишет о людях и делах с позиций нравственного идеала. Разумеется, советские писатели этот идеал подменяют его коммунистическим вариантом, либо вынужденно притворяясь, будто коммунистический идеал и есть настоящая нравственность, либо, наконец, дерзая противопоставлять нравственность коммунизму — самое тяжкое, с точки зрения режима, злодеяние. Писатели зарубежья руководствуются общечеловеческими нравственными нормами, порой проявляя исповедническое рвение.

В этом отношении очень любопытна книга М. Корякова «Освобождение души». Коряков — писатель очень уверенный в своей литературной правоте (я не умею иначе объяснить того, что угадывается в простой и точной prose названной книги). Жанрово это род дневника, записок, она переполнена справками, фактами, датами, записями исторического и публицистического характера, и вся эта огромная груда материала не только не мешает развитию главной темы, но, наоборот, отлично ей служит. Читая эту книгу, иногда задумаешься: а не отжила ли и в самом деле свой век литература вымысла, роман, повесть, рассказ, свободные от фактографии, строящиеся по фабульному плану и подчиняющие ей образы и идеи? Очевидно нет, но также очевидно, что художественность литературного произведения может достигаться очень различными путями. «Освобождение души» — трактат об освобождении души от наносного и ложного, о возврате ее к естественному состоянию («душа — христианка»).

Сюжет этой книги — история советского интеллигента, прошедшего горнило войны и попавшего на Запад — слишком часто встречается в произведениях послевоенных литераторов. Но коряковское «Освобождение души» стоит особняком. Пожалуй, эта книга более, чем другие, ей внешне подобные, создает образ-тип русского современника в указанном выше плане.

сковская камарилья, закружившаяся вокруг Пастернака с угрожающими завываниями, меньше обеспокоена неодобрительными высказываниями действующих лиц романа «Доктор Живаго» о коллективизации, упоминаниями о каторжных лагерях и отсутствием известных славословий, чем общею моральной и философской концепцией автора, высказанной в книге. Пастернаку за здорово живешь приписали утверждение, что всякая революция есть явление исторически незаконное. В Кремле очень хорошо знают природу революций и знают также, что «вина» нобелевского лауреата состоит в том, что он говорил о России, о революции и о человеческой судьбе с позиций духа. Вот этого не могут простить Пастернаку. Политического приговора над Октябрём и режимом он не произносил, он взял тему шире, выше, глубже, и в том, что он не произнес политического приговора, и заключается сила его произведения, да и его самого. Он в некотором смысле советский патриот — не в том, конечно, смысле, какой мы привыкли придавать этому выражению. Не такой он человек, чтобы в своем заявлении, напечатанном «Правдой», называть настоящее страны славным только из соображений личной безопасности.

Но и этой благородной лояльности (благородной потому, что великодушной: не его щадит диктатура, а он ее щадит в силу нежелания выносить сор из избы) ему не простят и не прощают. Посадить Пастернака в тюрьму или подвергнуть другим репрессиям, кроме остракизма, немыслимо. Но — не простят, потому что не могут простить, как не мог убийца простить великодушия благородному камергеру Деларю в известном стихотворении Алексея Толстого. Деларю, посулив злодею выхлопотать выгодную аренду, добавляет:

А вот пока вам мой портрет на память, —
Приязни в знак.
Я не успел его еще обрамить, —
Примите так!

Происходит вполне законная психологическая реакция:

Тут едок стал и даже горче перца
Злодея вид.
Добра за зло испорченное сердце
Ах! не простит.
Высокий дух посредственность тревожит,
Тьме страшен свет.
Портрет еще простить убийца может,
Аренду ж — нет.

Некоторая игривость толстовского стихотворения тему коренной важности не снижает и, право, не зазорно поставить с ним в параллель коллизию Борис Пастернак — Хрущев.

Эмигрантским писателям нового и новейшего времени никаких творческих запретов никто не ставит, им предоставлена полная свобода осмысливать эпоху и людей как им заблагорассудится, сообразно своему мировоззрению. Один из примечатель-

ных писателей-зарубежников, рассказчик и эссеист Борис Филиппов, в своей речи по поводу стопятидесятилетия со дня рождения Тютчева заметил: «уже общим местом стало утверждение, что о «мировоззрении» того или другого художника слова можно высказывать суждения прямо противоположные»... Сказано это собственно о поэтах. «Поэзия не система силлогизмов», добавил Б. Филиппов. Но и художественная проза тоже не система силлогизмов. Это верно и в приложении к послевоенным зарубежным русским писателям. Все же в мировоззрениях их есть общие черты, из которых главная, пожалуй, философский идеализм и отталкивание от марксовой схемы. В упомянутой статье Б. Филиппов вспоминает жуткие прозрения Тютчева, чувство близящегося катаклизма, которого свидетели и участники — все мы. Сам Филиппов предельно пессимистичен — вплоть до обреченностии:

«Тщетно Тютчев хотел отъаминиться от последнего катаклизма «этими бедными сelenьями», которые исходил-де, благославляя, сам Христос: исходил их Спаситель наш не для цветения весел и градов в радости и славе, а для того, чтобы приуготовить их к великим искупительным жертвам, великим мукам и крови». Жертвы — искупительные, а потом все-таки крушение. Я бы не сказал, что мировоззрения и писания послевоенных проникнуты близостью светопреставления. Это больше свойственно (как и скепсис) писателям «старой эмиграции» и, конечно, «парижанам». В этом много искренности, но и особый, так сказать, хороший тон. В своих рассказах (к сожалению, их мало) Б. Филиппов гораздо теплее и светлее, нежели в историко-литературных произведениях, написанных с большой точностью, блеском и обширной зрудицей.

Вообще люди, побывавшие в аду, не склонны утверждать его конечную победу. Грусть, тоска, картины ужаса, трагедийность — да... «Дети страшных лет России забыть не в силах ничего». Но и не забыв, можно верить в поражение ада и звать к борьбе.

С. Юрасов, писатель чрезвычайно талантливый, но за делами не успевающий осуществить многие замыслы (в таком положении очень многие из «новых» и «новейших»), в до сих пор не вышедшием в свет романе «Страх», рисует совершенно потрясающие картины Платтлингской трагедии, потрясающие не натуралистическими подробностями, а верностью передачи душевных движений обреченных. Беру на себя смелость утверждать, что эти картины не заслоняют жизнеутверждающего порыва к высшей правде — он растет из них и над ними.

Анатолий Дар в ленинградской эпопее «Солнце все же светит» с подлинной художественной простотой, совсем житейским говорком повествует о мученичестве огромного города, оставленного коммунистическими военными преступниками — центральным и областным партруководством — на голодную смерть, обстреливаемого внешним неприятелем — и все таки духовно не сдающегося. При сопоставлении этой книги с «Ленинградским дневником» Веры Инбер испытываешь даже не стыд за ордено-

носицу, а только сильнейшее удивление: как можно спекулировать на таких темах? Не менее удивительно и безучастие людей, делающих погоду на западном книжном рынке: перед ними замечательное произведение, полное художественной и жизненной правды, высокого гуманизма, оригинальное по литературной форме, — и они проходят мимо, в то время как беспомощная стряпня «Падение гиганта» была названа в свое время чуть ли не равной романам Толстого и Достоевского.

«Солнце все же светит» отвечает своему названию. Я вовсе не хочу доказывать (кому, зачем?), что творчество послевоенных зарубежных русских писателей сплошь оптимистично и жизнеутверждающее. Да и разве в этом ценность творчества?

Вопрос это спорный и, кажется, дело личного, индивидуального взгляда.

Для меня пессимизм и апокалиптичность в произведениях современных писателей (в художественных произведениях) не-приемлемы потому, что сильно отзывают позой и натяжкой. Плоской сдается мне художественная трактовка экзистенциализма. Литературное мастерство Сартра вне подозрений и все-таки есть в нем какая-то иллюстративность и нарочитая деревянность (Об экзистенциализме — мимоходом, русской литературе он не ко двору). Мрачности и нытья в старой русской литературе было с преизбытком — и ничего в нытье значительного. Лермонтов — гнев, иногда нотки отчаяния, но все энергично, полно жизненной силы. Достоевского зачислить в гробокопатели невозможно. Он, пройдя глубочайшие пропасти сомнения и отрицания, пришел к божественной мудрости. Гоголь... да, с Гоголем сложнее, однако же гоголевская скорбь и мучения всетаки озарены религией вечной жизни.

Писатели, о которых идет речь в этом очерке, своего творческого круга не завершили; пройдут годы и годы, прежде чем об этих писателях можно будет вынести окончательное суждение, но уже и сейчас они внесли в русскую литературу свой важный вклад: тема российской судьбы берется ими с *с о б о д н о*. Какой был бы безнадежный ужас, если бы не существовало зарубежной ветви русской литературы! Какая страшная однобокость — несмотря на то, что на протяжении сорока лет были в советской ветви и нефальшивые, и блестящие талантливые писатели и книги.

4.

А. Кашин в своих рассказах ищет — думается мне — способа проникнуть в загадку, которой представляется ему душевный строй советского человека. Это очень честные и напряженные поиски, есть в них смятение и острые жалости... Странный писатель, от него ожидаешь открытый и порой досадуешь, что открытий нет. Угадывается немалая сила. Печатается Кашин мало, мне неизвестно, много ли пишет. А нужно, чтобы много, тогда придут свершения и ясность.

В противоположность Кашину, В. Свен ясен чрезвычайно. Его писательский опыт очень велик; он избрал в литературе ту линию, которую вел в ней покойный Пришвин. Природа и люди в природе — люди, однако, на мой взгляд, более реальные, чем у Пришвина. В. Свен знаток крестьянства и крестьянского быта, хотя в так называемый бытовизм нигде не впадает. Русская природа (многообразная, природа различных областей страны) на свеновских страницах живет и дышит и благоухает. Стиль его благородно прост и прозрачен; притом своеобразен, сразу узнаешь его. А между тем проза Свена не содержит в себе никаких новшеств или словарных ухищрений: традиционная русская речь, в хорошем смысле литературная. Своебразие идет от творческой индивидуальности писателя.

В этом очерке я избегаю перечислять названия произведений, ограничиваясь одним-двумя, не всегда самыми характерными, может быть. Говоря о Свене, неизбежно вспомнить его «Селигер», вещь, может быть, наиболее «пришвинскую» и в то же время наиболее свеновскую: в зависимости у Пришвина Свен ни в каком смысле не пребывает, к чести своей — и Пришвина.

Совершенно на окраине новоэмigrantской русской литературы находится Н. Ульянов. Всем памятна его «Атосса», трагическое повествование из скифских и персидских времен. Нельзя назвать «Атоссу» историческим романом, это скорей поэма, хотя мастерское движение фабулы и острота психологического рисунка держат читателя властно, увлекают и волнуют. Но еще больше волнует разлитое в книге настроение (если позволительно употребить это вялое слово), или, вернее, чувство кровной, темной связи времен, чувство живой истории, одновременно радостное и полынно-горькое. Автор брезгливо сторонится всего, что могло бы, по его мнению, оказаться эмигрантской беллетристикой «с направлением». Опасность — что касается выбора тем — преувеличennaя.

Ее не боится Леонид Ржевский, писавший и пишущий о вчера и о сегодня своей страны и своего народа. Реализм, романтика, раздумья сочетаются в точной и местами поразительно картинной, нет, не то слово — стереоскопичной прозе Ржевского с субъективностью повествовательной манеры. Автор неизменно присутствует, заметен и ощутим — как ощутим, например, Лесков в своих рассказах. Манера не чеховская, но из своих литературных собратий Ржевский, кажется, плотнее всех укоренился в той не «викторианской», начатой Чеховым линии, которая наиболее законна и которая ведет русскую литературу на сближение с западной. Л. Ржевский, разумеется, очень талантлив, но талант не заслуга, талант надо оправдать — и этому помогает именно линия, о которой сказано несколькими строками выше. Особенности творческого лица Ржевского таковы, что эта линия для него вполне естественна и легка. Есть в нашей зарубежной литературе писатели не мельче Ржевского и больше сделавшие, и мастерством, может быть более искусные, притом — совершенно в западном русле. Последнее обстоятельство и де-

лает их слишком уязвимыми: все кажется, что читаешь как бы перевод. «Западность» Ржевского совершенно русская, что и выдвинуло его сегодня в первые ряды русского литературного зарубежья.

5

Деление русской литературы на советскую и эмигрантскую условно. Тем более — деление русской поэзии. И еще «тем более» — деление поэзии эмигрантской на довоенную и послевоенную. В. Вейдле, возражая В. Маркову, писал в статье «О спорном и бесспорном» («Опыты», VII): «Он (Марков, — ЮБ) говорит: «наше литературное поколение», но кто же эти «мы»? Если всего только сверстники, которые пишут, то этого мало. Литературного поколения нет без известной сплоченности, не бытовой, а «идейной» (литературно-идейной) и «формальной» (т. е. касающейся выбора и оценки форм), как нет его и без некоторого «нового слова», сказанного от имени всего поколения или одной из групп, на которые оно распалось». Это верно, и в действительности поэты, «обретшие слово», т. е. начавшие печататься в зарубежных изданиях после мировой войны либо во время войны, не составляют особого единства.

Но хотя и не как единство, они существуют и сказать о них нужно.

Мне хочется назвать среди «послевоенных» поэтов прежде всего Ольгу Анстей. Ее поэтическая родословная? Не берусь определять; слишком легко прицепиться к какому-нибудь случайному сходству или созвучности и вот уже готово: Блок, Гумилев, Ахматова оказали большое влияние... А на кого не оказали, и что такое влияние? Если поэт подражателен даже в своей литературной зрелости, грош ему цена, а если он значителен, то это значит, что из влияний выросло свое собственное. Так и с Анстей. «Дверь в стене», ее небольшой сборник, — книга большой лирической прелести, точности, нежности, но притом и, так сказать, сухости в смысле отсутствия литературной водички и различных накипей. В эмиграцию Анстей пришла, очевидно, уже мастером, могущим сказать все, что хочется и нужно ему сказать. У нее, может быть, как ни у кого другого, есть (не о «влиянии» речь!) сходство со стихами Бунина, та же уверенная простота в выборе слов и ни одного пустого, без которого можно бы обойтись. Индивидуальность женщины явственно в ее стихах чувствуется, однако Анстей поэт, а не поэтесса.

Стихи ее так хороши, что хочется цитировать их без конца (между прочим: можно отыскать и кое-какие грешающие красотостью и чувствительностью, альбомные, но это больше редакторский, а не самого поэта промах). В периодических изданиях и альманахах есть немало из произведений Анстей, которые нужно собрать и издать отдельно. Обширное богатство иноязычной поэзии ею усвоено, горизонт ее видения широк, а зрение остро,

напряженность мировосприятия пастернаковская, но от соблазна на пастернаковского ассоциативного приема Анстей вполне убереглась. Это крупный поэт, и когда ее стихи достигнут «потустороннего» читателя, их бережно полюбят.

Облепляют влажные мошки,
Ощалев от вялой возни.
У каштанов промокли ладошки,
Полусжатые пятерни.

Эти мокрые майские своды!
Это зеркало скользких плит!
Этот мир, как трудные роды,
Убивает и жить велит.

Продолжаю о поэтах — в алфавитном порядке.

Ирина Бушман — лирик необыкновенной тонкости, поэзия ее насквозь женственна; вот образец поэтического в хорошем значении этого слова. Вместе с тем Бушман свойственно стремление найти внутреннее значение сущего, его духовную первооснову. Форма стихов ее изысканна до экспериментальности.

Пролетали птицы вёснами
Мне крича: о, с нами!
Сердце в грудь стучало молотом —
Было молодым.

Только эта радость прошла —
Путь иной прошла я,
И за все, что было дорого,
Плата дорога.

Боже, одари воистину, —
Говорю и стыну, —
Золотым сияньем осени
Душу осени.

Иван Елагин вошел в послевоенную поэзию гражданской темой изданного в 1948 году в Мюнхене сборника «Ты, мое столетие!». Это не значит, что гражданской темой его творчество ограничено, тем у Елагина много, и стихи о столетии, конечно, не первые из его стихов, может быть, и не лучшие формально, но вот доказательство, что не один «прием» делает искусство: гнев и мужество, переполняющие через край первые двадцать шесть страничек сборника, образовали точно сплав с «приемом» — совокупностью художественных средств поэта, с его индивидуальностью, темпераментом, голосом. И вся поэзия И. Елагина (уже по-иному) напоминает какой-нибудь новый металл современной техники: твердый, звонкий, неокисляемый и легкий. Его диапазон исключительно широк: в первой по времени книге «По дороге оттуда» — война, скитания, призывы к совести мира, го-

родской пейзаж, скорбь, любовь. О второй книжке — «Ты, мое столетие!» уже говорено, но там есть еще раздел «Луны», оттесненный грозной патетикой первого раздела. Смешанные стихотворения (прошу не сетовать на термин, он заимствован мной у Пастернака, не боящегося слов) «Лун» очень хороши; они интересны еще и автобиографическими чертами.

Елагин подолгу молчит; изредка появляются его новые стихи, в них, между прочим, с особой отчетливостью оказывается свойство поэта — пластичность, ощущимость образов, преимущественно зрительных. Еще одна область литературы влечет его: сатирический фельетон в стихах. Здесь он остроумно-зол, меток и (как во многих своих стихах) афористичен. Мало замеченной прошла его уморительная пьеса-шутка «Портрет мадмуазель Таржи», написанная легким блещущим стихом, подлинно веселая и сценичная. Иные, слишком строгие читатели не одобряют этой шалости, и напрасно: в истинном поэте уживаются и глубокий трагизм, и романтическая лирика, и полнокровный задорный смех. А Иван Елагин поэт истинный.

Вселенная. Так вот твоя изнанка...
Чуть-чуть рванули ткань твою по шву,
И поднялась гигантская поганка
Откуда-то из ада в синеву.

И зарево ударило по тучам,
Полгорода внизу испепеля,
Так вот каким заправлена горючим
Несущаяся в космосе земля.

Еще в поту мы эту землю пашем,
Еще и воздух не отравлен весь,
Но с той поры грохочет в сердце нашем
Тоски и гнева взрывчатая смесь.

В некотором смысле поэт должен быть молодым, но нехорошо долго оставаться молодым поэтом. Олега Ильинскогочи слили в молодых как-то по привычке, а он давно уже возмужал — и отлично возмужал. У него крепкий, уверенный голос, пристальный взор, равно, но не равнодушно устремленный на вещный мир. Но и глубже: в метафизическую сущность мира, очертания судьбы. От Ильинского нужно многоного ждать.

Порхнула легкая, как штрихи
Карандаша при растущевке,
И ветер, зренье обострив,
По залу шорохом прошелся.

Ее безмолвный выгиб рук
Полету мысли равноценен,
За ней танцует светлый круг
По опустевшей темной сцене.

И пусть в штрихах карандаша
Живут сроднившиеся тесно —
Преодоленная телесность
И бестелесная душа.

О Дмитрии Кленовском писали много, и очень трудно сказать о нем в кратких словах. Его тонкая, вдумчивая, духовного изящества и тщательной простоты поэзия, при всей прозрачности все же таинственна... В ней мудрая умиротворенность, неразрывная слияньность добра и красоты — и просветы в запредельный край.

Все мы нынче, так или иначе,
Ранены стремительной судьбой.
Но пока один зовет и плачет —
Говорит, к нему склоняясь, другой:

Брат! Да будет и тебе открыто:
Никакая рана не страшна,
Если бережно она обмыта,
Перевязана и прощена.

Беспокойная муза Владимира Маркова не позволяет сколько-нибудь точно определить его поэтический облик. Все поиски. Марков — знаток литературы, с отменным вкусом и глубиной понимания, и стихи его (если не говорить о мюнхенском сборнике, вышедшем в первые послевоенные годы) по большей части настоящие, но в них мысль о поэзии преобладает над стихией поэзии. «Ты, стало быть, поэт?» — спрашивает апостол Петр пришедшего к райским вратам, и пришедший (эти стихи В. Маркова напечатаны в книге нью-йоркских «Опытов») отвечает:

Мой род неизбываем,
Хотя в удел едва ль
Мне Болдино и Ваймар,
Дуино и Версаль.

Я знаю их заветы,
И тут сомнений нет:
Когда они поэты,
Я, значит, не поэт.

Но я читал газеты,
В которых нет да нет
Печатают куплеты
Про то или про это.
Когда они поэты, —
Опять я — не поэт...

Поэзия Н. Моршена, как впрочем и Ив. Елагина, чрезвычайно характерна для того поколения эмиграции, которое покинуло родину в годы войны молодым, но достаточно зрелым, чтобы унести с собой глубоко осознанный опыт. У этих людей особенно сильно чувство родины, живой, кровоточащей, поруганной, но неистребимой. Они сами — куски ее, и ритм их пульса — ее ритм. Россия, русский сверстник — магистральная тема Моршена. Ею не исчерпывается его творчество и исключительно политическим его нельзя назвать, а просто — таков его строй и лад.

...Ведь можно жизнь прожить
И не забыть ни крошечной детали,
Но, вспоминая, в сердце не открыть
Ни ненависти, ни печали.

О нет! О нет! Понесли мне все забыть:
Гудки, деревья, руку эту, иней,
Но только полной мерой сохранить
Святую дрожь, доступную мне ныне!

Не полно и не точно то, что сказано здесь о поэтах и прозаиках зарубежья, и далеко не о всех сказано, о ком надо бы. О Юрии Трубецком, поэте большого мастерства и сюжетной емкости, об интереснейшем Евтихии Коваленко, о других, вовсе не заслуживших этого кущего обозначения «и др.».

Но и из этих скучных упоминаний и примеров видно, что зарубежный отряд русской литературы и под чужим небом сохраняет живую преемственность непреходящей России. Напоследок несколько слов об Аглае Шишковой, чье слово необыкновенной свежести, как родниковая вода, бодрит и радует, смывая дорожную пыль скитаний. Шишкова пишет слишком мало... Вот концовка ее замечательной «Грибной баллады» про то...

...Про то, как с разлукой в паре,
Которую не избыть,
Чудесно в лесах Баварии
Смоленские брать грибы.

Распутывать хрусткие тропы,
По балкам искать ключи,
Родные угадывать шопоты
И слушать, как сердце стучит,
Как брагой вскипает, бродит в нем
Горячее слово —
Родина!

О ГЛАВЛЕНИЕ

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА	5
ИВАН ЕЛАГИН	
Стихи	7
С. МАКСИМОВ	
Главы из романа	15
Д. КЛЕНОВСКИЙ	
Стихи	45
Л. РЖЕВСКИЙ	
Паренек из Москвы	55
А. КАШИН	
Желтая Волга	97
ОЛЕГ ИЛЬИНСКИЙ	
Стихи	107
Н. НАРОКОВ	
Вне закона	113
БОРИС ШИРЯЕВ	
В те дни	135
ОЛЬГА АНСТЕЙ	
Стихи	147

Б. ФИЛИППОВ		
Духовая капелла Курта Пёрцеля		153
С. ЮРАСОВ		
По обе стороны		161
Н. МОРШЕН		
Стихи		173
ВИКТОР СВЕН		
Селигер		183
Г. АНДРЕЕВ		
Соловецкие острова		213
АГЛАЯ ШИШКОВА		
Грибная баллада		273
МИХАИЛ КОРЯКОВ		
В Ясной Поляне		279
На Ловати		300
Ю. ЕЛАГИН		
Конец Мейерхольда		311
ЮР. БОЛЬШУХИН		
Обретшее слово		339

